

ISSN 0132-0637

Октябрь

1998

Октябрь

10 1998

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1998

ОКтябрь

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юнна МОРИЦ. «Дивный какой я зверь...» Стихи	3
Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Конец второй книги	20
Владимир КАНТОР. Соседи. Повесть	76
Вацлав СТУКАС. Города. Рассказы	108
«Бывают странные сближения...»	
Владислав ОТРОШЕНКО. Игра в чудо. Лирический триптих	121

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

А. Ф. ЛОСЕВ. «Любовь на земле есть подвиг...» Публикация, подго- товка текста и примечания А. А. Тахо-Годи	127
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр ТАРАСОВ.

Черная кошка на красном фоне. Провинциальные
впечатления 154

Нинэль ЛОГИНОВА.

Голубиное слово. Нежная детская 160

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.

Жизнь Климса Самгина. Том первый. Краснопілля+Киев.
Июль–98 184

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.

Без крови 188

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **В. В. ПУХАНОВ** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 02.09.98. Подписано к печати 25.09.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9290 экз. Заказ № 2655. Цена 16 руб. 50 коп.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3046 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64,

ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии —

214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Юнна МОРИЦ

« ДИВНЫЙ КАКОЙ Я ЗВЕРЬ... »

Amant alterna Camēnae
Камены любят чередование

* * *

Проспи, проспи, художник,
Добычу и трофей!
Иначе, мой Орфей,
Ты будешь корифей.

Проспи, проспи раздачу
Лаврового листа,
И бешенство скота,
И первые места.

Проспи трескучий бред
Блистательных побед,
Проспи свою могилу
И в честь нее обед.

Проспи, проспи, художник,
Проспи, шалтай-болтай,
Проспи же все, что можно,
И всюду опоздай!

А катится клубком
За лакомым куском
Пусть тот, кто тем и славен,
Что был с тобой знаком.

Проспи, проспи знакомство
Столь славное!.. Проспи.
Пусть кот не спит ученый
На той золотой цепи.

1998

Бродячий мотив

Игра не стоит погребальных свеч.
Едва успеешь в гроб глазурный лечь,—
уж тут как тут всюду идет примерка

твоей судьбы на каждое бревно,
которое само себе равно,
и твой покрой на нем глядится мелко.

Ты — ватник, фрак, охалка барахла,
тебя натянуть может хоть метла,
чтоб небеса мести на том участке,
где огурцы искусства таковы,
что желтизна их клянчит синевы
для получения огуречной краски.

Ты пущен с молотка, о том и речь.
Игра не стоит погребальных свеч,
и суеты вокруг себя, и спешки
на торжества посмертные свои,
на те концерты «пушкинской струи»,
где ложь воспоминаний — хуже слезки.

Кто виноват?.. Что делать?.. Против лома
приема нет и в штате Оклахома.
Тебя за ручку тащат школяры,
футболят, на тебе съезжают с горки...
Прощай! Забвенье лучше и задворки,
и уличная песня для дыры.

1998

* * *

Великих нынче — словно блох в ночлежке,
куда ни плюнь — великий человек,
есть семьи, где по пять великих членов,
великие младенцы там пищат,
великие к ним ходят почтальоны,
великие приносят телеграммы,
великие им письма от великих.
Какое счастье — быть не в их числе!..
Быть невеликим в невеликом доме,
в семействе невеликих человечков,
с любовью — не крупнее земляники,
с букетом мелких полевых цветов,
с малюсенькой звездой в окне вечером,—
я в данный миг подмигиваю ей,
насвистывая песенку-малютку.

1997

Записка

Положи меня в карман,
я не так уж велика.
У тебя в кармане буду
пусть я крошкой табака.

Мы увидим столько стран,
сколько видят облака.

Ты корми меня в кармане,
как любимого зверька.

Брак небесный — не роман
для печатного станка.
Ты найдешь меня в кармане
даже там, где спят века.

1997

Концертина

Я нарисую тебе на память картину —
окурком, свекольным соком, кофейной гущей.
На той картине, держа гармошечку, концертину,
ты будешь играть и петь о волне бегущей.

Двумя руками сжимая-растягивая зигзаги,
где язычки металла — источник музык,
ты улыбнись мне!.. В одном от картины шаге
я затаилась, и лиственный глаз мой узок.

Там будут вокруг тебя синева и зелень,
ткань золотая пляжей, закат над морем.
И так хорошо мы с тобою судьбу разделим,
что красить разлуку не станешь ты черным горем,

а в этой картине, написанной чем попало,
ты будешь сидеть на воздухе с концертинной
и видеть, что тень моя на тебя упала,
как тень любви, стоящей перед картиной.

1998

* * *

А я, с камнями гуляя чаще многих,
не удивляюсь, что у них извечно в носке
одни и те же платья и прически,
божественно простые, как листва,
не знающая моды и фасона,
как свет, в листве скользящий невесомо...
И не способны эти божества
нуждаться вовсе в новизне наряда
и стрижки, за собой следить как надо
для взятая там чего-нибудь еще —
зачем? — всего достаточно камням,
они в сандалиях, они в обыкновенном,
они над бездной подставляют мне плечо.

1998

* * *

Дивный какой я зверь —
весь в золотом руне.
Шкура моя в цене —
завтра, вчера, теперь!..

Мимо идут потомки
в шапках, сделанных из меня.
Их красотки стройны и тонки
в шубах, сделанных из меня.

...Снег на исходе дня
делается небесней.
Кто-то промчался с песней,
сделанной из меня.

1998

* * *

Тут всех на старость повело строчить донос:
не той красы у ней власы, коленки, нос,
а также зубы,— и пора ей в гроб со сцены.
Да что вы знаете о прелестях ее,
о тайных силах, презирающих нытье
и вашу книгу жалоб?.. Драгоценны

ее мгновенья, а тем более — года!
О старости, возлюбленной — о да! —
о ней, красавице, я говорю, играя
с ее подругами — со стайкою камен,
и в нежный возраст их впадаю без подмен,
как та река, что в край течет из края...

1998

* * *

На солнце у древних развалин
сiju я, зажмурясь, как кошка.
Идет древнегреческий парень,
его бесподобна обложка.

Кончается улица морем,
на рейде качаются бриги...
Папирус в ручье за подворьем
так светится в солнечной книге!

Я странствую, я процветаю,
натуру пишу на продажу,
я людям на счастье гадаю,
сдувая отчаянья сажу.

Кочую, но всюду я — дома,
и мне улыбаются, словно
я каждой собаке знакома
и жителям всем поголовно.

Была я грешна, потакая
неблагодарности черной.

Теперь я совсем не такая,
судьба моя стала просторной,

она благодарна отрыву
от неблагодарного множества,
где хочет волшебную рыбу
иметь на посылках ничтожество.

1998

* * *

Камена прекрасная крутит романы
и выскочек бесит, как сок белены.
Тщеславные юноши с нею жеманны,
завидуют славе и славой больны.

Они сочетаются с нею на фото,
строчат дневники, а позднее — мемуар.
Она выдает им себя за кого-то,
кто — мрамор и юмор, Хайям и Омар.

Стройна и легка, словно гибкая ветка,
листвясь над пирушкой во время чумы,
она предсказует им зорко и едко
их жадную взятость у ней же займы.

Играть они примутся в жадные игры,
оттачивать стиль и лавруху жевать.
Как много руна золотого настригли
с охотницы этой над Данте дремать!

Но ей не потребно столь потное дело,
как лавры жевать и оттачивать стиль...
Ей введома страшная тайна предела,
где высший порядок — музейная пыль.

1998

* * *

Балет — искусство поз,
поэзия — иное...
На улице — мороз,
и мой сурок со мною.

В Европе расцвела
магнолия и пахнет,
в России — снег и мгла,
и колокол распахнут.

Копаясь, как в добре,
в помойном баке с пищей,
лохматый том Рабле
выуживает нищий

и, подмигнув — кому? —
находку из помойки
кладет себе в суму,
где много птицы-тройки.

Багаж его дорос
до знания тех предметов,
что ставят под вопрос
всю Фабрику Ответов,

а Фабрика поет
и пляшет под фанеру,
и дуракам дает
поцеловать химеру!..

1998

Modus vivendi

Изменился климат, вымерли подчистую
мамонты, динозавры — и что?.. А то,
что, сидя на рельсах задницей и протестуя,
вы прогрессу мешаете, граждане, как никто.

Изменился климат, вымерли птеродактили
по закону природы, не громя никакой режим,
никому не хамя: «Катитесь к такой-то матери,
а мы на рельсах пока полежим».

Нехорошее дело — умственная отсталость,
в стране изменился климат, надо же понимать,
что вымерли динозавры и мамонтов не осталось,
зато с каким уважением будут их вспоминать.

Климат когда меняется, лучше быть насекомым,
также вполне прекрасно всем превратиться в змей,
не хулиганьте, граждане, дайте пройти вагонам,
ведите себя, как мамонты,— будет и вам музей!..

1997

Гимн

Да здравствуют бандиты, разбойники и воры,
Их личности отдельные, а также коллектив!
Они спасут отчизну и все ее просторы,
Своим авторитетом раздоры прекратив.
И наведут порядок, и сдвинут с места горы,
Артистов с мордоделами вокруг себя сплотив,
Чудесные бандиты, разбойники и воры,
Их личности отдельные, а также коллектив.

Скорее бы, скорей бы начать переговоры,
Чтоб нас не покидали, себя озолотив,
Любимые, чудесные, прелестные, известные,
Великие, могучие, певучие, живучие,
Прекрасные бандиты, разбойники и воры,
Их личности отдельные, а также коллектив!

Мы памятник поставим Неизвестному Бандиту,
И памятник поставим Известному Бандиту,
И памятник поставим Чудесному Бандиту,
Летающему, стоящему, сидящему, блестящему,
Идущему, плывущему, гребущему Бандиту,
На прежнее на место с восторгом возвратив
Их личности отдельные, а также коллектив!

И памятник поставим Гениальному Бандиту,
Сияющему вечно, Идеальному Бандиту,
Бандитскому Высочеству, Бандитскому Сиятельству,
Его Бандитской Светлости, Его Бандитской Мудрости,
Родному, дорогому Бандиту Всех Бандитов —

За то, что нас не бросил, совсем осиротив,
А также не покинул, себя озолотив.
Да здравствуют бандиты, разбойники и воры,
Заслуженно-народные, природно-благородные,
Их личности отдельные, а также коллектив!

1998

* * *

Выходит овен за калитку,
пасется беленький в траве,
как будто дергают за нитку,
привязанную к голове.

За нитку голода в спектакле
марионетку теребя,
себя скрывающий — не так ли
все время дергает тебя?..

К зеленой пище белый овен
склоняется сто тысяч раз,
и в ритме жертвы безусловен
его печалью пьяный глаз.

1998

Пейзаж

Немного соуса, бобов и базилика,
овечий сыр, бутылка пыльная вина.
Убитый спит лицом в траву. Одна улика
над ним летает и со всех сторон видна,—
в ее глазах, в зеркальных крылышках бесстрастных
текут наплывы отражений, маски слов,
с лица слетающих за миг до капель красных,
до черных солнц на тверди вечных снов.
Одна и та ж воздухоплавает стрекозка,
убитый в ней с убийцей совмещен —
как пламя с ямкой тающего воска
во мраке, вход в который воспрещен.
Листва олив переливается на склоне

в текучих сумерках божественной поры.
От Александра Македонского зловонье
идет, развешивая трупы как шары.

1993

К антологии «Строфы века»

За что любил поэт Твардовский
поэта Маршака,
чью тень пинают отморозки,
живя на шармака?..

За кислородный образ речи,
за слог без бигудей,
за мыслей некоторых свечи
в молельне за людей.

Я помню, как все это было,
как плавал дыма шар,
как нежно Саша Самуила
любил за Божий дар!..

За что не любят прохиндеи
поэта Маршака?
За то, что, много чем владея,
не жил на шармака,

а если написал похвально
про их же дребездень,
так, значит, схвачен был нахально
за глотку в этот день —

и мыло долго руки мыло
поэта Маршака,
о чем я запись сохранила
и группу лиц (перо, чернила)
на листьях дневника.

1998

Камя на коралле

О славном юноше с лицом порочной девы,
с проклятым гением в подвальчике ума,
с улыбкой дивной палача и королевы,
с пыланьем тьмы, где всех тщеславий закрома,—

о нем ли разве не играют здесь на струнах,
на звонких нервах героинческих чудес,
на длинных дудочках галлюцинаций лунных,
где вьются прелести воздушные телес,

где в Сиракузах из ручья растет папирус,
осоки брат, с насквозь светящейся листвою?..
О славном юноше, о том, чтоб он не вырос

из тела нежного с кудрявой головой,
чтоб не утратил этой плавности змеиной,
звериной грации... Ужели не о нем,
не о себе ли, посох, двигаясь долиной,
ты сам с собою говоришь, цветя огнем?
1998

* * *

Видно, такой уж народ: все нападают на дверь!
Если кто-либо где неладное что-то приметит,
Сразу набросится: «Дверь, в этом виновница — ты!»
Катулл

Книжным базаром иду, полон базар сочинений,
дивные опыты в них писаны жаром светил,
знающих, как воспринять из мухомора и мака
сильные соки чудес, чтобы звездело везде...

Юноша с девой, деля это звезденье мираклей,
видят иные миры, и весьма развиваются там,
и достигают всего, и потом ничего им не надо,
кроме грибов, спорыньи, мака — и вроде того...

Плавая в этих мирах, где расцветают прозренья,
когда мухоморы и мак преображают мозги,
юноша с девой ведут образ возвышенной жизни,
не унижая любовь гадким соитья трудом.

Главное — не доводить это прекрасное дело
до возлежанья в гробу, в тапочках белых, в цветах.
Юноша поет: «А как?!» «А так,— я ему отвечаю,—
лечит в Тибете монах розгами этот недуг».

Юношу ломка гвоздит, он уж на розги согласен,
ищет монаха, Тибет, что-то несет продавать
и покупает в кафе шарик себе героина,
чтоб до Тибета пойти, с розгой монаха найти.

Дверь виновата во всем!.. Полон базар сочинений,
дивные опыты в них — мак, мухомор, спорынья,
славный такой агитпроп психоделических штудий,
гумтехнологий сквозняк... Дверь виновата во всем!

1998

* * *

Подумаешь, повесился!.. Ха-ха.
Его проблемы. Психов тут навалом.
Несчастливы только те, чьи потроха
отравлены тоской по идеалам,—
да ну их к черту, пусть они висят,
включают газ — и головой в духовку.
Могли бы кур-держать и поросят,

держат могли бы речь, держать винтовку,
 держать конюшню, баню, скипидар,
 грузовичок, прогулочную группу,
 себя в руках держать, держать удар
 и светлый путь за травкой в Гваделупу,
 так нет же — путь свой держат в самый гроб...
 И хлад вселенский держит чью-то душу,
 которая ладонью держит лоб,
 рисуя песню кисточкой и тушью.

1997

Кролик

Кто не имеет ничего,
 тот все-таки имеет Нечто,
 чего никак иметь не может
 тот, кто уже имеет всё...

Имея всё, никак нельзя
 иметь отсутствие всего,
 что жить мешаает налегке
 и быть любимым не за то, что —
 увы! — умеешь всё иметь.

Умеющие всё иметь,
 имеющие всё уметь,
 уж никогда не поймут,
 не поумеют никогда

поймку кролика, чьи лапки
 нам постоянно разгребают
 холмы и холмики сокровищ,
 которых я не назову,

чтоб те, кто всё уже имеет,
 не оторвали эти лапки
 от кролика, от нас с тобою,
 кто не имеет ничего

такого, то есть барахла,
 которое имеют все,
 кто здесь уже имеет всё —
 всё, кроме Кролика Сокровищ.

1998

* * *

Как чудесно ты пахнешь, мой милый,
 драгоценный, единственный мой,—
 пахнешь юностью, яблоней, силой
 океана, рожденного тьмой.

В данный миг я держу в своих лапах
 кисти мокрые, полные глаз,

и портретом становится запах,
на холсте вспоминающий нас.

Там свиваются розы, улитки,
волноликие трубки осок.
Мы с тобой не исчезнем, как в слитке
золотой исчезает песок.

Наша боль умирает последней,
не надежда, а именно боль —
эта сила не может быть средней,
потому что разлука — под ноль,

но за ней, среди небесных подпалин
что-то есть, несомненно, для нас...
Как чудесно ты пахнешь, мой парень,—
жизнью, парень, ты пахнешь сейчас.

1997

* * *

Я нарисую тебе морячку,
ходит над морем она в раскачку —
волны качают ее суденышко,
всем она телом чувствует донышко.

Потом она ходит в раскачку по суше,
где на каждом углу — исторический памятник,
но у ней под ногами ничуть не глуше
бьются волны и палуба ходит, как маятник.

Дело ее — бездонно и зыбко.
Лиственной легкостью отличаясь,
ее загадочная улыбка
с тобою спит, на ветру качаясь.

1998

* * *

Даты сражений, побед, поражений, имена полководцев,
названия мест, городов и рек, где все это было,—
ничего я не помню, в каком-то бездонном колодце
память моя на такие вещи растворилась, как мыло.

Численность армий, количество жен и трахнутых мальчиков,
имена перевалов горных и перешейков,
вооружений качество, драгоценностей, срубленных с шеек и пальчиков
цариц и рабынь из гаремов царей, королей и шейхов,

механизмы интриг, шпионства, железных масок и каменных,
казней и козней, предательства и фаворитства —
это мы проходили!.. Шпаргалки, отметки, экзамены,
знала я назубок и в лицо эти крепости, хитрости, лица...

Но, выходя на улицу, где сирень цвела и черемуха,
 все забывала начисто: полководца и войско в панике,
 имена короля, кардинала, роль влиятельной сучки и конюха,—
 особенно даты... Нет у меня сексуальной памяти.

1998

* * *

Он любил ее, как берег любит волны,
 любит волны с кораблями, с якорями
 в жизни той, где бессловесны и безмолвны
 драмы странников, расшатанных морями.

Серебрились на волнах ее картины,
 проплывали перед ним, качаясь в пене,
 чьи божественные брызги обратимы
 в миф, использующий волны, как ступени...

А дописывает мелкие детали
 подмастерье под навесом корифея,
 волоски, соски и профиль для медали —
 это всё уже подробности трофея.

1998

* * *

Небо стальное
 в городе зимнем
 пахнет снегами.
 Все остальное
 пахнет бензином
 и сапогами.

Носится мята
 во рту для общенья.
 В моде текстильной
 рифма изъята
 из обращенья —
 стала нестильной.

В этом проеме
 я выступаю
 с аккордеоном.
 Песенки кроме,
 вся утопаю
 в горько-соленом.

1998

Тележка с цветами

В той провинции, где горное эхо
 повторяло игру на тамтаме,
 там тележка по улице ехала,
 ехала тележка с цветами.

А в то лето нам выпала решка,
были мы влюблены и летали
над землей, где ехала тележка,
ехала тележка с цветами,

с белой сиренью, жасмином,
а мимо — тележка с рыбкой...
Клин вышибают клином,
мы расстались легко, с улыбкой.

Но там, где ведется слежка
за тележками, полными слез,
долго-долго еще ехала тележка,
развозящая по коже мороз.

Я колеса ей сдобрила смазкой,
чтоб не ныли среди ночной темноты,
и расписала белый лист черной краской,
оставляя только белые цветы.

1997

Трепетный отброс

В подъезде, где огромны зеркала,
лежит на лестнице один живой цветок,
и в каждом из зеркал белым-бела
его тоска предсмертная. Глоток
воды не подадут ему... Когда б
он лаял, выл, мяукал и скулил,
на брюхе ползал, был владельцем лап,
хвоста, ушей,— ему б воды налил
какой-нибудь жилец по доброте
иль по привычке к жалости. Но тут
совсем другое дело: в животе
цветку отказано, и ноги не растут,
и не рыдает золотистый глаз
в семерке белоснежных лепестков.
Воды бутылку я куплю сейчас —
и ты найдешь в ней океан глотков,
и в ней спасешься... Всем послав привет,
со мной в обнимку выйдешь на мороз.
Четыре дня и миллионы лет
мы будем вместе, трепетный отброс!..

1998

Транс-мета-кладбище

Искусство провалилось в протокол,
в свидетельства об окончании школ.
На фабрике транс-мета-херо-мантий
убор вам с кисточкой сошьют для головы
и всю трансмантию, чтоб в метастойле вы
уж не нуждались ни в каком таланте.

Привлечь вниманье легче, чем отвлечь,
 когда исчезнуть надо и залечь
 на дно, чтоб не попасть в транс-мета-стадо,
 которому транс-мета-пастухи
 клеймят бока, лопатки, область требухи —
 и даже яйца, заходя с транс-мета-зада.

Чудесно к этому привык транс-мета-бык,
 и транскозел чудесно к этому привык,
 и трансбаран, и метакурица... Привычка —
 замена счастию и свыше нам дана,
 ее лобзанья слаще меда и вина.
 Транс-мета-кладбище, транс-мета-имена,
 в транс-мета-гробиках
 транс-мета-перекличка.

1996

* * *

Люблю козу в начале мая,
 скакать по лугу с ней люблю.
 Зимой, выйдя из трамвая,
 я с нею бабочек ловлю.

Вчера мы шляпку ей купили,
 сережки с камнем бирюза,
 очки от солнца и от пыли
 и майку с надписью КОЗА.

Пришлось проделать в шляпе дырки,
 проделать дырки для рогов,
 и с курагой мы съели в цирке
 четыре пары пирогов.

Теперь лежу я на диване,
 ушами весело машу,
 коза играет на баяне,
 а я стихи для вас пишу...

1997

Улыбка Визбора

Юру Визбора кормила я борщом,
 даже водки с ним я выпила глоток.
 Он принес мне сочиненье под плащом,
 а за окнами висел дождя поток.

Юра Визбор улыбался, как в лесу,
 как шиповник в розоватых облачках,
 и какую-то чудесную росу,
 улыбаясь, он раскачивал в зрачках.

«Ни о чем я не жалею, ни о чем!..» —
пел воробышек парижский... На вокзал
Юра Визбор уходил, и вдруг лучом
стал в дверях и, улыбаясь, мне сказал.

— Не увидимся мы больше на земле.
Обещаю отлететь навеселе.
Жизнь прекрасна, страшновато умирать.
— Что ты, Юра?!
— Не хочу тебе я врать.

И ушел он, напевая сё да то
и насвистывая «Порги и Бесс»...
Так теперь не улыбается никто.
Это был особый случай, дар небес.

1998

* * *

В каждой капле Жизни
Смерть растворена,
Тайны глубина —
Разве не она?..

В каждом из Мгновений
Есть ее волна,
Та волна — времен полна,
Шелестит она...

В каждой мысли беглой
Что-то есть о ней —
То ли прелесть кратких дней,
То ли дрожь огней...

И в любом цветке
Есть ее цветок.
Ее розам безразлично —
Куст или платок.

1998

Бабочка

Когда за ручку мать меня вела,
на красоту ее оглядывалась улица.
Когда за ручку вел меня отец,
всегда он музыку насвистывал чудесную.
Теперь их тайна смерти обняла.
И бабочка, влетевшая ко мне
в такой холодный, снегопадный день,
она — от них, с любовью и надеждой,
с распахнутыми крыльями картины,
где сам Господь водил рукой ребенка.

1997

Любезный Филофей

Любезный Филофей! Твоя теперь я бабка,
 с тобою говорю о сухости в штанах,
 поскольку есть места, где очень сердцу зябко,
 и там оно дрожит, как на ветру монах.
 Три годика тебе, а мне — седьмой десяток,
 ты — крошечный блондин, а я — большой седин.
 Все пишут для тебя про кур и поросят,
 которых иногда мы все-таки едим...
 Ты прибыл в хищный мир, скуластый мой кочевник,
 и святость хищных книг завьет тебя в обман,
 как завивает в сон ягненка у харчевни
 струистый жар, и дым, и вид на океан.
 Но ты, любимец фей, не вздумай лезть в повозку,
 где дремлет вкусный скот! И вкусным быть не смей!
 ...Лазурь — в твоём глазу, похожем на стрекозку.
 И фейский твой язык — законный мой трофей.

1998

* * *

Шестое апреля, восемь утра, снегопад,
 звонят из Европы, там расцвела магнолия,
 слышу, как раздается ее аромат
 по телефону, по всем проводам, тем более —
 изо всех углов, рукавов, стаканов, труб...
 — Володя! — кричу я в трубку, задыхаясь в своей Монголии
 от астмы, от этого запаха, который, как ледоруб,
 сломал кору, под которой — моя мечта о магнолии,
 об окнах не в грязный мрак, а в цветущий куст,
 о жизни, где воздух не делает губы синими.
 — Юнна!.. Здесь так прекрасно! Зачем тебе тот Прокруст?!
 И я ему отвечаю, что все это — хруст на линии...

1998

* * *

Вербка милая, серебряный пушок,
 прутья розовые, снежная весна.
 Снегом пенится метель на посошок,
 все дороги завалила белизна,

и над нею только головы плывут,
 только головы и лица ходяков,
 серебристого дыханья вербный прут
 разрастается кустами облаков.

И несут они детей над головой,
 дети старше их намного, и о том —
 свет, искрящийся в лавине снеговой,
 свет, играющий серебряным прутом.

1998

* * *

Меня от сливок общества тошнит!..
В особенности — от культурных сливок,
от сливок, взбитых сливками культуры
для сливок общества.
Не тот обмен веществ,
недостает какого-то фермента,
чтоб насладиться и переварить
такое замечательное блюдо
могла и я — как лучшие умы.

Сырую рыбу ела на Ямале,
сырой картофель на осеннем поле,
крапивный суп и щи из топора
в подвале на Урале.
Хлеб с горчицей,
паслён и брюкву, ела промокашку,
и терпкие зелененькие сливки,
и яблочки, промерзшие в лесу,—
и хоть бы что!..

А тут, когда настало
такое удивительное время
и все, что хочешь, всюду продается —
моря и горы, реки и леса,
лицо, одежда, небеса, продукты,
включая сливки общества,— тошнит
меня как раз от этих самых сливок,
чудесно взбитых...
Да и то сказать,
от тошноты прекрасней всех мелисса.

1998

Элегия

Хотелось бы остаток лет
прожить вдали от пошлых бед,
и людоедских процветаний,
и от художественных сук
в малине круговых порук,
в притоне творческих братаний
на политических пирах,
где только выгода и страх
толкают судеб вагонетки...
Дай Бог, от этого вдали
прожить хоть на краю земли,
бросая в океан любви
свои последние монетки.

1997



Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

LXXVIII

Хамелеоны способны мгновенно обретать цвет окружающей среды, чтобы обезопасить себя, и при этом они остаются теми же физиологическими существами, какими создала их природа; власть — явление не природное, а рукотворное, и возможно, повадки ее, ее способность приноравливаться к тем или иным историческим обстоятельствам (военным, политическим, экономическим и духовным катаклизмам, в большинстве случаев ею же самую инсценированным) нельзя сравнивать с приспособляемостью бегающих по земле хвостатых ящериц, но я глубоко убежден, что между способом выживания хамелеонов и способом выживания власти, если всмотреться в пространство прожитых веков, есть не просто нечто схожее во внешнем, скажем так, проявлении, но глубоко роднящее по стержневой сути, стержневой основе, ибо власть, как и бегающие хвостатые существа, перевоплощаясь в цвете при появлении опасности, остается неизменной в своей стратегической (фараоновской) заданности господства и рабства. У хамелеонов в запасе всегда есть несколько базовых цветов, на основе которых они могут воспроизводить неисчислимое или почти неисчислимое количество оттенков; власть в отличие от хамелеонов (потому, повторяю, что представляет собой не природное, а рукотворное явление) опирается лишь на две основополагающие системы государственности — монархическую и олигархическую, но, как показывает практика жизни, ей и этого достаточно, чтобы в нужный момент обрести нужную социальную окраску, не поступаясь ни на йоту своими престольными завоеваниями. На монархической основе инкубируются империи, царства, королевства, княжества, герцогства, разнообразясь между собой самой, казалось бы, невероятной гаммой оттенков, но суть их в их стержневой заданности остается неизменной — господство и рабство; на олигархической основе, когда самодурствует не один тиран, а два, три десятка тиранствующих личностей (иногда это претенденты от династических фамилий, но чаще — от объема награбленных богатств и пролитой простолюдинской крови), — на олигархической основе, как показывает опять же практика жизни, роятся республики, именующие себя демократическими (по аналогии с древнегреческой и раннеримской — семейства нобилей — демократиями, когда власть предрержащие, изоцряясь в разглагольствовании о своих правах и привилегиях, не просто оставляют в забвении подвластный люд — илотов, плебеев, смердов, — но, тиранствуя над ним, обрекают его на истощение и исчезновение); республики на постулатах капитализма, коммунизма, социализма, фундаменталистских религиозных учений — это ли не выбор, это ли не веер разнообразных систем, тогда как по сути своей все они являют собой одно — господство и рабство. В конце

концов власть в любом толковании, даже в житейском,— это концентрированное выражение господства и рабства, и когда мы говорим о ее хамелеонной приспособляемости (живучести), то не должны забывать, что речь идет не просто о смене правителя или короны на том или ином венценосце, ибо вместе с властью и под ее руководством хамелеонируется все, что входит в механизм власти, обеспечивает ее жизненные интересы, помогает наращивать богатство и открывает простор для безнаказанного насилия и рэкетирства; хамелеонизация государственного устройства — это не смена режима власти, а лишь смена вывески, рассчитанной на ложную привлекательность и обман масс, лишь обновленное, если сказать иначе, толкование старых, закоренелых явлений, обеспечивавших обитателям дворцов тронное благоденствие, обитателям хижин — бесправие, страдания, нищету. История на всем своем многовековом пространстве буквально пестрит примерами, когда на смену монархиям приходили республики с посулами неких демократических будто бы свобод, братства и справедливости и в то же время с неизменной — от древнеегипетского первородства — державной сутью, или, напротив, так называемый «республиканский демократизм» заменялся имперским абсолютизмом, о чем свидетельствует, скажем, тысячелетняя история Рима, представленная, впрочем, всей гаммой подобных классических переустройств власти. К этому можно добавить, что история вообще не знает иных переустройств в государственном механизме жизни, кроме переустройств хамелеонного порядка, и неоспоримость сказанного подтверждается тем, что после всех социальных и нравственных потрясений, волнами прокатывавшихся по океану человеческой жизни, всех кровавых и кровавейших бунтов, революций, дворцовых переворотов, братоубийственных войн за передел богатств, славы и власти,— да, после всех этих рукотворных самоубийственных бурь, целью которых было вроде бы избавление от угнетения, насилия, рабства, фараоновская державность не только сохранилась в своем первоизданном варианте господства и рабства, но, разросшись до всеохватных масштабов, торжествует и сегодня над народами, странами, континентами. Мировое сообщество, словно колесо на оси, движется не вперед, а лишь вращается вокруг пронизавшего плоть стержня, мелькая спицами хамелеонных государственных переустройств, и каждый раз вместе с фасадной вывеской власти меняется и фасадная вывеска (или толкование, или объяснение) рабства. Так было всегда, так происходит и сегодня, и, возможно, именно в этом принудительном единстве двух несовместимых по социальной значимости начал жизни, слитых в понятие «государственность», как раз и лежит ключ к познанию стагнационной заданности хищнического мироустройства. Ведь рабство как состояние жизни, угнетающее и убивающее в человеке (народе, народах) достоинство, нуждается не в защите и сохранении, а в скорейшем и полном искоренении,— так думают миллионы и миллионы простолюдинов, задавленные сим фараоновским «благом», но не так мыслят и не этого добиваются правители, испокон кормящиеся с нивы порабощения, и, заботясь о живучести тронов, не забывают позаботиться и о живучести рабства; и оно живет, здравствует, процветает вопреки всем отслуженным по нему академическим (научным) панихидам, всем траурно-торжественным похоронам, какие из столетия в столетие устраивались учеными мужами, отправлявшими в небытие это трагическое явление жизни. Мы привыкли полагать, что иерархи от исторических и философских знаний, чье тронугодничество доказано всем ходом развития человечества, обычно действуют в унисон с правителями (по крайней мере во исполнение дворцовых предписаний); в данном же случае налицо явное противоречие или по меньшей мере очевидная несогласованность действий, когда правители, кормящиеся от рабства, стоят насмерть за его сохранение, изоцпляясь в поисках новых для него форм (явное или скрытое, но рабство всегда есть рабство), а ученые мужи, то и дело уличающие рабство в клинической смерти (бумага все стерпит!), изо всех сил стремятся придать своим бутафорским похоронам видимость реальных действий. Что это: ошибка, недоразумение или определенная заданность, то есть некий спасительный для тронов и убийственный для простолюдинов вариант изложения исто-

рии, когда, с одной стороны, рабство живет, процветает, приносит нужные дивиденды его держателям, а с другой — смерть его зафиксирована научно, оно, то есть невольничество, рабство, похоронено, его нет, а значит, и нет повода для протестов и возмущения масс? Ответить на этот вопрос можно только аксиомой, открытие которой, кстати, тоже принадлежит фараонам Египта, искавшим способ увекочевания власти, что сила слова (сила пропаганды) — великая сила, и она куда мощнее и надежнее, чем высвобожденный из ножен меч, ибо одновременно подавляет в массах и разум, и волю. Народы по беспредельной доверчивости своей проглатывают любую подающуюся им миражно-обольстительную наживку, но если простолюдинам можно простить их простодушие и беспечность (ведь народ, народы и сегодня продолжают удерживаться в невежестве), то светилам от исторических и философских знаний, которые, получив доступ к познанию правды и познав ее (их постскриптумные откровения, их высказывания у последней черты яснее ясного говорят об этом), затем старательно, в угоду тронам, обходят ее, — светилам от исторических и философских знаний нет прощения ни ныне, ни присно, ни во веки веков. Убиенное ими рабство на бесчисленных научных синклитах (убиенное в речах и на бумаге) они выносят из залов, грузят на катафалк, и под единодушный хор академических подпевал отправляют на кладбище исторического забвения; эта образная картина представляется мне настолько близкой к действительности, что едва ли возможно что-либо опровергнуть в ней, а если что здесь и вызывает недоумение, то разве лишь перманентность подобных устраиваемых похорон. Каждое столетие непременно отмечается подобными похоронами рабства (его хоронят, а оно оживает, опять хоронят — опять оживает), так что создается впечатление, что либо ученые мужи заведомо отправляют на кладбище пустой гроб, либо рабство, признаваемое ими почившим, бездыханным, каким-то таинственным образом оживает и ускользает из уготованного ему саркофага, а могильщики-профессора и могильщики-академики, не успев отбыть на сороковинах, вдруг обнаруживают, что рабство живо, что оно опять в миру и что им предстоит вновь собирать на репетиции хор и оркестр для новых похорон. Кому нужен этот сизифов труд, кто стоит за ним, кому он выгоден? Ведь известно же, что, прежде чем хоронить рабство, нужно похоронить власть; а власть, как показывает действительность, бессмертна (по крайней мере пока торжествует хищническое мироустройство), и вместе с нею, о чем свидетельствует все та же действительность, бессмертно и рабство; оно только хамелеонизируется, и по принимаемым облициям, то есть по этому внешнему признаку, его можно подразделить на три основополагающих разновидности: открытое (Древний Египет), смешанное, то есть частью открытое, характеризующееся работорговлей (в Древнем Египте, следует заметить, работорговли не было, поскольку невольниками были все, и все они принадлежали одному хозяину — фараону, так что некому было ни торговать живым товаром, ни покупать его), частью скрытое, приглушенное, выраженное разной степенью крепостной зависимости (античная Греция, Рим, Европа времен мрачного средневековья, Россия на протяжении всей ее древней и новейшей истории), и рабство современное, обеспеченное полным или почти полным идеологическим (да и силовым) прикрытием, с каким человечество готово вступить в свое третье от Рождества Христова тысячелетие. В последние столетия похороны рабства все чаще сопровождаются аргументами, что невольничий труд неэффективен, что он приводил к упадку жизни и что страх перед экономической катастрофой заставлял якобы людские сообщества искать новые формы труда (формы рабства, если перевести на язык реализма), которые бы обладали неистощимостью. Сдается мне, что мы опять здесь сталкиваемся скорее с правдоподобием, чем с правдой, когда исторические события согласуются с логикой воображения, а не с логикой жизни; ведь рабство никогда не исчезало, да и не похоже, чтобы имело тенденцию к исчезновению, а человек, тем более народ — это не механизм для труда, как полагают во дворцах и храмах, а живой организм, ищущий удовлетворения как в своих физических, так и умственных проявлениях, и когда у него отнимают эту возможность — у него отнимают жизнь.

LXXIX

Если бы правители, руководившие и руководящие миром, страшась экономической катастрофы, к которой сами же и подталкивают человечество, и в самом деле хотели бы предотвратить ее, то для этого им достаточно было бы предоставить людям свободу, то есть возможность самим и в согласии с не забытыми еще национальными традициями устраивать свое бытие; иначе говоря, отменив классовое расслоение, вернуть людские сообщества к тем идиллическим (бесклассовое общество, «славные Гипербореи») временам, когда каждый человек, пользуясь разумной достаточностью базовых средств к существованию, не помышлял бы ни о господстве над соплеменниками, ни тем более о господстве над другими народами и верховенстве над миром и не обездоливал бы себе подобных, пряча наворованные у них богатства в километровых тайниках Швейцарских Альп. На это могут сказать, что такой поворот невозможен, что ностальгия по идиллическим временам — это ностальгия по никогда не существовавшему, вымышленному, утопическому благоденствию, ибо человек от природы зверь и вся историческая деятельность его — это всего лишь стремление облагородить зверство, то есть придать ему некие черты если не высокой, то по крайней мере достойной человека нравственности. Однако действительность, если взглянуть на нее в разрезе веков, не только опровергает этот вымышленный (для оправдания деяний кумиров-поводырей) тезис, но открывает, как уже говорилось выше, картину обратного порядка — нарастающую ожесточенность личностей против личностей, народов против народов, а главное, правителей против народов и народов против правителей (что, разумеется, добром не кончится для человечества), и в этой концепции действий, да, именно в этой концепции действий нельзя было ожидать от венценосных особ даже намека на освобождение народов; под предлогом поисков неких будто бы новых, совершенных форм труда постфараоновские поводыри мира шаг за шагом, поэтапно, столетиями заменяли поработительство открытое, откровенное поработительством скрытым, завуалированным, и этот-то процесс (процесс перекабаления, я так бы назвал его), длящийся уже более двенадцати (от «века Богов») тысячелетий, как раз и подается как некое великое раскрепощение, некое историческое искоренение рабства. Я вовсе не склонен опровергать здесь, что рабство по мере развития общественного бытия становилось тормозом экономического роста и что народы и правители, по-своему заинтересованные в экономическом благополучии своих стран, не искали выхода из сложившегося положения, но, мне кажется, не это было главным, что беспокоило и подвигало тронных и околотронных особ к определенным решениям; в истории известна другая, более важная причина — степень пробуждавшегося самосознания в народных массах, и хотя историки и философы не любят распространяться об этом (может быть, потому, что процесс сей скрытнособытиен, его трудно подразделить на этапы, даже если кому-то и захотелось бы увязать его с зарождением, скажем, письменности или расцветом культуры, которая, впрочем, является и сегодня для простолюдинов неким дворцово-отчужденным зрелищным элементом жизни, но скорее потому, что сама тема эта находилась и находится под прочным тронным запретом), — да, хотя историки и философы не любят распространяться о пробуждении самосознания в обездоленных простолюдинских массах, но именно это пробуждение, сдерживаемое и ныне всеми доступными и недоступными способами (главным образом ограничительными барьерами и жестким целенаправленным зомбированием), вызывало у правителей, как, впрочем, продолжает вызывать и теперь, беспокойство за судьбу тронов. Они понимали, что отменить рабство нельзя, ибо в таком случае полностью теряли свою поводырскую жизнеспособность (над кем и над чем тогда властвовать и с кого кормиться?), но понимали и другое, что оставлять рабство в таком виде, в каком оно было унаследовано ими от фараонов, тоже опасно, поскольку рано или поздно троны могут быть сме-

тены волной народного возмущения, народного гнева, и, оказавшись между этих двух жерновов (с одной стороны, необходимостью отмены, а с другой — необходимостью сохранения этой кормодающей основы дворцовой жизни), постфараоновские правители вынуждены были искать выход, и поиски этого выхода, вылившиеся в известную уже нам хамелеонизацию, как раз и составляют главный стержень или, вернее, базовую основу двадцативековой постфараоновской истории тронного самостановления. Как власть, так и рабство начали свой эволюционный путь развития не от низшей, что выглядело бы логично и согласовывалось с канонизированным представлением о человеческом бытии, а от высшей точки отсчета, то есть от абсолютных, хотя и достигнутых пока что (имеется в виду — к тому времени) лишь в одной стране, величин господства и рабства; такой взгляд на историю многим, я допускаю, может показаться странным, поскольку мы привыкли полагать, что если жизнь — движение, то движение это непременно должно быть к совершенству и всякое отклонение от этой кажущейся нам аксиоматичной истины вызывает в нас вполне естественное недоумение. Нам представляется, что мы отходим от истины и впадаем в заблуждение, тогда как на самом деле только самозакупориваемся в оболочке именно заблуждений, считая, что есть только одна логика или, вернее, одна закономерность, которая лежит в основе всех жизненных явлений и в которой нет и не может быть непредсказуемых поворотов, разрывов и отклонений; но действительность как историческая, так и текущая, если повнимательней присмотреться к ней,— действительность дает совсем иное представление о сути творившихся и творящихся вокруг нас жизненных явлений, ибо одни из этих явлений развиваются по естественным, то есть природным, законам бытия, тогда как другие — по рукотворным, исходящим от произвола человеческого (главным образом поводырского) разума, и к ним нельзя подступать с единой логической линейкой, скажем так, или меркой. Жизнь в естественном проявлении, возможно, движется по восходящей, а потому все в ней более или менее предопределено и соподчинено между собой, тогда как жизнь в рукотворной заданности (власть, насилие, рэкетирство, порабощение и государственность как квинтэссенция поводырского беспредела),— жизнь в рукотворной заданности как раз и характеризуется не поддающимися ни здравой логике, ни здравому смыслу явлениями, к числу которых прежде всего я бы отнес изничтожение человечеством базовых основ своего материального и духовного бытия. Наверное, следует признать здесь, что человечество давно уже не живет естественной жизнью, а точнее, с момента классового расслоения, то есть с тех древнейших времен, когда в общественное бытие были внесены рукотворные (хищнические) начала и весь наш так называемый эволюционный путь развития, по которому, несмотря на революционные вспышки насилий и тирании, мы все же, как утверждают ученые, настойчиво продвигаемся в будущее,— весь наш так называемый эволюционный путь развития представляет собой не восходящую прямую, а бесчисленно-тысячелетнюю замкнутую окружность, по которой от «века Богов» в масштабах нильской земли — «колыбели цивилизации» — движемся, идем, можем прийти только к «веку Богов» во всеохватном масштабе, когда в зоне фараоновского «благоденствия» окажутся все народы, ныне населяющие планету, и тут нет никаких преувеличений, ибо каждый может убедиться в этом, обратившись к самой элементарной истории прошлых и текущих столетий. Закольцованность власти, кольцованность рабства, кольцованность жизни вообще столь же очевидны, как очевидна кольцованность во всех проявлениях дворцовой и хижинной жизни, закономерность которой объясняется то божественной предначертанностью (в зависимости от новизны, силы или усталости религиозных учений, троннопризывавшихся для зомбирования масс), то социальными приоритетами частной и общественной собственности (в зависимости от монархических или олигархических поветрий, ныне мягко репервоплощенных в понятия «госу-

дарственность» и «народность», что на деле означает все тот же монархизм и олигархизм), то степень исторического превосходства одних и исторической отсталости и неполноценности других народов или кланов личностей среди этих народов (чистой воды расизм, едва прикритый тогой так называемых «научных постулатов»), — да, закольцованность власти, рабства, как, впрочем, и всего нашего бытия столь очевидны, что если что-то и эволюционировало и эволюционирует в этих основополагающих постулатах, то перемены эти, по крайней мере со времен сорокавекового господства фараонов, времен строительства пирамид, ни в какой мере и ни с какой стороны не затрагивали и не затрагивают основ хищнического мироустройства. Рабство, доведенное правителями Древнего Египта до абсолютной своей значимости, воспринималось ими — да и не только ими, но и большинством подданных — явлением настолько естественным, что его не надо было ни оправдывать, ни объяснять, ибо оно и объяснялось, и оправдывалось уже тем, что фараоны считались посланцами (наместниками) неба и солнца, а земля — существами, призванными безропотно улаживать и обслуживать этих своих «богов»; между господством и рабством лежала черта страха и святости, которая как раз и удерживала простолюдинов не только от крамольных действий, но и от крамольных мыслей, и в государстве царил тот завидный «порядок» (если, конечно, насилие и бесправие можно называть порядком), о каком в постфараоновские времена правители могли только мечтать, и весь исторический интерес их к Древнему Египту (главным образом к жителям фараонов) обуславливался лишь одним желанием, одной целью — открыть для себя тайну фараоновской (государственной) власти и государственного (фараоновского) порядка. Ведь и нынешние правители (хотя они открыто и не признаются в этом), следуя тысячелетним дворцовым трафаретам, продолжают искать в стойбищах пирамид все ту же манящую их тайну фараоновского престольного долголетия и фараоновского порядка, в то время как куда логичнее было бы совсем с иной стороны посмотреть на «век Богов», который, как сказали бы в народе, был и сгинул, оставив после себя кровавый след разорительнейших войн, взлетов и падений империй, царств, королевств, монархических и олигархических республик, престольно заряженных или, вернее, зараженных фараоновской устремленностью к абсолютным (но уже во всеземном масштабе) величинам власти и рабства.

LXXX

История человечества, если посмотреть на нее с позиции точных наук, состоит из закономерностей и парадоксов, и часто то, что мы называем закономерностью, оказывается всего лишь историческим парадоксом, а то, что относим к разряду парадоксов, является по всем своим свойствам либо естественной (природной), либо рукотворной (от произвола поводырского разума) закономерностью. Можно ли объяснить здравым смыслом то, что человечество, отказавшись от идиллических основ бытия, ввергло себя в пучину классового расслоения? Нет, поступок этот при всем желании невозможно объяснить здравым смыслом, но, думаю, нельзя и отмахнуться от него, окрестив парадоксом, ибо парадокс этот стал, по существу, стержневой основой всего нашего исторического бытия. Поддается ли здравомыслию, скажем, такое явление, как «век Богов», возникшее сразу же или, вернее, вслед за классовым расслоением, если, конечно, рассматривать его не в рамках фараоновского благоденствия, а в рамках народной жизни? Нет, не поддается, но его уже нельзя назвать парадоксом, поскольку явление это обусловлено или, вернее, вытекает из закономерностей, обусловленных классовым расслоением. Классовое расслоение есть плод человеческого разума (горький, следует уточнить, ядовитый, поразивший, и теперь это более чем очевидно, людское бытие вирусом самоистребления), и все малые и большие беды, потрясавшие и потрясающие нас, хотя и кажутся нам иногда па-

радоксами (искажениями) жизни, но на самом деле все они имеют одну исходную — классовое расслоение и подчинены одной закономерности — хищничеству, возрастающему на базе социальной несправедливости. Наверное, есть высшая закономерность в том (вытекающая, разумеется, из классового расслоения), что фараоновская державность, монументально воплотившая свое величие в каменных пирамидах, уже в силу своей поработительской заданности не могла существовать вечно; под прессом насилия неминуемо должны были истощиться и земные, и людские ресурсы, и, оказавшись перед лицом этого надвигавшегося краха, фараоны вынуждены были двинуться на завоевание новых обетованных земель; думаю, закономерность такого завершения не требует объяснений, она самообъяснена, с одной стороны, абсолютизмом фараоновской алчности, фараоновской власти, а с другой — абсолютизмом бесправия древних египтян, да и наконец самим своим неминуемым крахом, и естественно было бы предположить (если бы историческая наука была наукой, а не служанкой у тронов), что мировое сообщество не пойдет по стопам Древнего Египта и тем более не назовет созданный фараонами режим господства и рабства «зарей человечества», «колыбелью цивилизации»; но мировое сообщество вопреки именно здравому смыслу (что как раз и можно было бы назвать парадоксом, дабы не выворачивать корни этого явления и не оголять пьедестально-преступный поводярский произвол) не только не отвергло этот тупиковый, ведущий к краху путь развития, но, напротив, провозгласив абсолютизм власти и абсолютизм рабства «веком Богов», положило его идеалом жизни, идеалом общественных отношений и общественного бытия, даже отдаленно не осознавая всей неразумности совершаемого поступка. Что это? Парадокс истории? Если парадокс, то как быть с насилием, во все века сопровождавшим и сопровождающим этот парадокс, а если закономерность, то из чего она вытекает, каким целям служит и когда и с какой заданностью рассматривалось это явление исторической наукой, да и рассматривалось ли вообще? Нет, не рассматривалось; не рассматривалось потому, что историческая наука, если, конечно, ее можно назвать таковой, не для того, видимо, создавалась и поддерживалась тронами, чтобы вскрывать истину прошедших веков и освещать или высвечивать этой истиной события текущей жизни; перед служителями этой так называемой науки выдвигалась, как, впрочем, выдвигается и сегодня совсем иная и вполне определенная цель — обелять, обелять и еще раз обелять то, что кроваво содеяно кумирами-поводырями, и, подменяя таким образом правду правдоподобием, истинную суть явлений их тронноугодным, тронноподсказанным толкованием, вводить в заблуждение (историческое заблуждение) массы простолюдинов, чтобы кумиры-поводыри могли по своему произволу манипулировать ими. За сорок веков фараоновского господства и сто двадцать веков постфараоновской державности историки, начиная от перволетописцев, да и философы, возраставшие на духовном поработительстве (шаманы, оракулы, спасители и пророки, преподносившие человечеству свои «богопродиктованные» учения), настолько поднаторели в своем профессиональном (троннохолопском) мастерстве, то есть создали такую стройную концепцию мироустройства, что всякое отклонение от нее (в том числе и предлагаемое мною) выглядит прямо-таки невежеством, это еще в лучшем случае, а то и прямым посягательством на непререкаемые авторитеты минувших и текущих эпох. Мне уже приходилось говорить здесь, что не случайно, да, не случайно главнейшие, самые судьбоносные явления нашего исторического бытия, начиная с классового расслоения, упорно или настойчиво (можно и так, и так) не затрагиваются исторической наукой; причина одна — власть не может и не должна оголяться в своих порочных деяниях, ибо, потеряв авторитет перед массами, она потеряет все, и в связи с этим мне хотелось бы обратить внимание на то, что есть общая порочность власти, присущая всем тронам, под какой бы вывеской (монархической или республиканской, то есть олигархической) они

ни существовали, и есть порочность, окрашенная произволом той или иной тиранствующей личности, иначе говоря, порочность долговременная и всеохватная (скажем, установленный фараонами режим господства и рабства), и порочность одномоментная, измеряемая уже не эпохами, а годами (например, геноцид против русского народа, проводившийся из Кремля так называемыми вождями победившего пролетариата), и хотя оба эти явления имеют один корень и вытекают из одной закономерности (закономерности фараоновской державности, обеспечивающей бессмертие господству и рабству), но именно на оценках этих явлений, произвольных, я бы уточнил, вернее, зависимых от политических, экономических или нравственно-духовных амбиций правительства, историки и философы как раз и выстраивают свою непрерываемо-стройную вроде бы концепцию становления и развития людских сообществ. Иногда мне даже кажется, что сами понятия «закономерность» и «парадокс» придуманы лишь для того, чтобы можно было манипулировать («научно» манипулировать) явлениями исторического и текущего бытия, и то, что обеляет троны и выстилает им дорогу к могуществу, объявляется закономерностью (потому и процветают всевозможные престолы и власть не выпускает из рук самоизготовленный для себя мандат на бессмертие), а то, что обнажает деяния коронованных особ и порочит или может опорочить троны, вернее, что, получив огласку, вызывает недовольство, брожение и возмущение в народе (народах) и чревато бунтами и революциями, объявляется исключением, парадоксом, произволом диктаторствующей личности, то есть явлением, выходящим за рамки благогосподствующих — от древнеегипетского первородства — условий и условностей жизни, а потому и рассматривать их надо как исключение, а не как правило. Если присмотреться к событиям веков, то без труда можно заметить, что каждая эпоха помечена двумя-тремя подобными «исключениями», и естественно возникает вопрос: а что же тогда следует считать закономерностью? Все тирании прямо или косвенно, открыто или иносказательно (я имею в виду такие деяния правителей, которые ну уж никак не поддаются обелению) отнесены к разряду парадоксальных, а это означает, что они не подчинены никаким закономерностям и возникают исключительно из произвола царствующих особ; в представлении людей (народа, народов) это должно выглядеть так: есть тиран — есть тиранья, нет тирана — нет тираньи, то есть все до упрощенности просто — главенствует случайность, а не продуманная до мелочей система хищнического мироустройства, и бороться надо не с системой, а с каждой отдельной вспышкой тираньи. И что же — вспышки повторяются, тираньи следуют за тираньями, а все мы, то есть народ, народы, оказываемся «научно» обезоруженными перед явной и закоренелой закономерностью. Понятие «парадокс истории» — весьма и весьма удобное прикрытие для повторяющихся из века в век кровавых поводярских деяний, и главенствующая роль в этом вселенском фарисействе, вселенском прикрытии, отведена исторической и философской наукам (я уж не говорю о роли религиозных учений, ибо там — сам Бог велел); ведь зло, объясненное тем, что оно будто бы единично и непредсказуемо, напоминает роковое стечение обстоятельств, а с рокового стечения что возьмешь? Ничего. Объявить парадоксом и идти дальше проторенной уже (от стойбища пирамид) дорогой войн, грабежей, раздоров, насилия, порабощения; и идем, и полагаем, что путь наш научно обоснован, что если простолюдинские массы и прозябают в невежестве (историческом невежестве, в котором и сегодня продолжают удерживать нас), то те, кто ведет, определяет направление, то есть кумиры-поводыри, размещившиеся в иконостасах и на пьедесталах, в президентских и премьерских креслах, — они-то уж не грешат историческим невежеством, ибо для них всегда открыт доступ к подлинной, а не только оскопленной исторической информации. Все они знали, вернее, не могли не знать, что привело к краху «век Богов»; но вместе с тем каждый правитель, заступавший в постфараоновский период на тот или иной престол, устремлялся в доступ-

ных ему рамках к достижению того же абсолютизма в господстве и рабстве, каким обладали древнеегипетские фараоны, и если уж говорить об историческом парадоксе, то, наверное, ничто так не противоречит здравому смыслу, как это странное, да, традиционно-странное поводярыское попугайство.

LXXXI

Известно, что античная Греция повторила судьбу Древнего Египта, оставив миру развалины былого величия, и точно так же, как Египет, за тысячелетия после падения так и не смогла восстановиться ни в политическом, ни в экономическом, ни в духовном — культура, искусство, литература, живопись, зодчество, науки — значении. Наверное, чтобы не вводить читателя в заблуждение, следует напомнить, что вопреки сложившемуся историческому трафарету, к которому и я вынужден прибегнуть здесь, ни Древний Египет, ни античная Греция, ни Рим никогда не были, если рассматривать их с точки зрения народного благополучия, ни могучими, ни величественными; рабы, илоты, плебеи — вот удел простолюдинского большинства в предложенном миру фараоновском устройстве жизни, и если кто-то все еще склонен полагать, что мудрость древних обычно взрастала на справедливости, то глубоко заблуждается, ибо в исторической реальности по распределению благ еще со времен пирамид укоренилась исправно действующая и ныне закономерность, по которой роскошь дворцов и нищета и бесправие хижин всегда находились и продолжают находиться в прямой пропорциональной зависимости, то есть чем больше достатка и барства в дворцовой жизни, тем горше и беднее выглядит жизнь простолюдинов, и это четко прослеживается как на примере Древнего Египта (фараоны и рабы), на примерах античной Греции и Рима (в первом случае афинские и пелопоннесские олигархи и илоты, а во втором — нобели, консулы, цезари, рабы и плебеи), так и на примерах держав новой и новейшей истории, показно сменивших монархические стяги над куполами дворцов на стяги президентских и парламентских (олигархических по сути и демократических по фасадным вывескам) республик, так что, если вернуться к истории, рушились величие дворцов, а не величие народа, культура дворцов, а не культура народа, цивилизации насилия, а не цивилизации благоденствия, и «величественные» развалины, оставленные этими «цивилизациями», яснее ясного говорят об этом. Известно, что Рим, возникший на упадке греческих городов-полисов, повторил судьбу уже и Древнего Египта, и античной Греции, оставив после себя, как и могущественные предшественники, лишь дряхлеющие, хотя и претендующие еще на величие памятники своего неохватного владычества, и точно так же, как предшественники, за тысячелетия после падения так и не смог восстановиться в венце былой славы. Конечно, два примера — это еще не закономерность, но, думаю, дело не в перечне однотипных явлений, а в том, что вся постфараоновская история (ведь не случайно она писалась как история царств и царствований) буквально испещрена воронками взлетов и падений великих и невеликих империй, царств, княжеств, герцогств, республик, конгломератов, и все эти взлеты и падения происходили или, вернее, протекали, как протекают и теперь, по одному и тому же ущербно заданному сценарию, по которому канул в небытие «век Богов», унеся с собой живые источники хищнического мироустройства, и затем в небытие же канули античная Греция, Рим, империя Александра Македонского, Священная Римская империя Карла Великого, арабский и турецкий халифаты, османское владычество и десятки и сотни других, менее значимых, но столь же трагически для истории человечества государственных образований. Правители всех этих великих и малых держав имели перед собой трагический пример Древнего Египта, античной Греции, Рима; они знали, то есть опять же не могли не знать, содержа на дворцовой службе самые совершенные для своего времени исследовательские центры, и прежде всего центры по изучению основ

фараоновского хищнического мироустройства как самой, может быть, благодатной среды для тронного обитания, основ власти, как некой центробирующей будто бы силы жизни и основ поработительства как плодоносной (для дворцового обеспечения) нивы; они могли и желанны были опираться на реализм жизни, а не на миражные (хотя и желанные) представления о ней, но, как показывает действительность, поступали вопреки логике, вопреки здравому смыслу, устремляясь в царских деяниях своих к абсолютизму в господстве и рабстве и истощая в подвластных им странах и людские, и земные ресурсы и приводя к краху и свое тронное благополучие, и, главное, благополучие народов, которыми и брались, сообразовавшись в престольные чужеродства, управлять; так было в прошлом, так происходит и теперь, и если бы мы имели здесь дело с единичным случаем, то его вполне можно было бы назвать парадоксом истории, но перед нами не случай, а многовековая цепь повторяющихся событий, а это означает, что в основе трагизма, иначе это явление не назовешь, лежит закономерность, которая обретает власть над каждым, кто бы и с какими бы целями ни вступал на престол. В чем заключается эта закономерность, ни историческая, ни философская наука, ни религиозные учения не дают ответа, хотя ответ есть и его легко можно вычислить, спустившись по цепи трагизма в глубь веков к периоду классового расслоения и формирования первых основ (вместе с появлением фараонов на нильской земле) хищнического мироустройства. Классовое расслоение породило фараонов, фараоны, сумевшие достичь абсолютных величин в господстве и рабстве, зарядили мир идеей мирового господства, и цель эта оказалась настолько заманчивой и великой для кумиров-поводырей, что они готовы погрузить мир в любой трагизм вплоть до полного истощения всех народов на всех континентах, лишь бы достичь заветной цели — мирового господства. Их не останавливает даже такое обстоятельство, что с каждым новым столетием все меньше и меньше остается обетованных земель для порабощения и, вместо того чтобы остепениться (видимо, разум, помутненный «золотым тельцом», не способен на просветление), судорожно ищут сегодня для себя «обетованную планету», чтобы, перебравшись на нее со всем своим доведенным до совершенства престольным чужеродством, оставить физически и духовно истощенное человечество вымирать на обглоданных и обеспопеленных просторах Земли. Так это или не так — сегодня более чем когда-либо земные дела открыты для обозрения, и, думаю, не надо обладать особым аналитическим умом, чтобы, глядя на творящийся беспредел в мировом сообществе, понять, кто, то есть какие силы и к чему ведут человечество; чуть-чуть воображения, да, самая малая малость этого не отнятого еще у нас дара соединять временные поля, явления, эпохи, чтобы постигать истину, да, да, самая малость этого дара прозрения — и перед мысленным взором распахнется не частная, нет, а обобщенная картина жизни в цепи повторяющихся событий, и мы увидим, что если прожитые эпохи и разнятся в чем-то между собой, то лишь обликом городов, средствами зомбирования, передвижения, устрашения, некоторыми бытовыми (не для всех) условиями, тогда как в стержневой заданности — заданности господства и рабства — ничто не менялось и не меняется, и, откровенно говоря, какая для нас разница в том, как именуются властители: фараонами или президентами, и какую работу выполняют простолюдины: возводят пирамиды или небоскребы, гнут ли спины на плантациях (прежде — во ублажение фараонов и притершихся к ним высокородных слуг, а теперь — во ублажение президентов, президентских команд и разросшегося до неохватных размеров государственно-чиновничьего аппарата), трудятся ли на рудниках, в забоях, добывая руду, драгоценные металлы (от чего богатели и богатеют только дворцы и замораживаются в нищете хижины), стоят ли у конвейеров (это уже признак современности), — да, да и еще раз да, какая разница, что возводят для себя правители: пирамиды или небоскребы, и на каких работах заняты простолюдины, если суть общественных отношений и общественного бытия —

суть господства и рабства — остается неизменной в своей фараоновско-державной заданности. Простой человек сегодня бесправен не меньше, чем был бесправен в Древнем Египте, и только историческое невежество, повторяю и готов еще и еще раз повторять, только историческое невежество, в каком правители держали и продолжают удерживать народы, не позволяет нам в полной мере сопоставить жизнь нынешних простолюдинов с жизнью обращенных в рабство древних египтян. Во всех странах одинаково барствуют правители, одинаково страдают народы, мир хищничества един во всех своих проявлениях, и если я чаще всего обращаюсь за примером к славянству, к России, то это не означает, что через подобные врата ада — врата фараоновской державности — не прошли и не испытали тягот другие народы. У нынешних простолюдинов мира, как некогда у древних египтян, сегодня отнято все, что только можно отнять у них: земля, недра, воды, воздушное пространство, то есть все важнейшие ресурсы жизнеобеспечения находятся в руках монополий; монополии обуславливают власть, власть обуславливает режим жизни, который силой, обманом, внушением навязывает людским сообществам, и все это называется государственностью, то есть организуемой вроде бы и охранной системой жизни простолюдинов; мы, нашпигованные определенными понятиями о значении государственности, полагаем, что мир не может быть устроен иначе, чем только по схеме «пастыри и паства», и, отвергая (на словах) господство и (на словах же) рабство, не удосуживаемся понять ту простую истину, что «пастыри и паства» (пусть не пугает вас это церковное вроде бы словосочетание, ибо оно один к одному проецируется на светскую жизнь) — это всего лишь перифраз с древнеегипетского «фараоны и рабы». Для фараонов естественным было владеть всем и вся, и они не делили обретенную ими собственность на личную и государственную; все, что пребывало под их монаршей дланью, — все, все принадлежало им; за двадцативековой постфараоновский период монопольное право фараонов на все, включая жизни личностей и народов, претерпело, вернее, не могло не претерпеть, ряд видимых, да, вроде бы видимых изменений, и параллельно с собственностью монархов, князей, дворян, родовитой и неродовитой элиты появилась так называемая государственная или, сказать иначе, общенародная собственность, которая, однако, продолжала управляться все теми же монархами (президентами, премьерами по нынешним временам), князьями, элитным и неэлитным (ростовщическим) дворянством; теперь, накануне третьего тысячелетия от Рождества Христова, вновь происходит решительный вроде бы пересмотр государственных (народных) и частных (монополистических) прав на базовые основы жизнеобеспечения, и правители, идя будто бы на уступки народу, народам, решительно (и в этом, как увидим дальше, есть свой умысел) отказываются от управления государственной, то есть якобы общенародной собственностью и передают эту собственность истинным, да, будто бы истинным ее владельцам. Кто-то воскликнет: «Наконец-то!» Кто-то усомнится: «Странно?..» — заподозрив обман, ибо за всю историю человечества кумиры-поводыри никогда не делали ничего спроста, тем более в ущерб себе и на благо народа. Скептицизм этот, думаю, не только оправдан, но точен; точен тем, что собственность, которой лишают себя правители, отдается не народу, а монополистам, ныне как никогда сообразовавшимся во всемирный олигархический клан, базовые средства для жизнеобеспечения опять, как и в фараоновские времена, сосредоточиваются в одних руках, и разница с «веком Богов» только в том, что фараоны одновременно были и собственниками всего, и правителями, тогда как в новейших условиях функции эти якобы поделены между банкирами-олигархами, которые вроде бы отстранены от власти, хотя как раз и обладают ею, и правителями, которые вроде бы восседают на тронах (в обобщенном значении, разумеется), а фактически всего лишь служат или, вернее, прислуживают олигархам, исполняя их волю. Народ снова, как и при фараонах, оказался отторженным от базовых средств жизнеобеспечения

(выборы — это блеф, ибо только толстосумы, способные выложить миллиарды на свою избирательную кампанию, могут пройти во власть), ему не на кого и не на что сегодня опереться (рабы без рабского ошейника, крепостные без крепостных списков, тягловый скот, впряженный в мировую повозку барства!), государство решительно отказалось кого-либо защищать (кроме олигархов, разумеется), но, спрашивается, кому и для чего нужна такая государственность и можно ли называть государственностью этот новоявленный фараоновский абсолютизм, который правит нами и стоит уже на пороге мирового господства?

LXXXII

История не располагает сведениями, откуда явились фараоны на нильской земле — этот плод классового расслоения; единственный вывод, какой можно сделать из отношений их к поработанному народу, — это что они были чужеродными, то есть пришлыми, сумевшими силой захватить незащищенный или, вернее, не умевший защитить себя (ведь идиллическая система бытия исключала или почти исключала воинственность) народ; у единокоренных, единоплеменных людей всегда есть чувство национального самосохранения, какого не было, как подтверждает историческая действительность, и не могло быть у фараонов, они безжалостно обратили подданных в рабов, лишив их человеческого достоинства и создав им каторжную жизнь не на десятилетие, не на столетие, а на сорок веков, плавно затем (вроде бы плавно) переведя в двадцативековое, то есть нескончаемое (хотя и завуалированное) рабство. Думаю, вряд ли можно еще чем-либо объяснить установившуюся в Древнем Египте систему господства и рабства, причем в абсолютистском значении этих понятий, как только престольным чужеродством; фараоны, видимо, были первыми, кто открыл самую возможность престольных чужеродств, и об этом говорит тот факт, что за все сорок веков своего правления на нильской земле они не сделали ни одного послабления народу, и с тем бездушием, с каким могут поступать только инородцы по отношению к поработанному человеку, покинули обглоданную и истощенную ими страну, чтобы угнездиться (ведь первый прецедент уже был!) своим престольным чужеродством на новых (обетованных, девственно-обетованных) землях среди других народов. Фараоновская державность, если рассматривать ее как единицу измерения человеческих (общественных) отношений, укоренившихся со времен классового расслоения, представляет собой разветвленное (в эпохальном пространстве развития) древо престольных чужеродств, и одной из главнейших закономерностей этого явления я бы назвал традиционный со дня первого исхода на обетованные земли и не прекращающийся и сегодня агрессивный экспансионизм; экспансия силовая, военная, экспансия экономическая, экспансия духовная — думаю, ни одна из них не могла бы принести долговременного успеха, если бы экспансии эти не завершались созданием престольных чужеродств, а потому второй главнейшей закономерностью фараоновской державности являлось и является насаждение престольных чужеродств. Утверждение это, возможно, кому-то покажется странным, но разве история «царств и царствований» сама по себе уже ничего не говорит нам? Если пойти только по крупным вехам, то вслед за Древним Египтом правомерно назвать античную Грецию, в которой с приходом олигархов к власти, то есть с момента формирования престольного чужеродства, коренной люд этой земли если и не был полностью обращен в рабов, то, во всяком случае, оказался в положении бесправных илотов, на которых афинские и пелопоннесские олигархи ходили забавы ради поохотиться как на зайцев; затем явился миру Рим в своем престольном (нобели, консулы, цезари) чужеродстве, загнавший в условия кабалы уже не один, а десятки народов, обитавших в бассейне Средиземноморья. Все европейские королевские дворы, включая и императорский дом Романовых, были и ос-

таются повязаны родством и любят возводить свои династические древа ко временам Рима, античной Греции, даже Египта; не знаю, насколько это соответствует действительности (по крайней мере доказательства весьма и весьма шаткие), но уже само стремление обозначить таким образом свои исторические корни, то есть положить на себя тень древней святости или мудрости, дабы оттенить свое изначальное превосходство над простым смертным людом,— уже одно стремление обозначить таким образом исторические корни, то есть божественно приподнять себя над толпой, исключает всякую возможность единоплеменства. По тем скудным сведениям, какие предоставляет нам история, можно предположить, что захват обетованных земель и порабощение населявших эти земли народов происходили по одному и тому же апробированному на древних египтянах сценарию, когда в устье Нила вошли на лодках военные люди, захватили власть (сначала мечом, то есть насилием, кровью, а затем словом, то есть вроде бы бескровно, подавлением духа и устрашениями некой божьей карой) и установили свой известный ныне всем нам абсолютистский режим господства и рабства; наверное, если бы такой режим устанавливался единокордцами, то есть национально-ориентированными правителями, то мировая история не имела бы такого примера жестокости и бездушия, какие проявили, став у власти, так называемые «великие фараоны»; но пример этот был дан, жестокость и бездушие к порабощенным были проявлены в таких величинах, в каких могли быть продиктованы лишь национальным антагонизмом, то есть престольным чужеродством, позволяющим смотреть на подданных и обращаться с ними как с рабочим (это в лучшем случае) скотом, который можно кормить, а можно, истощив до предела, свести на живодерню, так что мир, получивший вроде бы, как считается, от фараонов Египта цивилизацию и государственность, на самом деле получил лишь пример предельной жестокости и величайшего бездушия к порабощенным («век Богов!»), несчетно затем приумноженный постфараоновскими правителями всех эпох, рангов и направлений, включая и нынешних, научившихся или, вернее, наловчившихся с предельным правдоподобием прикрывать так называемой народностью (власть от выборщиков) свою антинародную сущность. Наверное, здесь следует сказать несколько слов об исторической памяти народов, на которую историки да и философы не очень любят ссылаться, относясь с большим доверием ко всевозможным летописным источникам, полагая, что источники эти сочинялись людьми беспристрастными, думавшими лишь о сохранении правды, а не об очередном тронно-поводырском услужении, как это происходило на самом деле и происходит сегодня на глазах вроде бы у просвещенного уже мира; конечно, любое летописное свидетельство — это беспорный документ той или иной эпохи, но, к сожалению, документ сей, если рассматривать его с позиций реализма, всегда несет на себе печать тронной заданности, и есть только один способ освободиться от поводырских искажений — это обратиться к исторической памяти народов, которая (опять же, как представляется мне) запечатлена не только, вернее, не столько в преданиях и легендах (трафарет известен, но он не аксиоматичен), сколько в закольцованности самих исторических деяний, отражающих, как в капле воды, весь предшествовавший нам мир человеческого развития, а если проще — сценарный свод всех когда-либо совершавшихся больших и малых поступков личностями, народами, государствами. История изобилует примерами, когда отдельные личности (главным образом поводырствующие особы) или народы, возбужденные этими личностями, вдруг спустя столетия, а то и тысячелетия (и вроде бы беспричинно) возвращаются на исторический круг деяний, и хотя явление это в науке принято называть «новой волной», но о какой новизне можно говорить, когда стержневая основа остается неизменной? Круг человеческих деяний, как подтверждают минувшая и текущая действительности, равен кругу исторической памяти, и если все же какое-то расширение происходит в нем, а оно, несомненно, происходит, то темпы это-

го расширения настолько мизерно-неуловимы, что они могут обнаруживать себя лишь спустя десятки или сотни тысячелетий. Сказанное, разумеется, требует подтверждений, но, чтобы найти их, думаю, не надо копаться в эпохах и перетряхивать их, ибо доказательства — они с нами, в нас, вокруг нас, и главными из них я бы назвал, с одной стороны, ностальгию по идиллическим временам, то есть тягу людей к справедливости, равенству, братству, которая хотя и представляется многим (в первую очередь холопствующей элите, любящей называть себя «мыслящей интеллигенцией») нереальной, несбыточной утопической мечтой, но, как увидим ниже, не все так просто с этой «мечтой», и не ровен час как раз она-то и может превратиться в реальность, и в общественных отношениях все вновь вернется на круги своя, а с другой — ностальгию по «веку Богов» (тоже вроде бы из области утопических грез), какой мучаются венценосцы, и которая, несмотря на очевидную абсурдность цели (господство и рабство в эпоху торжества демократии?!) и узколокальную заданность (удовлетворение тронных интересов), подвигает коронованных особ на захват мирового господства. И в первом, и во втором случаях помыслы и свершения всецело опираются на историческую память, запечатлевшую пик народного и пик поводырского благоденствия; и в том, и в другом случаях главной целью является достижение абсолютизма, то есть своего рода закольцованности, и если предположение это верно (в чем, впрочем, едва ли можно усомниться, вглядываясь в историю человечества, в которой все, что творилось и творится в русле рукотворных закономерностей, — все, все несет в себе стремление к логической завершенности) — да, если предположение верно, то у человечества есть шанс изменить к лучшему или к еще более худшему свое социальное и духовное бытие. В сущности же, если резюмировать сказанное, можно прийти к совершенно четкому выводу, что есть две ностальгические силы, базирующиеся на исторической памяти людей, два круга, равно устремленные к закольцованности: большой, обусловленный движением от идиллической жизни в отдельных людских сообществах — «славные Гипербореи» — к единой идиллической жизни всего человечества, и, хотя трудно сказать, чем обернется все это для простолюдинов, благом или новыми бедами, но, во всяком случае, у всех у нас остается надежда на будущее, и малый, обусловленный движением от «века Богов» на нильской земле к «веку Богов» с охватом всех континентов и народов, что приведет простолюдинские массы, и это очевидно уже теперь, в еще более беспросветный тупик. Но так или иначе, а круги должны будут замкнуться; эволюционным или революционным путем — это другой вопрос, и хватит ли у человечества терпения и выдержки, чтобы через мирные, разумные преобразования вернуться к естественной своей заданности в устройстве общественных отношений и общественного бытия, или, как по Библии, все обернется кровавым побоищем (возможно, что люди, пророчившие конец света в Священном Писании, были куда лучше нас осведомлены о разрушительной силе хищнического миропорядка) — да, трудно сказать, каким путем народы захотят вернуться к своей идиллической заданности, эволюционным или революционным, но так или иначе, а круги замкнутся, вернее, должны будут замкнуться: сначала малый, ибо ностальгическая сила, обуревающая венценосцев, заставляет их действовать быстро, решительно, нагло, и до финиша, до трона мирового господства им остается преодолеть всего лишь каких-нибудь два-три столетия, затем большой, который может всей своей огромной простолюдинской массой просто-напросто сжать и раздавить внутреннее кольцо, но, думаю, просто-напросто еще не созрело для подобных осмысленных действий. В чем тут причина, почему равнодействующие ностальгические силы столь неадекватно реализуются правителями и народами? Если бы человечество в своих деяниях, как полагают историки и философы, строго придерживалось обусловленных закономерностей (не важно, от каких они начал, естественных или рукотворных), то все в жизни было бы определенным, управляемым,

предсказуемым; но люди, как опять же полагают ученые мужи, чаще всего руководствуются не разумом, а эмоциями, ставя себя на грань риска и авантюризма, и никакая расплата за содеянное не останавливает их от новых и новых преступных безумств. Происходит ли это от невежества или от неоглашающей поводырской заданности, думаю, несложно установить, но в данном случае меня интересует другое — оправдательная версия, укорененная усилиями иерархов от знаний, что жизнь не просто движение, а свободный (творческий) выбор пути, и что если человечество лишит этого выбора (выходит, что и рабство есть составная часть «свободного выбора»), то жизнь людей потеряет интерес и замрет или, вернее, застagneвается в известной (природной) цикличной закольцованности (здесь я хотел бы обратить внимание на то, что параллельно с закольцованностью от рукотворных начал существует закольцованность от естественных, природных, и, более того, она первична); с такой трактовкой, наверное, можно было бы согласиться, если бы не одно весьма важное обстоятельство, которое указывает, что всякая повторяемость действий, на чем бы эти действия ни основывались, на разуме или эмоциях, — повторяемость действий всегда бывает сопряжена с определенной закономерностью.

LXXXIII

Конечно, изощрения в правдоподобиях мало что общего имеют с научными изысканиями, но, мне кажется, и в них есть нечто, что приподнимает их над выдумкой и сближает с реальной действительностью. Любой солдат, к примеру, или генерал, уходящие на войну, полагают, что убит будет кто-то, а не они, и если бы человек не утешался этим вполне понятным самообманом (думаю, каждый из нас испытал в молодости нечто подобное), то едва ли нашелся бы боец, который рискнул бы первым подняться из окопа; победы в сражениях добываются подобным бесстрашием, великие державные дела вершатся бесстрашием монархов, — так видится и так преподносится нам история, и масса простолоудиноу ничего не остается, как только с благоговением взирать на кумиров-поводырей, действующих вроде бы из стихийных соображений добра, а не в согласии с жестко разработанной тронной закономерностью. В таком толковании прожитых эпох и отшумевших явлений есть что-то, что вроде бы приближает нас к истине, но в то же время, если разобраться, запрограммированно, да, именно запрограммированно отторгает от нее, оправдывая лишь инстинкт низкопоклонства перед властителями; истина затмевается понятием парадокса и растворяется в этом понятии, превращаясь в ничто, словно ее нет и никогда не было, тогда как она была, есть, живет и обладает достаточно устойчивой закономерностью, которая, в свою очередь, подчинена определенной, разрушительной (от классового расслоения) цели — установлению мирового господства. Между тем среди людей издавна распространено мнение, что простому человеку, занятому добытием хлеба насущного, никогда не было дела до «царских разборок»; случайно или не случайно был брошен в народ этот оправдательный щит, но, прикрываясь им, простолоудины, в сущности, и сегодня самоотгораживаются от созидательных начал жизни, не задумываясь над тем, что именно от «царских разборок», от монарших замыслов и свершений, от социальных тенденций, какие устанавливаются из дворцов и оборачиваются для масс канонами нищеты и насилия («правила игры», как называют это нынешние политики), как раз и зависит все наше личное и общественное бытие. Потому и стараюсь писать не событийную историю, а историю сил, взаимодействовавших и продолжающих взаимодействовать на исторической арене жизни, их видимую и невидимую активность (древо власти), видимую и невидимую пассивность (древо народной жизни) и причинную связь, побуждающую одних (правителей) к активности, других (народ, народы) к пассивности, то есть обо всем том, о чем не любят говорить ни историки, ни философы (по известной осторожности), но что имеет строго осевое значение для всей нашей обручно загнанной под надзор рукотвор-

ных закономерностей жизни. У человечества нет свободного выбора, вернее, его не стало со времен классового расслоения; физическое и духовное наслаждение жизнью давно, основательно и необратимо, да, возможно, что уже необратимо, подменено страстью обретения, наживы, страстью насилия и подавления, силой «золотого тельца», привлекательностью власти и славы как вечной и неотделимой спутницы тронного значения, и все, что происходило и происходит с человечеством, даже близко не стояло с понятием «свобода выбора», а продиктовывалось и продиктовывается законами и порядками хищнического мироустройства. Если рассматривать историю человечества через призму хищничества, то есть через этот самоубийственный итог классового расслоения, а не через иллюзорные картины демократических устремлений, как предлагается официальной историографией, то многое из того, что представляется нам загадочным (в том числе и ностальгические проявления правителей и народов), может получить простое и ясное толкование. Ностальгия по «веку Богов» только потому, что сопряжена с хищничеством, то есть работает на хищнический миропорядок, а не противоречит и не противостоит ему, получает самый широкий простор для проявления; ностальгия по идиллической жизни именно потому, что противостоит хищничеству, лишена этой свободы проявления; истинная свобода здесь подменена так называемой свободой внутренней, когда в мыслях, то есть про себя, как говорят в народе, человек может совершать все, что считает нужным, пребывая при этом в бесправном, рабском состоянии; мир, начавший со времен пирамид (времен классового расслоения) наполняться физическим и духовным насилием, сегодня уже переполнен этими чудовищными явлениями античеловечности, и если народы (простолюдины) не подошли еще к черте всеобщего возмущения, то это может означать лишь одно: что механизм зомбирования масс, прошедший путь от шаманства и языческих верований до фундаменталистских религиозных учений и современных электронных и неэлектронных СМИ, — механизм зомбирования масс доведен до полного совершенства. У человечества, повторяю, нет свободного выбора в устройстве своего бытия; нет его ни у простолюдинов, пользующихся так называемой внутренней свободой (самая изошренная и самая высшая форма рабства), ни у правителей, ибо как только они отступят от продиктованных классовым расслоением законов хищнического бытия, они потеряют троны и власть, на что, естественно, ни один венценосец, «вкусивший от божественных благ», ни при каких обстоятельствах не сможет согласиться. Человечество, по сути дела, загнало себя в тупик, поделившись на властителей и простолюдинов; мы подчинены воле правителей, правители же — своду хищнических законов, на которых базируется царская, дворцовая (да и вся наша) жизнь. Так где же тот крайний, от которого зависит все, как от личности, должной творить добро, но творящей пока что зло и только зло? Крайнего нет. Тираны сменяются тиранами, и ни одна из попыток остановить зло путем избавления от тиранов с помощью восстаний, бунтов, революций или нюрнбергских процессов — ни одна из таких попыток не привела ни к чему. О чем это говорит? Это говорит о том, что миром правят не личности, а правит система, разработанная и укорененная на этапе становления хищнического мироустройства, и чтобы хоть что-то к лучшему изменить в этом мире господства и рабства, мире войн, грабежей, насилия и закабаления, нужно бороться не с личностями, а с системой, способной порождать зло и только зло и не способной ни на какое благоденствие. Абсолютизм власти и рабства — вот идеал, обладающий (со времен фараонов и для фараонов всех рангов новой и новейшей истории) неиссякаемо-притягательной силой, и этот-то идеал, снабженный или, вернее, прикрытый позолоченной скорлупой добропорядочных устремлений (понятиями «цивилизация», «культура», «государственность», «прогресс», «демократия», «права человека» при полном бесправии личности, противостоящих напору хищничества, и народов), — этот-то идеал, снабженный скорлупой добропорядочных устремлений, внедряется в сознание людей, гнет, ломает и опустошает их души, мечущиеся в поисках истинных ценностей и справедливых решений. Фараоны отобрали у народа — я повторяю это и готов повторять вновь

и вновь — все, что только можно было отобрать у него; они создали величайший прецедент власти для себя и бесправия для простолюднских масс, сосредоточив в своих царских руках все нити личного, семейного, общественного жизнеобеспечения, благозвучно назвав это свое социально-нравственное изобретение государственностью, то есть фактически преподнесли миру образец власти и бесправия, и вся постфараоновская история человечества, если посмотреть на нее в ее стержневой основе, — это повторяющийся единосценарный кровавый спектакль со смертным исходом для царей, королей, императоров, царств, империй и народов. Но смертный исход этот — торжество и крушение империй и опять торжество и крушение, торжество и крушение, — бессчетно подтверждавшийся всем ходом постфараоновской истории человечества, не страшил и не отпугивал ни правителей, ни народы, заразившиеся идеалами хищничества и увидевшие в хищническом мироустройстве свою хлебную ниву; они бились за эту свою «ниву» точно так же, как некогда крестьяне — за клочок принадлежавшей им земли, и если крестьяне проиграли эту историческую битву за право жить, вершить и созидать свое бытие (историческая обреченность сия, впрочем, вполне объяснима), то насильники, а иначе правителей не назовешь — из ранних ли, позднейших или современных, поменявших некогда устрашающие мечи на ядерные чемоданчики с кнопками от пусковых установок, — насильники, кормящиеся с убийств, грабежей, разорений сопредельных стран и народов, то есть запрограммированные на зло, как на великое деяние, способное приумножить богатство, славу и власть, не могли и не могут остановиться в своих свершениях. Поэты, художники, историки, философы поют славу кумирам-поводырям; величественные при жизни, они, то есть эти кумиры-поводыри, кажутся еще более величественными на пьедесталах и в иконостасах; но если, отбросив некую вроде бы божественную робость перед этими некогда могущественными властителями, сопоставить их названную славу с их историческими деяниями, то без труда можно заметить, что все они, блиставшие (каждый в свое время) умом, силой, полководческим гением или гением социальных переустройств, — все они, как звенья одной цепи, протянутой через века, только следовали (углубляли, совершенствовали, можно и так) установкам фараоновского хищнического мироустройства и не привнесли ничего, что могло бы хоть как-то нарушить (я не говорю уже — изменить) самоубийственную для человечества систему господства и рабства; они не просто шли по трупам народов и государств (самобытных культур и самобытных цивилизаций), но по трупам самими же созданных и разваленных империй, ни разу не удосужась оглянуться на кровавые вехи эпох.

LXXXIV

Историческая жизнь народов и правителей полна лукавства, ибо она была и остается поделенной на кулисную и закулисную; кулисная — это то, что должны видеть и во что верить люди (главным образом простолюдины), и закулисная — это то, что всегда составляло и составляет неоглашенную суть предпринимаемых деяний (разумеется, не народом или народами, а кумирами-поводырями, которые вовлекают народ, народы в свои «царские разборки»). Историческая жизнь народов и правителей в изложениях — летописных сводах, ученых трактатах, энциклопедических справочниках — заражена уже, можно сказать, вторичным лукавством, ибо предназначение писаной истории, как оно было сформулировано (гласно или негласно — это другой вопрос) основоположниками хищнической цивилизации, то есть фараонами Древнего Египта, — предназначение писаной истории состоит в том, чтобы скрывать и сглаживать впечатление от жизненного лукавства картинами так называемого научного (логического) измышления. Мы лукавим в том, что делаем, и еще более лукавим в том, как и что говорим о своем деле («мы» в данном случае нельзя воспринимать как единодушные правитель и народа, народов, тем более как выражение намерений и воли всего человечества, поскольку все, что происходило в исторической действительности, инициировалось властителями, и лучшим подтверждением этому могут служить пьедеста-

лы и иконостасы, а также наименования культур, цивилизаций, периодов и эпох). Человечество на протяжении всей своей истории открывало для себя мир, в котором живет; мы гордимся этими открытиями и открывателями, то есть первопроходцами, которые, рискуя жизнями, добивались до самых отдаленных уголков планеты, бороздя океаны, пересекая пустыни, горные хребты, ледниковые пространства Арктики и Антарктики, чтобы исследовать их и составить географическую (по меньшей мере) карту Земли; конечно, честь и хвала первопроходцам за совершенные ими научные подвиги, они сделали то, что достойно славы, но — мы лукавим перед собой и перед историей, затмевая этой кулисной оценкой закулисную часть предпринимавшихся усилий, ибо за каждым таким открытием, да, за каждым, и об этом говорит вся наша история (история распространения и навязывания хищнического — от древнеегипетского первородства — мироустройства, благозвучно, как уже отмечалось выше, названного цивилизацией), следовали военные, экономические и духовные экспансии и, как правило, в результате этих экспансий страдали коренные народы «открываемых» земель; народы эти либо полностью истреблялись (к примеру, кельты в Западной Европе, индейцы в Северной и Южной Америке), либо обращались в рабство (народы африканского континента), то есть фактически обрекались на истощение (физическое и духовное) и вымирание. Ученые мужи разных поколений пытались и пытаются доказать, угождая перед венценосцами, что вслед за великими географическими открытиями на земли аборигенов проникала великая культура великой цивилизации; по мнению этих осветителей истории человечество таким образом ускоренными темпами приобщалось к достижениям прогресса, отсталые народы поднимались в своем политическом, экономическом и духовном развитии до уровня так называемой «достойной человека» жизни, тогда как в действительности ничего этого не происходило и не происходит, аборигены (они и по сей день остаются аборигенами), то есть второсортными, третьесортными в нынешнем значении этого слова) закабалались, а их земли, их страны становились сырьевым придатком (и это в лучшем случае) того самого прогресса, именем которого и на средства которого совершались и продолжают совершаться все эти так называемые научные (экспансионистские) вылазки. Я не против науки, не против исследований и открытий, но давайте не будем лукавить; если бы «цивилизованные», назовем их так, народы действительно хотели бы помочь «отсталым» народам, то, явившись в чужой мир, не стали бы безжалостно рушить, разорять и изничтожать его; но они это делали, жестко, целеустремленно, целенаправленно расчищая для себя пространство для жизни, и если сей кровавый вандализм все еще кому-то хочется именовать процессом «великого приобщения народов к величайшим ценностям человечества», то такой человек — историк, философ или рядовой гражданин — подобен добровольному слепцу, который предпочитает, видя, не видеть, слыша, не слышать, чтобы только не разрушать обретенную для себя материальную и духовную скорлупу жизни. Экспансионизм во всех трех своих главнейших проявлениях — военный, экономический, духовный — составляет, по сути, стержневую основу всей двадцативековой постфараоновской истории; экспансионизм, то есть завоевания и порабощения, происходил (со времен фараонов) по одному и тому же сценарию: движение первопроходцев (как правило, они снаряжаются и субсидируются, как мы бы сказали сегодня, от тронных и околотронных особ), движение армий и, как венец делу, учреждение или, вернее, укоренение на захваченных территориях среди порабощенных народов престольных чужеродств. Фараоны, поработившие Древний Египет, не случайно называли себя пришельцами — «детьми Неба», «детьми Солнца»; им надо было облагородить экспансионизм, то есть оправдать в восприятии людских масс совершенное над этими же массами насилие (как видим, и в этом плане, в плане обмена, в плане исторических подтасовок и сочинении божественно-правдоподобных небылиц, именуемых ныне мифами, легендами и преданиями, они были первыми или, точнее, первопроходцами на хищнической стезе человечества), и, возможно, максимализм или абсолютизм, к которому стремились во всем, позволил им и здесь найти самое совершенное, не утратившее значения и поныне, как показы-

вает действительность, «оправдание». Итогом их экспансионизма, а таковой был, это неоспоримо, ибо в самой легенде о пришельцах заложено требуемое подтверждение,— итогом их экспансионизма как раз и явилось престольное чужеродство, которое, начав с сорокавекового господства на нильской земле, распространилось затем по всему девственному лику Земли. Фараоны не просто заложили основы государственности как формы общественного бытия, о чем нам говорят и во что заставляют верить, но государственности как узаконенной системы господства и рабства с безоговорочным верховенством престольных чужеродств как механизма угнетения и порабощения масс, и жестокость и бездушные в этом механизме власти определялись, как, впрочем, определяются и сегодня, степенью национальной обособленности, а проще, чужеземством тронных особ по отношению к закабаленному ими люду; они видели в своих подданных не собратьев по жизни, а чуждых по духу и историческим корням человеческих особей, которых если не держать в рабстве, то есть в нищете и бесправии, то они могут пробудиться и заявить о своем достоинстве. В сущности, это была политическая доктрина господства, выработанная фараонами, а потому и государственность, созданная ими, в полной мере соответствовала этой политической доктрине. Но откуда все-таки явились фараоны на нильской земле? В древнеегипетской истории на этот счет существуют две ничем, впрочем, не подтвержденные и не объясненные версии, на которые обычно любят ссылаться ученые мужи (разумеется, в зависимости от того, что берутся доказать или опровергнуть); в первом случае утверждается, что фараоны возникли в недрах самого древнеегипетского народа в результате распада родовых и племенных отношений, зарождения частной собственности и стремления собственников к безудержному обретению богатств, славы, власти, то есть приводится весь тот трафаретно-логический ряд убеждений, который легко приложим (да и прикладывается!) к любому народу и которым, минуя или, вернее, не затрагивая истинных причин и истинных закономерностей, определявших ход жизни, можно столь же легко, просто и одномерно объяснить даже самые судьбоносно-разрушительные события; во втором случае, в случае с пришельцами, хотя у историков и философов на этот счет и вовсе нет никаких доказательств (разве что поработительское отношение к народу, говорящее о чужеродстве),— во втором случае срабатывает так называемый «божественный трафарет», и хотя он еще менее похож на правду, чем первый, но уже то, что версия эта существует и что ей придается (в той или иной степени) определенное значение, позволяет предположить (согласно поговорке, что «дыма без огня не бывает»), что «пришествие» все же имело место, но не внеземных посланцев, не детей Неба и Солнца, а обычных завоевателей, с мечом явившихся на нильскую землю и поработивших ее. Возможно, сведения об этой первой задуманной и осуществленной глобальной, да, по тем временам глобальной, экспансии таятся в каких-либо строго засекреченных (разумеется, по известной причине) древних писаниях, которые были и остаются доступными только посвященным (даже в среде того народа, в котором зародилась и созрела идея экспансионистских действий); возможно, «мудрость жизни», оберегаемая от оглашения, вовсе не является таковой (по крайней мере в том понимании, в каком воспринимает ее народ), а служила и служит пособием для захвата господства и установления режима рабства (на завоеванных территориях, а иначе с чего бы прятать ее от людей?); возможно также, что в этих древнейших сводах как раз и таится загадка фараонов; в конце концов ведь история человечества — это история беспрерывных больших и малых экспансионистских вылазок, история захватов, подавлений, насилия и закабаления, происходивших и происходящих по одному и тому же сценарию, по которому осуществлялись захват и порабощение древних египтян, и тут невольно возникает мысль, что если бы мир точно знал, с каких действий открывалась «заря человечества» и какое «дитя» выныривалось в «колыбели цивилизации», то, думаю, мы имели бы сегодня не только иное представление о ходе развития человечества, но и совсем иную историю, которую не нужно было бы ни обелять, ни приукрашивать серпантинном понятием из азбучного словаря фараоновского обмана.

LXXXV

Конечно, история человечества не заключена ни в четырех, как о том в свое время поведал миру блаженный Августин, ни в пяти, ни в шести, ни в семи (по новейшим подсчетам) империях, которые, словно некая концентрация духовного и силового настоя, я бы так обозначил это явление, перетекая из оболочки в оболочку, одаривали тот или иной народ или народы венком «исторического величия», ложившегося бременем (прижизненным и посмертным) на простолудинов; кроме этих колоссов власти, одновременно соперничавших друг с другом и самопожиривших себя, поднимались и увядали, перетекая из оболочки в оболочку, бесчисленные царства-краткожителю («История царств и царствований»), краткожителю-королевства, княжества, герцогства, ханства, города-полисы, которые, несмотря на кажущуюся разновидность (не в системах, а в наименованиях), имели не только общую между собой основу, заключавшуюся в формуле господства и рабства, но и общую с империями-гигантами заданность развития. Мир человеческого существования, как ни странно прозвучит это, удивительно однообразен в устройстве общественных отношений и общественного бытия; в это, я понимаю, трудно поверить, ибо мы привыкли полагать, что движемся к «прогрессу и процветанию» и развитие наук, искусств, технические достижения служили и продолжают служить вроде бы прямым подтверждением этого оптического (по мягкой оценке) обмана; мы смотрим поверх голов на горизонт, к которому устремлены в движении, но горизонт этот, то есть цель, выраженная в достижении общего благоденствия,— цель и сегодня столь же отстоит от нас, как она отстояла от народа, народов во времена фараонов и затем во все сто двадцать веков постфараоновского периода, ибо с тех пор человечество ни на шаг не продвинулось вперед в устройстве общественных отношений и общественного бытия, а только перетасовывало, образно говоря, одну и ту же колоду карт, поданную фараонами на политический стол жизни, подбирая каждый раз из тузов, шестерок, королей и девяток тот нужный диктаторский (в оболочке монархий или оболочке республик) вариант, который, не неся в себе никакой новизны, мог бы казаться новым и соответствующим «духу времени», «духу эпохи». Все, что происходит с нами сегодня в рамках «цивилизации» с продолжающимся пыльным, но тщательным завуалированным рабством и в рамках государственности, противопоставившей (в надежде, что никто ничего не поймет и клюнет на очередную наживку) права человека правам народа, народов,— все это корнями восходит к фараоновской державности, к трем ее главенствующим слагаемым, на которых возводились, стояли и продолжают стоять как монархические с их внешней модификацией, так и республиканские (олигархические), столь же не отстающие вроде бы в разнообразии троны; методы и приемы, какие применяются нынешними властителями по отношению к поработанным массам, ничем или почти ничем не отличаются (разве что показной цивилизованностью) от тех, какие были впервые, как показывает история, апробированы на древних египтянах; фараоны, с мечом пришедшие на нильскую землю и установившие там свое господство, создали, по существу, прецедент престольного чужеродства со всеми вытекающими из этого чужеродства последствиями, и прецедент этот, увенчавшийся «веком богов» (пусть хотя бы и на промежуточном этапе), как раз и опрокинулся затем (зеркально опрокинулся) на всю постфараоновскую историю человечества. Мы полагаем, что знаем историю античной Греции. Но, если разобраться, знаем не больше, чем историю фараоновского Египта (я говорю об уровне просвещения масс, а не об уровне просвещения избранных, тем более посвященных, которые, впрочем, служа тронам, не очень-то спешат поделиться своими знаниями с простым людом). Античная Греция, как и Древний Египет, преподносится нам лишь в том фасадно-дворцовом варианте, в каком они могут вызывать только удивление и восторг достижениями наук, искусств, культуры, зодчества и впечатление некоей утраченной будто бы теперь мудрости правителей, работавших на процветание своих держав; пораженные роскошью гробниц, изяществом украшений, монументальностью дворцов и каменных пирамид, мы впадаем в заблуждение и, проникаясь ложной носталь-

гией (ностальгией по недостигаемой для простолюдинов дворцовой жизни, преподносимой нам в качестве общежитейского образца), готовы вновь и вновь поклоняться нашему «великому» прошлому, не случайно же, конечно, названному «зарей человечества», «колыбелью цивилизации». Больно или невольно (скорее всего заданно), но за пределами нашего внимания остаются все социальные тяготы тогдашнего бытия; они, эти тяготы, как и неувядаемая роскошь дворцов, ныне перешагнувшая черту самого изощренного воображения, явились к нам из тех времен и продолжают держать в тех же тисках нищеты и несправия, в каких фараоны держали поработанных египтян; возможно, я преувеличиваю, возможно, в нас что-то все же пробуждается и мы начинаем ощущать под ногой соединительный мостик эпох, но мостик этот так хрупок, а ложная ностальгия, порожденная рекламно поданной дворцовой роскошью, настолько сильна, что она не позволяет ступить на стезю истины. Да, мы вроде бы знаем и историю Древнего Египта, и историю античной Греции и всех следовавших за ними империй, царств, королевств, республик; мы более чем догадываемся, что все они развивались и продолжают развиваться по одному сценарию, то есть в русле одной закономерности, но каждый раз, когда дело доходит до сути этой закономерности, которая не так уж и нераспознаваема, как представляется на первый взгляд, ученые мужи только описывают круги вокруг этой сути и не затрагивают ее. А суть проста, повторяю, предельно проста и заключена в одной-единственной формуле, скоординированной в престольном чужеродстве на базе господства и рабства. Чтобы убедиться в этом, давайте обратимся к фактам. Ученые мужи от исторической и философской наук считают, что на смену пришедшей в упадок древнеегипетской цивилизации («век Богов») явилась греческая, давшая миру образец демократического устройства (что трактуется, естественно, как шаг вперед в становлении и развитии общественных отношений и общественного бытия), а на смену греческой (античной) явилась римская, положившая начало или, вернее, ставшая стеновым хребтом всего следовавшего за ней, то есть современного, миропорядка. Если судить по внешним признакам этих «цивилизаций», то они, конечно же, отличаются друг от друга прежде всего содержанием дворцовой жизни, объемом власти, достижениями в области точных наук, работавших и продолжающих работать на усиление могущественного потенциала правителей, достижениями в сфере духовных проявлений, то есть, обобщенно говоря, в сфере культуры, призванной еще фараонами Древнего Египта улаживать и обслуживать троны и тронных особ, тогда как положение народов оставалось неизменным (что, впрочем, никогда не бралось и не берется учеными мужами в расчет), но если обратиться к стержневой основе этих поименованных цивилизаций, то без труда можно заметить, что все они возводились, как, впрочем, и продолжают возводиться (я имею в виду Соединенные Штаты Америки, принявшие на себя роль силового, экономического и духовного жандарма с охватом всех народов и всех континентов) на одной и той же фараоновской основе господства и рабства с сетью укороенных повсюду престольных чужеродств. Да, мы не знаем, как уже говорилось выше, откуда взялись фараоны на нильской земле, но, объявив себя вземными пришельцами, они, по существу, сами приоткрыли тайну своего чужеродства, и жестокость, с какой правили страной, обратив завоеванный народ в рабов, только подтверждает выдвигаемую здесь закономерность; правители античной Греции (в ней властвовали цари, затем олигархи, установившие для себя демократию, а для народа — все то же неизменное рабство) вроде бы не именовали себя впрямую ни детьми Неба, ни детьми Солнца, то есть не причисляли себя к пришельцам, спустившимся с Олимпа, хотя и не отказывали себе в родстве с этими вымышленными богами, но по отношению к народу, которым управляли, были все теми же фараонами, не испытывавшими ни жалости, ни сочувствия, ни пощады к трудившемуся на них люду, названному ими илотами (позднее, в Риме, подобный простой люд был назван плебеями, а в России — смердами), да, теми же фараонами, не стеснявшимися себя ни государственным насилием, ни государственным рэкетиризмом, и не случайно именно история античной Греции отмечена самыми много-

численными и значительными народными волнениями и бунтами. О чем говорят нам эти исторические факты? Только о том, что правители античной Греции (и цари, и олигархи) были чужеродцами по отношению к народу, над которым осуществляли свою власть. Они не могли ввести прямое и поголовное рабство, как это сделали фараоны на нильской земле, но по установленному режиму жизни или, вернее, режиму власти (на что указывал еще Аристотель) как две капли воды напоминали фараонов — и по силовому, духовному и экономическому подавлению подвластных народов, и по стремлению к абсолютному господству, абсолютному рабству (в обновленном, разумеется, варианте), да и по комплексу всех мер, направленных на достижение мирового (что им во многом и удалось в пределах средиземноморского бассейна) диктата.

LXXXVI

Южная часть Балканского полуострова, то есть территория будущей античной Греции, именуемой ныне «колыбелью западной культуры» (по аналогии с «колыбелью цивилизации»), с незапамятных времен была заселена людьми, жившими подобно древним египтянам первозданно-самобытной жизнью, эволюционируя в рамках этой своей идиллической («славные Гипербореи») самобытности, и мы не знаем, в каких веках и кем была положена та страшная разделительная черта, которая оторгла их от их естественного благоденствия и ввергла в пучину хищнических отношений, поставив на стезю войн, раздоров, грабежей, насилия и порабощения. Есть в исторической науке версии и предположения относительно этих произошедших кардинальных перемен, основанные, как правило, на эволюционной теории, согласно которой все, что творилось и творится с человечеством, исходит будто бы из насущных потребностей общественного бытия и является выражением воли народа, народов. В предыдущих главах я уже говорил, насколько объективна и насколько необъективна, ошибочна такая трактовка, ибо человеческое бытие в отличие от бытия природы развивается по двум закономерностям — естественной и рукотворной, и то, что эволюционирует в условиях естественной закономерности, несопоставимо и несовместимо с тем, что эволюционирует в условиях так называемой поводырской предначертанности. Древний Египет был захвачен и поработан фараонами, можно сказать, одномоментно (два, три столетия на фоне сорокавекового господства), тогда как порабощение народов Балканского полуострова (в том числе фракийских и пелопоннесских славян) происходило иным путем, путем ползучего, я бы так назвал его, проникновения идеологически нащипованного фараоновской державностью чужеродства; первыми вестниками этой «глобальной чумы» надвигавшихся тысячелетий были не столько люди военные, сколько торговые, которые коварством, обманом, лестью, посулами обрели власть, возводили торговые города (города-государства) и ставили под свою зависимость все в округе не подготовленное к такому повороту судьбы сельское население. Но откуда являлись эти непрошенные негодяи? Исходя из тогдашних обстоятельств можно предположить лишь одно, что это были люди из могущественного Египта, где в полной мере уже царили господство и рабство, то есть тот режим власти и бесправия, доведенный до абсолютизма в своих запрограммированных значениях, какой и сегодня способен у многих возбуждать воображение роскошью и барством дворцовой жизни; да, издали, со стороны, сильная власть всегда производила впечатление, тогда как те, кто находился под гнетом этой сильной власти, испытывали совсем иные чувства и искали способы избавиться от нее; думаю, Древний Египет не был в данном случае исключением, и одной из реальных возможностей освободиться от уз фараоновского режима являлась экспансионистская политика правителей (речь идет не о рабах, не о закабаленном простом люде, но о придворной элите, которая, тяготясь властью над собой, желала в то же время обрести ее для себя и, зараженная фараоновским безумством, вольно или невольно разносила это безумство по всему восточному, северному и южному Присредиземноморью). Одни приходили с

войсками и затем оседали на чужих землях среди чужеродных народов, другие приплывали под видом торговых людей и укоренялись там, куда приплывали, представляя перед наивным, добронравным и доверчивым людом некими ангелами с небес, знатоками жизни, и, обозначив таким образом свое превосходство, или преимущество, можно и так, обретали право повелевать. Историки и философы, обращаясь к явлению неготианства, говорят, что оно сослужило неоценимую службу в распространении цивилизации, поэтапно продвигаясь от берегов Нила через десятки столетий к берегам Потомака. В плане общего взгляда на историю, думаю, ученые правы, поскольку названная цивилизация распространялась и продолжает распространяться не столько силовым способом, сколько способом ползучего проникновения, но если задаться вопросом, что приносила и приносит эта цивилизация народам, то тут ответ однозначен: войны, нищета, горе, порабощение, насильственную смерть. Меня могут упрекнуть, что я осуждаю неготианство, то есть являюсь противником экономического, а заодно и политического и духовного общения. Хочу заверить: это не так, я не против неготианства как такового, но против тайных умыслов, коими, как показывает историческая и текущая действительность, сопровождается это ползучее проникновение в самобытность других народов и неизменно, да, именно неизменно завершается либо порабощением, как это случилось с древними египтянами, либо полным уничтожением, если взять, к примеру, кельтов, которых римляне буквально смели с лица земли, или индейцев Северной и Южной Америки, превращенных в прах пришельцами с европейского «просвещенного» Запада, которым, как видно, не давали покоя лавры римлян. Мы привыкли полагать, вернее, нам столетиями внушали, что историю творят великие личности (потому-то и всемирная история, и истории национальные сочинялись и сочиняются по шаблону событийных хроник), тогда как мир управляется не личностями, а закономерностями, во власти которых, как бы странно ни прозвучало это, пребывают и поводыри, питающиеся соками от древа власти, и народы, вверяющие свои судьбы (по неподготовленности, доверчивости и глубочайшему историческому невежеству) в руки самопровозглашенных владык, и, чтобы понять рукотворную суть человеческого бытия, следует как минимум обратиться к истокам сил, которые, начав действовать (с момента классового расслоения) на арене веков, не стареют, то есть не только не подвергаются тлену времен, но, напротив, приумножаясь в своей значимости, ввергают людские сообщества в черную дыру самоистребления. Вся история нынешней драматической цивилизации, охватившей мир, имеет только одну первородную основу — Древний Египет; отсюда она была перенесена в античную Грецию, из Греции в Рим, из Рима в европейские королевские дворы, обозначившись в истории короной английской (владычица морей), короной французской, короной австрийской, коронами испанской и португальской, а от них к Соединенным Штатам Америки, этому современному Риму, распростершему свое диктаторское влияние на все моря и континенты планеты. Разумеется, я обозначил только крупные вехи, по которым, имея толику воображения, нетрудно представить весь главный стрежень этого исторического процесса, приведшего к полному, да, можно сказать, почти полному торжеству заданного фараонами хищнического мироустройства, и если обратиться к закономерностям этого процесса, то можно обнаружить, что закономерности эти легко укладываются в одну двуединую формулу работительства — методом силового воздействия (изначальный древнеегипетский вариант) и методом или, вернее, способом ползучего проникновения (вариант древнегреческий, усиленный теперь удушающим экономическим захватом). Ведь античная Греция в противоположность Древнему Царству (так именовался Древний Египет уже в эпоху Аристотеля) начиналась как великая держава именно с возникновения городов-государств, политический, экономический и духовный уклад жизни которых почти зеркально (только в уменьшенном масштабе) повторял уклад жизни фараоновского Египта: и по роскоши дворцов, храмов, всякого рода святилищ, и по нищете хижинной жизни в абсолютистском значении этих величин, и такое совпадение едва ли можно отнести к разряду случайностей; те,

кто основывал греческие города-государства, а затем не раз и не два захватывал и перезахватывал их, были более чем осведомлены об укладе жизни фараоновского Египта, были выходцами (или выкормышами) господствовавшего на нильской земле тоталитарно-диктаторского — «век Богов» — режима, и, растекаясь по землям присредиземноморского бассейна (в поисках новых для себя обетованных территорий), как раз и закладывали династическую основу престольных чужеродств. Я допускаю, что можно усомниться в правомерности такого суждения, но давайте обратимся к реальной исторической действительности. Да, греческая история (греческая цивилизация) начиналась с возведения городов-государств, которые представляли собой уменьшенные копии могущественного Египта; единое население балканского присредиземноморья было поделено на анклав, и эти анклав, управляемые заряженными на власть пришлыми правителями, почти тотчас, памятуя об экспансионистской политике египетских фараонов, начинают длительную, почти нескончаемую между собой борьбу за господство; единый народ, тысячелетиями живший в мире и согласии (даже нынешние греки разве не испытывают ностальгию по идиллическому бытию, разве убита в них тленная память по утраченному благоденствию?), оказался расколотым и загнанным в рамки враждебных друг другу общественных образований; мини-Египты (в предыдущих главах я уже обращался к этому термину), возглавляемые выходцами из Египта, не могли действовать иначе, как только по усвоенному ими образцу фараоновской державности; стремясь приумножить богатство и власть (ведь античная Греция столь же славна дворцовыми и культовыми развалинами, как и Древний Египет), они обрекали на бесправие и нищету простолюдинов, а чтобы отвести от себя ропот и возмущение масс, указывали на козни соседей. Так вспыхивали между городами-государствами братоубийственные войны, приносившие славу и бесславие правителям и разрушения и нищету (независимо от поражения или побед) народам; простой люд, возбуждаемый образом врага, шел биться и умирать, казалось бы, за правое (народное) дело, тогда как бился и погибал, в сущности, за богатство и роскошь дворцовой жизни, за устойчивость тронов, которые хотя и не были фараоновскими, то есть не достигали манящей — «век Богов» — абсолютистской значимости, но сыграли, можно с уверенностью сказать, важнейшую связующую роль в переходный от фараоновского к постфараоновскому периоду развития человечества. История Греции — это мини-история развития всех людских сообществ, возросшая на фундаменталистской основе фараоновской хищнической державности; греческие города-полисы не просто скопировали фараоновскую систему господства и рабства, но, европеизировав (лучшего определения не подобрать) все главные атрибуты как дворцовой, так и рабской жизни, преподнесли их затем миру в виде Великой (VII—V века до новой эры) греческой империи, представлявшей собой союз городов-государств и распространявшей свои границы от берегов Крыма, то есть черноморских, до восточного побережья нынешней Испании, а затем, после 510 года (до новой эры), когда, освободившись от единого господства, города-государства вновь обрели хотя и неустойчивую, но все же самостоятельность, мир был «осчастливлен» образцом некой «великой» греческой демократии.

LXXXVII

Об имперском периоде древнегреческой истории известно немного; период этот как-то вроде бы сам собой выпадает из общего контекста, как только речь заходит об античной Греции, и на передний план выдвигается период некоего будто бы демократического развития, хотя демократия по-афински (ее неправомерно распространять на всю Грецию) носила сугубо элитарный характер, то есть была дворцовой, олигархической, тогда как простой люд, делившийся на собственнорабов, которых можно было покупать и продавать на невольничьем рынке в тех же Афинах (как, впрочем, и в других греческих городах-государствах), и рабов закамуфлированных, илотов, отличавшихся от клейменных лишь тем, что они не носили ошейников, — простой люд, составлявший основу горо-

дов-государств, а в период единого господства основу империи, был полностью лишен хоть каких-либо гражданских прав. Такое рабство, я бы назвал его безосейным или неклеимым, как раз и позволило историкам и философам утверждать, будто в устройстве общественных отношений и общественного бытия древние греки (хотя, повторяю, от простолюдинов никогда и ничто не зависело) сделали значительный шаг вперед в сравнении с древними египтянами. Заметим, что ограниченная афинская демократия, вернее, демократия, ограниченная рамками Афин, сопоставляется напрямую с режимом фараоновского единого господства, и на основе этого сопоставления делается прямо-таки сенсационный вывод о непреходящем значении социальной прозорливости античных греков. Не знаю, насколько научен или ошибочен такой подход в освещении далеко не простого исторического процесса, или мы сталкиваемся здесь с глубоко продуманным и целенаправленным (от потребностей тронов) действием, но в очередной раз предлагаю обратиться к реальной действительности. Еще со времен Возрождения, то есть с тех самых времен, когда афинская демократия была провозглашена «великим достоянием народов», она как бы самопроизвольно обрела статус надежно действующего (надежно срабатывающего) запасного варианта в критических ситуациях власти; из анналов истории достается этот запасной вариант, и мир, податливый на обман, бросается в объятия провозглашенных миражных свобод и послаблений (ниже мы еще поговорим об этой миражности), а когда спустя десятилетия или столетия к простолюдинским массам приходит прозрение, люди вдруг с удивлением и ужасом обнаруживают, что они пребывают в том же бесправии, в каком пребывали при фараонах, и что желанное благоденствие остается столь же недоступным для них, как и в предшествовавшие века, овеванные иконостасно-пьедестальной славой поводырских особ. Но что все-таки вынуждает ученых мужей при изучении греческой истории сопоставлять афинскую демократию с древнеегипетским («век Богов»), а не с древнегреческим (Великая империя греков) единого господством? Возможно, то, что между Древним Египтом, основанным на господстве и рабстве, и греческой империей, возводившейся на той же основе, не имелось, о чем уже говорилось выше, различий не только по стержневой заданности, но и во всей управленческой сфере государственного устройства; и хотя никто из историков (кроме Аристотеля) прямо не говорит об этом, но своим вниманием к Древнему Египту (как-никак, а «век Богов») и невниманием к имперскому периоду древнегреческой истории (нужно ли обращаться к копии, когда есть оригинал?) они лишь вольно или невольно подтверждали единородство двух — древнеегипетской и древнегреческой — систем (дитя от матери, плод от дерева) общественного бытия. А между тем историческая истина гласит, и она доказана всеми перипетиями времен, что Древний Египет со своим хищническим мироустройством является прародителем не только всех когда-либо возникавших в постфараоновский период царств и империй, но и всех иных, выраставших из царств и империй государственных образований, какими бы титульными понятиями они ни нарекались — хоть в связке монархических, хоть в связке олигархических (более известных под грифом республик) систем; с точки зрения тронной преемственности такая реальность вполне устраивала властных особ, и они, как это ясно просматривается с отдаления веков, без особых усилий и тем более без потерь переходили от одной, монархической, системы к другой, республиканской, олигархической, зная наперед, что ничего не потеряют из властно-дворцовых обретений, тогда как в народе подобная преемственность, мало сказать, не одобрялась, она вызывала бунты и возмущения, и, чтобы примирить простой люд с бесправным существованием, как раз и был разработан и пущен в обиход механизм обманных (миражных) посулов. Когда есть заказчик, исполнители всегда найдутся; кризис власти (кризис системы), какой рано или поздно, но неизбежно поражает империи, царства, королевства, республики, уже на раннем своем этапе ставил правителей перед необходимостью проведения либо политических, либо социальных (в большинстве случаев они взаимосвязаны) реформ; но осуществлять истинные реформы, когда бы затрагивалась стержневая основа заложенной фараонами

системы господства и рабства, они не могли, ибо такие перемены подорвали бы самую жизненную основу тронов, и единственно, что могло бы устроить их, это обновление для видимости, то есть бутафорское, когда бы простой люд поверил в искренность намерений правителей, а сами правители были бы удовлетворены сохранностью своих тронных завоеваний. Думаю, неважно, в какой форме и кем из коронованных особ было сформулировано это пожелание (историческая наука не располагает такими источниками), но реальный ход развития событий, связанных с хамелеонной приспособляемостью властителей, ясно говорит нам, что правителями был дан, а учеными мужами, всегда готовыми на царские (президентские, премьерские по нынешним временам) услуги, был выполнен этот социальный заказ тронов. Более того, иерархи от исторических и философских знаний оказались столь виртуозными в перелицовке одряхлевших политических, экономических, духовных одежд хищнического мироустройства, что не только современникам, но и последующим поколениям далеко не сразу удавалось распознать в проведенных переменах закабалительные корни минувших эпох. Не затрагивая базовой основы фараоновской державности, ученые мужи предлагали в качестве движения некую круговую, если образно сказать, форму вращения, обходя то с одной, то с другой стороны стержневую основу фараоновской державности (то по часовой стрелке, когда, скажем, требовалось восстановить монархию, то против часовой, когда обстоятельства вынуждали провозгласить видимость демократических свобод или послаблений), и от такой «новизны», окольцованной нимбом «научных» расчетов и заверений, создавалось впечатление, словно и в самом деле осуществляются кардинальные перемены в общественных отношениях и общественном бытии, так что если фараоны Египта открыли миру абсолютные величины господства и рабства, то есть преподнесли образец державности, до сих пор поражающий нас как роскошью дворцов, так и нищетой и беспорядком хижин (они, в сущности, заложили основы бессмертия власти), то правители античной Греции, а точнее, олигархические силы Афин, решившие учредить у себя так называемое демократическое устройство, всего лишь, если посмотреть в корень явления, пополнили фараоновскую державность вариантом полигосподства, когда при сохранении всех заложенных властителями Египта основ хищнического (тоталитарного, диктаторского) мироустройства реальная суть происходящего оказалась подмененной или заслоненной ширмой миражного благоденствия. Древние греки (скорее афинские греки или афинские олигархи, если, конечно, есть такая нация) сделали не шаг вперед в упорядочении общественных отношений и организации общественного бытия, а всего лишь предложили свою схему фараоновской державности, которая хотя и не была в должной мере воспринята и оценена тогдашним мировым сообществом (чуть позже греческий демократизм точно так же угас в Риме, как он угас в Афинах, и на всем восьмидесятивековом постфараоновском пространстве надолго воцарился монархизм, достигший пика своего развития в период мрачного средневековья), но, начиная с эпохи Возрождения, когда очередной кризис власти (кризис системы) вновь поставил правителей перед необходимостью кардинальных перемен, человечество не нашло ничего лучшего, как уже отмечалось выше, чем ступить на проторенную (историки и философы говорят, что стихийно, от насущных потребностей масс, тогда как реальная действительность подсказывает, что целенаправленно, насильственно) стезю афинского варианта фараоновской державности, стезю олигархического демократизма. Кредо фараоновской власти — божественное происхождение и династическая преемственность (в этой же формуле заключена и суть монархизма); греческий (афинский, олигархический) демократизм как выражение все той же власти предлагает некую будто бы выборность правителей и вроде бы исключает династическую преемственность, хотя, если как следует вникнуть в суть этих очевидных будто бы разногласий, то нетрудно обнаружить скорее единородство между этими вышеназванными системами власти, чем различие. Во-первых, выборность не означает, что во власть может прийти человек из народа; в Афинах право избирать имели только состоятельные (они же и свободные) граждане го-

рода, а если точнее, правители избирались олигархами и из олигархов, и, думаю, нет нужды пояснять, какие законы и во благо каких слоев общества могли приниматься этими будто бы избранными от народа олигархическими поводырями; демократизм уже по сути своего замысла не подменял и не подрывал стержневых основ власти, а предполагал лишь смену поводырских особ, тогда как святость тронов (в данном случае я придаю этому понятию нарицательную значимость), или, вернее, их поработительская сущность, оставалась неизменной и была вполне сопоставима в силовом и духовном воздействии на массы с сорокавековым фараоновским диктатом. Во-вторых, выборность если и исключала династическую преемственность (к примеру, многовековую бурбонизацию европейских королевских дворов), то отнюдь не отменяла этот принцип вхождения во власть, а только расширяла его за счет олигархических семейств, семейств миллиардеров и мультимиллиардеров, представлявших собой династические (по размерам нажитых или, вернее, награбленных капиталов) клановые объединения. Для простого человека ни в прошлом, ни теперь не имеет значения, в какой системе он живет — монархической или демократической, ибо ни при царях, ни при олигархах он никогда не входил и не может войти во власть; античная (афинская) демократия лишала его такого права с помощью принятых далеко и далеко не демократичных законов, о которых историки и философы либо умалчивают, будто их не было вовсе, либо говорят вскользь, как о чем-то несущественном, о чем вроде бы и говорить-то нечего, тогда как нынешняя демократия, базирующаяся, повторяю, от и до на афинской, лишает права уже не с помощью законов, ибо закон гласит, что каждый имеет право избирать и быть избранным, а с помощью денежного мешка, если так можно выразиться, поскольку на избирательную кампанию нужно затратить миллионы и миллиарды, а суммы такие могут найтись только у олигархов, и опять выходит, что простой человек оказывается отчужденным от созидания своей жизни, так что навязанная ныне миру афинская (олигархическая) демократия, воспеваемая со всех возможных и невозможных зомби-трибун (тут и официальная пропаганда, и религии всех мастей, и литература, и искусство, и живопись, и кино, и музыка, и зодчество, и просвещение, и электронные и неэлектронные СМИ, и массовая — от Соединенных Штатов Америки — культура, призванная героизацией разбоя и разврата растлевать души), — афинская демократия есть не что иное, как определенный, разросшийся до всеглобальных масштабов обман, диктуемый новыми и новейшими фараоновскими державниками все с той же одной целью — господства, господства и господства над доверчивым миром людей.

LXXXVIII

В то время как греческая империя, греческие города-государства приходили в упадок (по тому же самому поводырскому сценарию, по которому до истощения были доведены нильская земля и живший на ней народ, что, кстати, служит еще одним веским подтверждением высказанной здесь теории перетекания стержня господства и рабства из оболочек одних империй и царств в оболочки других, возникавших на захватывавшихся обетованных землях путем силового или ползучего проникновения), — да, в то время как греческая империя и греческие города-государства, обескровленные в людских и земельных ресурсах, умирали или, вернее, затухали в своем развитии, терзаемые к тому же грозным азиатским соседом (персами), в центре Средиземноморья, на Апеннинском полуострове, набирала могущество будущая Римская империя — прямой прообраз современного мироустройства человечества. Римская империя с точки зрения исторического познания — это уже не история древнего царства, сознательно или неосознанно похороненная в тумане истлевших веков, и даже не греческая с ее городами-государствами, ознаменовавшими собой эпоху ползучего экспансионизма; ни историкам, ни философам сегодня вроде бы не нужно ломать голову, задаваясь вопросом, откуда взялись римские нобели, римские консулы, римские цезари, то есть все это чужеродство, основавшее свой престол на захваченной

обетованной земле и обратившее коренной люд в бесправных (по примеру египетских фараонов и афинских олигархов) рабов и плебеев, ибо процесс становления Рима как великой державы достаточно широко освещен как во всемирной, так и в национальной историографиях; по крайней мере так представляется каждому, кто знакомится с этой историей, хотя, если разобраться, то и в ней есть свои пробелы, темные пятна, недомолвки и извращения. По многим непроясненным вопросам до сих пор ведутся бесконечные, то есть ни к чему не приводящие (ведь и ученым мужам нужна нива, чтобы кормиться), дискуссии и споры, среди которых я бы выделил два основополагающих направления: первое — о степени самостоятельности и степени заимствования римской цивилизации и, прежде всего, культуры как наиболее зримой и будто бы наименее политизированной сферы духовных проявлений, и второе — о коренных и привнесенных истоках римской государственности. Многие полагают, что споры эти в сути своей схоластичны, что они мало что могут прояснить в сложившемся уже образе исторического (античного) гиганта и что будет ли у Вечного города на процент больше или на процент меньше греческого заимствований или на тот же процент увеличится или уменьшится оригинальных решений, это не сможет ни возвеличить, ни унижить ни Рим, ни Грецию; Греция навсегда останется Грецией, давшей миру великую культуру и великую демократию (если придерживаться официальных оценок), а Рим останется Римом, заложившим основы современного мира, основы нашей хищнической цивилизации, в какой живем, мучаясь материальной и духовной ущербностью, и какую хвалим, отторгнутые от всех реально-альтернативных социальных и нравственных бытоустройств. Да, Греция останется Грецией, Рим Римом, и с таким толкованием, наверно, можно было бы согласиться, если бы спор шел только о заимствованиях, пусть даже не ограничивавшихся рамками культурных ценностей, и только о национальном престиже или национальной ущербности в создании государственности, а не о самой государственности, насколько она соответствовала или не соответствовала народному выбору, устоям и традициям народного бытия; фактически же за внешней стороной спора лежит клочок к тем главнейшим закономерностям, которыми продиктовывалось и продолжает продиктовываться все наше тронное и народное бытие и познание которых (равное познанию истины) могло бы в корне изменить, во-первых, наше представление об истоках мироустройства (уже не как божественных, но как рукотворных) и, во-вторых, указать путь к достижению не миражного, как было до сих пор, а реального благоденствия. Если признать, что Рим вырос на греческой культуре, то есть вышел из греческой цивилизации, а это, как увидим дальше, бесспорно, и если при этом иметь в виду, что греческая культура (греческая цивилизация), в свою очередь, вышла из древнеегипетской (что тоже, на мой взгляд, по стержневой основе не может вызывать сомнений), то логически (и в то же время реально, то есть с максимальным приближением к действительности) можно будет предположить, что главным прародителем современной цивилизации (современной культуры) является не античная Греция с ее олигархической (и восхваляемой до небес) демократией, не Рим, «обогативший» мир образцами как республиканского, так и тоталитарного правлений (и примерами порабощения и истребления целых народов, пытавшихся противостоять расползанию и навязыванию хищнического миропорядка), и не позднейшие европейские державы, поочередно претендовавшие на мировое господство, сколько бы ни увенчивали нимбами достоинств политические, экономические, культурные (духовные) достижения их королевских дворов, — нет, главным прародителем современной цивилизации, ее неизменной хребтовой основой был и остается Древний Египет. Но разве устроители и держатели современной цивилизации, на которой столь вольготно процветает дворцовая жизнь, — разве они смогут признать это? Нет, они никогда не признают и никому не позволят признать, что мироустройство, кормящее и возвеличивающее их и унижающее и закабаляющее народ, — что хваленое это мироустройство есть не больше, не меньше как усовершенствованная копия сорокавековой фараоновской державности, что в общественных отношениях и общественном бытии человечество ни на шаг не продвинулось от системы

господства и рабства, что народы, однажды поверженные в глубокий обман, продолжают и сегодня все теми же тремя способами устрашения и подавления — силовым (армия), экономическим (физическое удушение), духовным (целенаправленное зомбирование прессом религиозных, идеологических и культурных внушений) — удерживаться в омуте бесправия, нищеты, невежества, рабства, и тем более не смогут допустить, чтобы весь этот сплетенный ими мир из миражных надежд и оболыстительных посулов (сорок веков фараоновского и более восьмидесяти веков постфараоновского господства потребовалось им, чтобы заполнить его пропитанным ложью правдоподобием), — чтобы мир этот, являющийся залогом их безграничного поводырства, в одночасье, если простолюдинское большинство будет допущено к истокам истины, рухнул, похоронив под собой жалкие развалины небоскребов и пирамид. Будут ли вообще когда-либо погребены небоскребы и пирамиды как символы абсолютистского господства и рабства, а вместе с ними предано забвению все хищническое мироустройство как система процветающих дворцов и нищенствующих хижин, — не знаю, но знаю, ибо ни историческое прошлое, ни текущая действительность не дают повода к подобным оптимистическим размышлениям; за прожитые фараоновские и постфараоновские тысячелетия власть как главенствующая составная человеческого бытия настолько обеспечила себе бессмертие, легализовав в системах монархизма и олигархизма, то есть божественно, да, почти божественно узаконив (через понятия «государство» и «государственность») право на господство (для себя) и право на рабство (для народа, народов), что едва ли сегодня кто-либо сможет указать на силу, которая взялась бы развенчать, а затем и разрушить эту глубоко и коварно продуманную за тысячелетия систему тронного произвола, обрамленную ризой пьедестально-иконостасной славы. Для чего я говорю и пишу это? Разумеется, не для того только, чтобы бросить очередной упрек кумирам-поводырям, которые брались (да берущимся и сегодня) привести человечество ко всеобщему благоденствию (по результатам дворцовой жизни они как раз и полагают, что выполнили миссию и достигли цели), а привели (и продолжают приводить) ко все новому и новому обнищанию и повсеместному рабству безответное простолюдинское большинство; согласно официальной да и неофициальной историографии мы уже более чем на восемьдесят столетий отделились от древнеегипетской цивилизации (от «века Богов», века абсолютистского господства и абсолютистского рабства), и сегодня лишь как память о ней предстают перед нами пирамиды и сфинксы — немые свидетели некогда кипевшей страстями (царскими страстями) на нильской земле жизни, и если что-то из прошлого и стало достоянием нашего нынешнего общественного бытия, то уж никак не фараоновская державность, не фараоновское (характерное и для нынешних престольных чужеродств) бездушие, а скорее афинская (она же древнегреческая) и даже римская (нобели, консулы, сенат) демократия. Так считают правители, стремящиеся ко все большей и большей власти, и с их гласного и негласного соизволения возносились и возносятся до небес торжествующая ныне хищническая цивилизация; историки, философы, деятели культуры, литературы, искусства, приученные со времен фараонов толпиться у тронов, церковники и политики, сделавшие для себя профессией политиканство (с ориентацией либо на Запад, если по российским стандартам, либо на тупость и доверчивость соотечественников, охотно поддающихся на прямой и оголтелый популизм), — все эти привыкшие шаркать по дворцовым паркетам выдающиеся, особо выдающиеся и невыдающиеся, предпочитающие более быть в тени, чем на свету деятели эпох, если послушать их, прямо-таки искренне убеждены (надо сказать, роли свои они выполняют добросовестно), что у нынешней цивилизации, возросшей на корнях древнегреческой (афинской) демократии, нет альтернативы; вместе с правителями они нарекают себя знатоками и носителями основ этой «великой цивилизации» (современный способ вознести себя над толпой простолюдинов), и все мы к нашему безграничному огорчению находимся под прессом этого всеглобального механизма политического, экономического, нравственного (духовного) зомбирования. Есть преступления против личностей, есть преступления против народов и есть преступления против чело-

вечества — и не только те, за которые судили нацистских главарей. Не судили, а надо было бы судить Цезаря, довершившего геноцид против кельтов; не судили, а надо было бы судить Сципиона, вырезавшего от старого до малого Карфаген и сровнявшего его с землей; не судили, а надо было бы судить открывателей и основателей современной Америки, загнавших в кровавую мясорубку коренной люд приглянувшегося им континента, ибо несмотря на всю масштабную заданность этих преступлений они являются лишь преступлениями против народа, народов и представляют собой лишь производное от главного виновника насущных человеческих бед — системы общественных отношений и общественного бытия, иницирующей и оправдывающей любой поводырский произвол. Преступления против личностей и народов исторически героизируются тем, что победителей не судят (по крайней мере в момент их кровавого торжества); преступления против человечества, к которым прежде всего следует отнести хищническое мироустройство, бременем нищеты, бесправия, рабства придавившее людские сообщества, не определены и не сформулированы ни в одном — ни в церковном, ни в светском — своде законов; есть мировое господство, обозначенное политическим, экономическим (социальным) и духовным диктатом, есть войны, разорение, закабаление, процветали и процветают нацизм, религиозный фанатизм, почти повсюду на планете торжествует гласный и негласный геноцид, какому подвергаются либо отсталые, либо непокорные (разумеется, в большинстве своем непокорные) народы, иначе говоря, идет самое неприкрытое глумление над простолюдинскими массами, то есть творится преступный беспредел (повторяю, уже само хищническое мироустройство, основанное на фараоновской формуле господства и рабства, есть не что иное, как всеглобальное преступление против человечества), и никому в голову не приходит по фактам этого преступления (историческим и текущим) возбудить уголовное дело и начать расследование. Думаю, первый же вопрос, с каким столкнутся полномочные от народов и континентов следователи, будет о том, кому выгодно удерживать человечество в системе господства и рабства. Естественно и однозначно — кумирам-поводырям. Потребуется выяснения и вопрос о том, повинны ли в преступлении перед человечеством только те, кто стоял у истоков создания этой диктаторской системы, то есть только ли фараоны или и те, кто на протяжении всех восьмидесяти постфараоновских столетий распространял, укоренял и совершенствовал ее. Деяния фараонов, наверное, можно было бы отнести к разряду одноразовых преступлений (они создали свое, отгосподствовали и упокоились в тиши каменных пирамид), тогда как деяния правителей, принявших эстафету фараоновской державности, имеют или носят уже совсем иной, долговременный характер; они превратили разовое преступление в перманентное и усугубили свою вину перед человечеством еще и тем, что наводнили мир ложными представлениями о сути и целях своих поводырских усилий и, обложив свое дворцовое бытие панцирем власти, всеми силами стремятся удерживать человечество в омуте бесправия, раздоров, светских и религиозных кровавых разборок, чтобы не было у него времени подумать об истинной сути своего бытия.

LXXXIX

Есть легенда об основателях Рима — двух братьях и волчице, выкормившей их своим молоком, и есть исторически документированная версия о греках, которые, скитаясь в поисках новых обетованных земель, высадились на восточном побережье Апеннинского полуострова (разумеется, с военной дружиной) и заложили сначала лишь воинское поселение, а затем, ощутив себя на перекрестке всех средиземноморских торговых путей, возвели Вечный город, переросший спустя столетия в могучую Римскую империю. В пользу этого пришлого, или оккупационного, варианта, я бы так назвал его, чтобы понятней было не искушенным в истории современникам, говорит то обстоятельство, что уже в седьмом веке до новой эры греческих колонистов, имевших опыт и своей, и древнеегипетской государственности, можно было встретить не только на Апеннинском

полуострове, но и на восточном берегу нынешней Испании, где эллинская культура впервые столкнулась с кельтской и, как пишут историки и философы, одухотворила и обогатила ее для будущей Европы; конечно, я понимаю, насколько трудно иерархам от исторических и философских знаний, давно и прочно определенным в своих якобы научных, а по сути тронноугодных взглядах на ход развития человечества (могу вновь сослаться здесь на «Историю царств и царствований»), признать, что с момента классового расслоения мир живет по одной хищнической закономерности и что в согласии именно с этой закономерностью история становления Римской империи представляет собой не иначе как прямое сценарное повторение истории Древнего царства и античной Греции (по примеру ползучего проникновения и укоренения престольных чужеродств, с той только разницей, что вместо десятка городов-государств, как это случилось на землях древней Эллады, вся фараоновская державность сосредоточилась в одном, получившем значение Вечного города и могущественной империи), но факты истории неопровержимы и вполне могут говорить сами за себя. Так давайте обратимся именно к этим историческим фактам. Что случилось с древними египтянами, когда фараоны с мечом пришли на нильскую землю? Древние египтяне были на сорок веков загнаны в беспросветное рабство. Что случилось с народами Балканского полуострова, когда фараоновская державность ползуче (но, возможно, где-то и с мечом) начала перетекать на их земли? Они оказались в том же бесправном, рабском положении (хотя как будто бы не рабы), что и египтяне, то есть история повторилась. Что случилось с народами Аппенинского полуострова, народами всех присредиземноморских территорий, когда стержень фараоновской державности окончательно переместился в Рим и угнездился там престольным чужеродством? История повторилась в третий раз, расширив разве что масштабы тиранства, и повторение это стало затем неотъемлемой закономерностью всего последующего человеческого бытия. Силою римских когорт в хищничество была обращена Европа, заплатившая за это «благоденствие» истреблением кельтов (галлов), франков, бритов, части германских и славянских племен. Деяниями Рюриковичей повторился Древний Египет на восточнославянских землях, куда эти воинствующие пираты явились «со всей русью» (пиратской варяжской дружиной), и затем как венец драматической истории человечества все повторилось на американском континенте, на который уже не Древний Египет, не античная Греция, не Рим, а европейские королевские дворы десантировали усиленную пушечным и кресто-кандальным насилием все ту же фараоновскую державность. Я обратился здесь только к вековым, то есть общеизвестным, примерам истории, тогда как подобные захваты и ползучие проникновения, ползучие проникновения и захваты с укоренением престольных чужеродств происходили несчетно на пространстве эпох в самой разнообразной масштабности, ими буквально пестрит прошлое и настоящее, и все они лишь неопровержимо подтверждают единосценарное развитие человеческих сообществ. Во все времена и перед всеми тронами независимо от того, на каком насилиии они создавались, кровавом или так называемом бескровном (соответственно захватническими ли действиями, ползучим ли проникновением), вставала одна и та же проблема, которую можно охарактеризовать и как необходимую условность по обеспечению либо божественного (на раннем этапе), либо интеллектуального (носители государственных идей, великие просветители, стратеги войн, стратеги мирной жизни, беспримерные поборники справедливости, подвижники совести, и вообще суперличности или, точнее, «личности от Бога») превосходства правителей и дворцовых персон над толпами простолюдинов. В обобщенном восприятии условность эту можно было бы представить и как богоизбранность (в конце концов интеллектуальное превосходство, коим самонаделяют себя современные фараоновские державники, как раз и есть своего рода утонченная богоизбранность по отношению к народу, народам, «черни», которой поводыри-чужеродцы берутся управлять); под это возвышающее личности и народы понятие, кроме коронованных особ, входят олигархи от «золотого тельца», от религиозной и светской духовности, от литературы, искусства, музыки, живописи, от

электронных и неэлектронных СМИ, присвоившие себе особое право выступать в роли козлов, ориентирующих народные массы на смирение, всепрощение, покорность судьбе и поклонение живому и застывшему пьедестально-иконостасному поводырству, и весь этот кормящийся от тронов и прислуживающий им набор богоизбранников, вслед за фараоновской державностью перекочевывавший из империй в империи, из царств и княжеств в царства и княжества, из республик в республики (тут следовало бы пояснить: с олигархическим господством и демократическими вывесками), вполне может служить дополнительным (и непровержимым) доказательством единосценарной основы укорененного ныне повсюду хищнического мироустройства. Конечно, если рассматривать исторический процесс развития человечества не в стержневой его закономерности, а в характеристиках эпох и житиях ведущих в них деятелей, то с немалой долей правдоподобия можно будет утверждать, что вопросы вторжения, богоизбранности и чужеродства (я имею в виду укоренение престольных чужеродств) во всех когда-либо создававшихся государственных образованиях — империях, царствах, королевствах, княжествах, герцогствах, республиках — решались да и продолжают решаться по-разному; в Древнем Египте — по-своему, в городах-государствах античной Греции — по-своему, в Риме — по-своему, в России (имеются в виду «призвание» Рюриковичей и некое будто бы соборное возведение на престол Романовых) — по-своему, на американском континенте — по-своему; реальная же действительность подсказывает, что и фараоны, и все постфараоновские правители, захватывавшие и учреждавшие троны, сталкивались с одной и той же проблемой легитимизации своего превосходства над чуждыми им толпами простолюдинов, и однозначность проблемы, естественно, требовала или, вернее, приводила и к однозначному, или единосценарному (что только еще раз подтверждает высказываемую здесь мысль) решению. Основатели греческой державности, как, впрочем, и олигархической демократии, не могли зеркально скопировать фараоновскую богоизбранность; не могли, во-первых, потому, что не позволяла тронная ограниченность или, вернее, немощность (ведь города-государства ни в каком отношении несопоставимы со своим могущественным прародителем — Древним царством), и, во-вторых, потому, что в простолюдинских массах хотя и медленно, можно сказать, незаметным, черепашьим шагом, но все-таки шел процесс прозрения, с которым невозможно уже было не считаться во дворцах (между прочим, одной из характерных черт постфараоновского развития человечества как раз и является перманентное противостояние между процессом прозрения в закабаленных массах и объемом выплескивавшегося на эти массы тронно-продиктованного и тронно-сработанного обмана), и потому правители античной Греции, очеловечив богов, поселили их на некоем Олимпе (что-то между земным и небесным) и, породнив себя с этими Зевсами, Юпитерами, Венерами, Юнонами, положили в оправдание своих поводырских деяний (абсолютистского господства, абсолютистского рабства, военных и духовных экспансионистских устремлений, дворцовых интриг и переворотов) очеловеченные деяния Олимпийских богов; они же, правители и олигархи античной Греции, прибравшие в конце концов к своим рукам власть, оказались, по существу, первыми, кто осмелился поставить коренником в тронно-оберегательную колесницу богоизбранности интеллектуальное превосходство, открыв для этого все шлюзы к расцвету дворцового искусства (в традиционном перечислении это науки, литература, живопись, музыка, зодчество, главным образом культового предназначения) и наводнив свои царские и культовые палаты предметами рукотворной красоты и роскоши (как будто цель жизни вообще заключена не в достижении общего блага, а лишь в процветании дворцовой культуры, лестно именуемой для простолюдинов народной), исторически предстают перед нами не диктаторами от престольных чужеродств, а этакими утонченными ценителями (что также должно толковаться в династическом восприятии) духовных начал или, вернее, духовных проявлений личностей и народов. Но, обогатившись за счет греков, фараоновская державность уже не могла столь же щедро обогатиться за счет Римской империи, как и за счет деятельно-

сти европейских королевских дворов или богоизбранников империи новейших времен (я говорю о Соединенных Штатах Америки); в проблемах богоизбранности они так и не смогли продвинуться дальше античной Греции, а если в чем-то и преуспели, то разве лишь в окончательном закреплении за собой звания носителей интеллектуального превосходства. Рим, известный своей кровавой историей, диктаторскими завоеваниями и уничтожением народов и цивилизаций (достаточно назвать в этой связи Карфаген или, к примеру, кельтов, стертых с европейской земли), — да, этот самый Рим, который даже лояльные к тронам историки и философы называют кровавым и перед властителями которого трепетали народы передней Азии, Присредиземноморья и Европы, сегодня более известен не захватническими походами и тиранскими преследованиями непокорных людских сообществ, а расцветом наук, литературы, искусства, музыки, живописи, то есть всем тем, что могло бы, не будь оно дворцовой принадлежностью, украсить и возвеличить интеллектуальную деятельность любого народа, но что, лишь выдаваемое за народное творчество, служило и продолжает служить коронованным особам неким пьедесталом для утверждения своего интеллектуального превосходства над закабаленными (и погрязшими в историческом невежестве) толпами простолюдинов.

ХС

Никто, наверное, не знает больше, чем ученые мужи, насколько искажена как древнейшая, так и новейшая история человечества, и было бы вполне правомерно, если бы они задались вопросом, кому и для чего нужны эти искажения. Но никто из историков и философов не задавался впрямую таким вопросом, как не задаются им и современные иерархи от исторических и философских знаний, и происходит это потому, что не только правители, которым для обеспечения тронного долголетия прямо-таки необходимо иметь героизированную, то есть искаженную в сторону героизации, историю, чтобы оправдать кровавый реализм деяний благородными целями (из таких искажений как раз и создаются те невидимые пьедесталы богоизбранности, на которые восходили все прошлые и восходят все нынешние постфараоновские державники), — да, не только потому, что правители, нуждающиеся в исторических искажениях, диктуют свое видение и толкование происходивших и происходящих событий, но и потому, что ученые мужи, сами однажды (в экстазе тронопоклонства) согрешившие против правды, не то чтобы не находят сил для признания вины и покаяния (перед народом, народами, а не перед вседержателями мира), но, понимая, что саморазоблачение может под корень подрубить их вполне устоявшееся (вслед за правителями) интеллектуальное превосходство, страшатся предстать перед людскими массами в оголенно-простолюдинском естестве. Истинная история Рима — это кровавая, как уже говорилось выше, история войн и закабалений; искаженная же, то есть облагороженная героизированными искажениями, история Римской империи строится уже не на войнах и порабощениях, а на целях просветительства, ибо Рим, дескать, нес великую культуру и великую цивилизацию варварским народам (прежде всего народам Европы), и хотя «уроки цивилизации» и были кровавыми, но методы, как говорят историки и философы, вполне оправдывались великой просветительской целью. Оказывается, во все стороны света направлялись из Рима когорты войск не с захватническими, а всего лишь с просветительскими намерениями (так по крайней мере выглядит в новейшей истории поработительская политика Рима по отношению к европейским народам), и в подтверждение этой исторической версии приводится весьма вроде бы убедительный аргумент — сытая и процветающая жизнь западноевропейских держав. Людям из третьего мира, то есть из так называемых отсталых и развивающихся стран (в семье которых не случайно и неспроста оказалась теперь Россия), не имеющим или почти не имеющим никакого представления об истинной сути происходивших и происходящих исторических процессов и привыкшим уповать

либо на Бога, либо на добродетельных поводырей и не осознающим да, впрочем, и никогда не осознававшим своих человеческих возможностей (в конце концов неравенство перед рукотворными законами, продиктованными из дворцов и храмов, вовсе не означает, что мы точно так же неравны перед естественной, природной закономерностью),— людям из третьего мира выставляемые аргументы вполне могут показаться убедительными и правдивыми (на что, собственно, и рассчитывают составители этого обмана), тогда как в действительности, если не скользким, а проникающим взглядом присмотреться к минувшим и текущим событиям, то без труда можно заметить, что за фасадом распропагандированного западноевропейского рая далеко и далеко не все так благополучно, как принято полагать, ибо система господства и рабства не может предложить людским сообществам ничего другого, как процветание дворцам и храмам и нищету (пусть хотя бы и относительную) и убожество хижинам (ведь еще совсем недавно Запад потрясали войны, бунты, революции, и нет гарантий, что в будущем, даже, может быть, в ближайшем будущем, хваленый Запад вновь не взорвется великими потрясениями), а если копнуть поглубже, то может обнаружиться, что хваленая западноевропейская цивилизация, некогда привнесенная римскими когортами на остриях мечей и копий, возведена на костях и крови (подобно державным Соединенным Штатам Америки) порубленных и погубленных коренных народов Западной да и во многом Восточной Европы. Римские правители в отличие от правителей Древнего Египта и античной Греции первыми перешли от покорения (порабощения) народов к их либо частичному, либо полному искоренению; именно римскими консулами и римским сенатом была провозглашена и затем последовательно осуществлялась политика обескровливания и уничтожения прежде всего сильных и многочисленных народов, способных (потенциально способных) противостоять Риму, и согласно этой провозглашенной доктрине хищный взор римских консулов был обращен на кельтов. Если славянские племена занимали всю восточную часть Европы в квадрате от Днепра до Рейна, от Балтийского (Варяжского) моря до Средиземного, то кельтские — всю или почти всю западную от нынешней Ирландии до Испании (по крайней мере так свидетельствуют греки, встретившиеся в VII веке до новой эры на испанском побережье с кельтами и описавшие их достаточно развитую культуру и социальный уклад жизни); над Римом, в сущности, как некий топор над головой (разумеется, в представлении тогдашних властителей Вечного города), нависало огромное и по-своему могущественное племя кельтов, не чуждое воинской активности; хотя о них нельзя сказать, что они жили столь же безоблачно и в той же идиллической самобытности, что и «славные Гипербореи», то есть славянские племена, но в то же время можно с достоверностью утверждать, что они не знали ни крупномасштабных войн, ни рабства, а если и имели кое-какое представление о хищничестве (думаю, к тому времени уже и до них докатывались фараоновские державные веяния), то лишь в тех туманных контурах, которые пока еще никак не вписывались в сложившийся на началах миролюбия и добронравия уклад кельтской самобытности. Короче говоря, кельты не собирались ни нападать на Рим, ни уничтожать его, но не так все воспринимали власти Вечного города. Агрессивные и властолюбивые, они не могли даже помыслить, чтобы правители других народов да и сами народы не стремились к захватам и порабощениям; кельты пугали их прежде всего своим многолюдством, и, чтобы отвести от себя эту потенциальную (мнимо потенциальную) угрозу и обезопасить свое единогосподство как в бассейне Средиземноморья, так и на прилегающих к нему европейских просторах, надо было избавиться от кельтов. Действовать только военными мерами, они видели, было недостаточно, и в дело впервые была пущена клевета не против личностей, как практиковалось еще со времен древнеегипетских фараонов, но клевета против народа, а для исполнения этой задачи был задействован весь тогдашний пропагандистский механизм зомбирования. Кельты были провозглашены врагами цивилизации и врагами рода человеческого, их представляли не иначе как соединенными в свирепые и кровожадные орды, то есть народом, не достойным земного существования, и

против них было предпринято духовное и силовое нашествие. Можно представить (оглядываясь на нашу славянскую историю), в каком положении оказались кельты, ненавидимые (незаслуженно ненавидимые) всеми или почти всеми настроенными против них сопредельными народами; в походы на них, объявлявшиеся Римом, собирались огромные толпы обработанных определенной пропагандой людей, и толпам этим, поделенным на когорты и легионы, отдавались на разграбление кельтские города и поселения, что придавало таким походам характер безнаказанного разбоя. А что же кельты, невольно возникает вопрос, разве этот сильный и многочисленный народ, которому не чужда была военная активность, не мог объединиться и противостоять Риму? Реальная история подтверждает (в том числе и на примере славян), что не мог; не мог, во-первых, потому, что не имел единого руководящего центра (национально ориентированного, можно было бы добавить, принимая во внимание давнюю и недавнюю российскую действительность), и, во-вторых, потому, что у кельтов не было тогда еще (как, впрочем, у многих народов нет и сегодня) четко отлаженного механизма защиты от беспардонно-всехватной и целенаправленной клеветы, какой подвергаются и в наши дни многие не приемлющие хищническое мироустройство людские сообщества, в том числе и славянские, чье самобытное существование прямо-таки как бельмо в глазу для современных фараоновских державников. Но вернемся к истории. Оболганные и униженные, кельты, однако, не сразу поддались римлянам; более двух веков, теснимые римскими когортами и легионами на север, к берегам нынешней Ирландии и Великобритании, они отчаянно сопротивлялись, не столько даже Римской империи, сколько мировому сообществу (по тем временам это было мировое сообщество), натравленному на них; их расчленили и уничтожали по частям: одних убивали на месте (главным образом вождей и влиятельных лидеров, чтобы обезглавить народ), других угоняли в рабство. И кто считал, сколько триумфальных арок было поставлено на подступах к Вечному городу в честь одержанных над кельтами «великих» побед, и можно ли вообще измерить тот пласт человеческих страданий, какой оставили на камнях триумфальной дороги прогонявшиеся по ней кельтские да и не только кельтские пленники, выставлявшиеся затем на невольничий рынок. Сегодня многие историки пытаются всю вину за уничтожение кельтов переложить на Цезаря, подвергая критике проводившуюся им политику тотального геноцида против этого европейского народа, за что, дескать, и поплатился заслуженной смертью; кому-то, возможно, покажется приемлемой подобная интерпретация тех драматических событий (ведь для неискушенного чем логичней, тем правдоподобней), но я нахожу здесь только лукавство, только очередное желание исказить истину, ибо, вместо того чтобы исследовать и осудить систему, обуславливающую направление и цель действий (в данном случае фараоновскую державность), вся тяжесть ответственности переносится на личность, действовавшую будто бы по своему произволу, тогда как система, перманентно порождающая зло, остается вне подозрений. Да, личности играли и продолжают играть в истории определенную роль, но ведь они формируются системой, являются ее прямыми выразителями и действуют во имя укрепления (долголетия, бессмертия) этой системы, и Цезарь в своих деяниях, как и Сципион в расправе над Карфагеном, лишь волею судьбы был вознесен на вершину той пирамиды насилия и порабощения народов и государств, которая возводилась всем ходом становления Римской империи и проявлялась в деяниях личностей и подвластных, зомбированных посулами миражного благоденствия людских сообществ.

XCI

Нельзя сказать, чтобы вопрос о разрушенных самобытных цивилизациях и убиенных народах время от времени не поднимался иерархами от исторических и философских знаний, но и нет оснований утверждать, что при этом делались какие-либо серьезные попытки исследования этого, в сущности, простого, если смотреть в корень и не отступать от реалистического восприятия и толкования

происходивших на пространстве веков событий, и до неприступности сложного, если действовать в согласии с определенной (тронной) заданностью, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, вопроса, беспокоящего человечество, пожалуй, еще с доплатоновских и доаристотелевских времен (скажем, поиски мифической Атлантиды); наверное, не только ученых мужей, волей или неволей занимавшихся героизацией и обелением кровавых поводырских деяний, но и правителей, обеспокоенных не столько виной своих тронных предшественников, сколько возможными разоблачениями, нет-нет да и одолевает страх перед грядущими последствиями, и, чтобы опередить события (а сделать это можно, только возглавив их), открывают прилюдное (выпуская вперед себя ученых мужей) покаяние, призывая (главным образом) к этому будто бы великому действу подвластные простолюдинские массы, которые, как исполнители тронной воли, всегда (в восприятии коронованных особ и придворных элит) оказываются главными виновниками всех творимых с ними и вокруг них исторических бед. На сегодняшний день история насчитывает по крайней мере три крупных народа, против которых проводился и проводится ничем не прикрытый тотальный геноцид: кельты, американские индейцы, славяне; первые, как уже говорилось, были уничтожены римскими завоевателями, вторые — хлынувшими на открытый Колумбом континент («землю обетованную») просвещенными (просвещенными хищничеством) европейцами, третьи, то есть славяне, — двумя растянувшимися на тысячелетие волнами: от европейских фараоновских державников, а теперь от североамериканских, не просто претендующих, но уже почти захвативших трон мирового господства. Я не думаю, что нужно расшифровывать сказанное, тем более что все три варианта, отдаленные друг от друга расстояниями эпох, имеют, как не покажется это странным или невероятным, единосценарную основу — глобальное (по римскому образцу) очернение приговоренных или, вернее, обреченных на вымирание народов и наций, а затем силовое и духовное порабощение их и истребление. Так были стерты с лика Земли кельты, о которых говорят теперь, что они пострадали напрасно, что вовсе не угрожали Риму и римской цивилизации и что Европа многое потеряла с исчезновением этого народа, оставившего после себя высокоразвитую культуру, которую римляне как ни старались, но до конца так и не смогли истребить и следы которой почти в первозданном виде можно и сегодня обнаружить на территории Ирландии; так были истреблены индейцы Америки, жившие и жившие себе своей самобытностью и создавшие свой вариант государственности (Великая империя инков), свою культуру и свою цивилизацию, которую теперь, спустя три с лишним столетия, пытаются восстановить как некий навсегда утраченный образец альтернативных древнеегипетским, древнегреческим, римским и вообще европейским общественным отношениям (разумеется, не без похвалы и возвеличивания); такой же участи подверглись почти все племена и народы Африки, колонизированные просвещенным европейским миром и ограбленные им же в духовных ценностях (при этом, надо заметить, имело место странное явление: в то время как самобытные культуры и самобытные цивилизации порабоощавшихся народов объявлялись варварскими, подлежащими искоренению, вещественные, то есть зримые, доказательства этих культур и цивилизаций вывозились в столицы господствующих держав и, как уникальные музейные экспонаты, выставленные на обозрение, вызывали восхищение у невежественных и духовно оскорбленных насилием хищничества простолюдинских масс); таким же расправам попеременно подвергались италики, галлы, франки, бритты, германские и славянские племена, ибо римляне, завоевавшие Европу, не признавали ничьей власти, кроме своей, исполненной престольного (для закабалявшихся коренных народов) чужеродства, переросшего затем в династически повязанные между собой европейские королевские дворы. Начиная с сорокавекового господства фараонов на нильской земле, история человечества представляет собой, в сущности, историю поэтапного (кровавого) закабаления; и Древнее царство, и античная Греческая империя, и Рим, и европейские королевские дворы, и нынешние властители мира — Соединенные Штаты Америки, — все эти могущественные дер-

жавы и королевства, определявшие, каждая для своего времени, судьбу человечества и приводившие в трепет нации, народы, государства, возводились, стояли и продолжают стоять на страданиях и несправии простолюдинских масс; нам, конечно, может показаться удивительным, что пирамиды как символы абсолютистской власти и небоскребы как современные выразители все того же властного абсолютизма стоят, образно говоря, по колена в человеческой крови и что цивилизация, основанная древнеегипетскими фараонами и прошедшая через древнегреческое и, главное, древнеримское усовершенствование, включая и наложенную на нее филигранную западноевропейскую лакировку, — что цивилизация эта ничего общего не имеет с понятиями прогресса и процветания, как это усиленно внушается нам (и что сродни может быть только дворцовому благоденствию), но всегда сочеталась с приемами ограбления, удушения и умерщвления народов, которые, с одной стороны, не умея и не желая совершать сделку с совестью, решительно встают против навязываемого им хищнического мироустройства, понимая, какое место будет отведено им в этом миражном «рае», а с другой — не умея защитить свои интересы (свое человеческое достоинство, если точнее), гибнут, унося с собой никем еще не подхваченные и не отомщенные обиды и несломленную простолюдинскую гордость. Думаю, читатель поймет, что я говорю не только или, вернее, не столько о прошлом, что когда-то творилось иконостасно-пьедестальными кумирами-поводырями, сколько о настоящем, что творят с нами (народом, народами) династические наследники тех же кумиров-поводырей, обращающая нас в неклеяемое, но в то же время и четко заклеяемое стадо рабов. В историческом повествовании вроде бы не должно быть места для риторических восклицаний; но можно ли устоять перед соблазном бросить в лицо поводырствующему Западу, что, господа, посмотрите сначала на себя, на свою историю, прежде чем учить другие народы, как жить и какие ценности исповедовать; вам, да, прежде всего вам, следовало бы покаяться перед человечеством за совершенные над ним злодеяния, а уж потом, очистившись (хотя бы таким образом), либо примкнуть к человеческому большинству не на правах богоизбранных, а на правах равных, либо, если этот вариант не устраивает вас, собраться в анклав на своей исконной (есть же такая, породившая вас) земле и начать пожирать друг друга, оставив наконец в покое чуждые вам (чуждые по крови) народы и государства. В таком случае по крайней мере восторжествовала бы справедливость и никто бы (ни один народ, ни одно государство) не навязывал свои идеологические и житейские устои и не ломал бы души личностей и людских сообществ через колено фараоновского диктатора. Насилие над личностью с целью обогащения и захвата власти есть преступление против личности, насилие над народами с той же целью есть преступление перед человечеством, и справедливо было бы предположить, что и в первом, и во втором случаях преступники должны понести наказание; однако история показывает, что за убийство народов никто никогда еще не нес и, как видно, не понесет никакой ответственности (полагаю, что Нюрнбергский процесс над фашистскими главарями, должный бы стать примером общенародного возмездия за убийство евреев и славян, не стал таковым, ибо те, кто вершил правосудие, сегодня сами творят геноцид, но только уже не против двух, а против одного народа — славянства, не одно уже столетие пугающего Западную Европу своим многолюдством). Если бы человечество (даже запоздало, даже спустя столетия) осудило Рим не только за истребление кельтов, но и за проводившуюся политику геноцида против любых многочисленных народов (нельзя же уничтожать людей только за то, что они наплодились и живут на своей земле), европейские королевские дворы не посмели бы (разумеется, руками своих военизированных посланцев) так жестоко расправиться с коренными жителями открытого Колумбом континента. Но мировое сообщество молчаливо проглотило, говоря языком простонародья, и это кровавейшее преступление и, как видно, так же молчаливо готовится проглотить вторую уже по счету расправу над добролюбивым, добронравным и доверчивым (но все еще многочисленным) славянством.

XСII

Итак, о третьем народе, подвергавшемся тотальному геноциду, о славянстве, которое, к несчастью своему (во всяком случае, так можно сказать, исходя из драматических процессов истории), оказалось столь многочисленным, что, как ни пытались и ни пытаются расчленить и обескровить его и сколько ни обрушивают на него военных, экономических и духовных насилий, все еще продолжает жить, сопротивляться и, возможно, одному ему известными способами самосохранения возрождаться, казалось бы, из пепла, что, с одной стороны, делает честь этому народу, а с другой — далеко и далеко не украшает ни прямых его истязателей (ниже о них еще пойдет речь), ни нейтральное вроде бы мировое сообщество, равнодушно взирающее (как оно равнодушно взидало на истребление кельтов и американских индейцев) на творимое у него на глазах преступление против человечества; в конце концов ведь и у славянства могут иссякнуть силы, обеспечивающие ему жизнестойкость, и о нем, как о кельтах и индейцах Америки, скажут, что да, был, дескать, такой народ, воспитанный на идилических — «славные Гипербореи» — социальных и нравственных традициях, который никому не угрожал порабощением, не стремился к захвату чужих земель (за деяния чужеродцев на престоле народ, естественно, не может нести ответственность), никогда не занимался ростовщицеством, работорговлей, не организовывал грабительских нашествий, подобно азиатским или крестовым, а только защищался и защищал от них Европу, имел высокоразвитую самобытную культуру и самобытную цивилизацию, и, наконец, Европа многое потеряла с исчезновением этого красивого, добронравного и доверчивого (до преступности доверчивого) народа, — да, был такой славянский люд, на который можно было положиться в любые сложнейшие периоды общественной и государственной жизни, и я не ошибусь, если скажу, что под аккомпанемент этих ностальгических (ложно ностальгических) восклицаний последователи фараоновской державности, выбрав очередную жертву (в мире еще достаточно остается многочисленных народов, занимающих богатейшие пространства Земли), откроют новый сезон — «Карфаген должен быть уничтожен» — тотального истребления обреченных народов. Истоком тысячелетнего геноцида против славян, думаю, следует считать образовавшуюся в центре Европы Священную римскую империю и ее основателя — Карла Великого (тут хочу заметить, что уже само название, данное этому общественному образованию, говорит о его преемственности и целях); оккупированная Европа, считавшаяся римской провинцией и насыщенная римским влиятельным (фараоновским) чужеродством, стряхнув с себя одряхлевшие одежды былого величия и былой славы Вечного города, просто-напросто (как, впрочем, и византийская провинция) не могла не сообразоваться по примеру греческой империи, возникшей на развалинах Древнего царства, и Рима, выросшего из осколков раздробившейся на города-государства греческой империи в могущественную державу (из нее как раз и вычленились позднее королевские дворы с династической породненностью), и точно так же, как Рим, обнаружив возле себя многочисленных кельтов, выработал и осуществил доктрину их истребления, Священная римская империя Карла Великого, а позднее и европейские королевские дворы, узрев по соседству неисчислимо славянство (я употребляю слово «узреть» потому, что для учредивших свои престольные чужеродства пришлых правителей далеко и далеко не ясна была расстановка сил в Европе) и усмотрев в этом многолюдстве потенциальную угрозу своим тронам, повели многовековое фронтальное наступление на мирных, не подозревавших ни о каком заговоре против них славян. Карл Великий, как и все оголтело-воинственные монархи, рассчитывающие прежде всего на силовое превосходство, подчинив себе южные (от центра Европы) народы и земли, где никто не мог оказать ему сколько-нибудь серьезного сопротивления, двинулся в поход на господствовавших тогда на славянских землях аваров и, разбив их (разбив славян, как интерпретируется это в западноевропейской историографии, и не без основания, ибо аварское войско состояло в основном из восточных славян, силой принужденных служить аварским ханам), оказался лицом к лицу не столько со

славянским многолюдством, которое после гуннского и аварского нашествий было, конечно же, относительным, сколько с первозданно-немеренным и не истощенным еще хищнической (поводырской) деятельностью простором, заселенным наугадным азиатскими полчищами людом; он мог бы, обладай на то волей и смелостью, захватить все славянские земли и выйти к Днепру и Дону, ибо после двух, как уже говорилось, азиатских нашествий — гуннов и аваров — народ был деморализован и не мог противостоять ему, но теперь трудно сказать, что остановило западноевропейского Цезаря, как он сам называл себя: великие ли просторы, лежавшие перед ним, в которых не раз и не два увязали и европейские, и азиатские разбойные орды, или, возможно, подступавшая старость, против которой ни у простых смертных, ни у великих не было и нет защиты, или недостаточность военной мощи, чтобы раскрыться на всем славянском плоскогорье, но факт остается фактом, и дело не в том, что физически успел и чего физически не успел сделать самоназванный западноевропейский Цезарь; он положил в основу политической доктрины европейских королевских дворов раздробление, преследование и уничтожение славян (официально она оформилась в понятие *Lebensraum*, что означает «расширение жизненного пространства»), и доктрина эта, многократно уточненная и усиленная генеральными штабами королевских дворов, на протяжении уже более десяти столетий в самых разных вариантах вплоть до изощенного иезуитства неукоснительно проводится в жизнь. Явление это, еще до конца не завершенное, но уже оплаченное миллионами и миллионами невинно загубленных жизней и поставившее славянство на грань физического и духовного истощения и, возможно, исчезновения, требует, конечно же, глубокого фундаментального исследования (что, впрочем, и будет сделано в третьей книге этого исторического повествования), а пока я позволю себе остановиться лишь на веховых явлениях этого процесса, который можно поделить (для лучшего восприятия) на силовой, военный вариант давления и на духовное истощение, то есть духовное обезоруживание обреченных масс. Геноцид духовный (его и так еще можно назвать) четче всего выразился в беспардонной и всеохватной клевете как на славян западных (главным образом на сербов), так и на восточных (главным образом на русских людей), и особенно процесс этот обострился с разделением христианской церкви на католическую и православную; неприятие духовное почти тотчас подкрепилось неприятием политическим, экономическим, культурным, затем стало выливаться в откровенную вражду, завершавшуюся военными конфликтами, хотя, если посмотреть с точки зрения народной жизни, ни людям Запада, ни людям Востока нечего было делить между собой, а вся суть противостояния заключалась, как ни покажется это мелким, в амбициях и опасениях тронных особ, которым вроде бы нечего было больше делать, как постоянно оглядываться на славянское многолюдство. Теперь говорят, что все будто бы складывалось само собой, стихийно, что никакой доктрины уничтожения славян, я бы уточнил, озвученной, оглашенной, не было и что не только в западном мире по отношению к восточному, но и в восточном по отношению к западному в равной мере (и опять же будто бы стихийно, естественно) пропагандировался «образ врага». В такой трактовке происходивших и происходящих событий есть что-то, но не от правды, а от правдоподобия, которым, как уже не раз говорилось здесь, ученые мужи наловчились за века (и не без побудительных и поощрительных тронных мер) подменять правду; геноцид, развязанный против славян, как и геноцид против кельтов, изначально и по сей день подается как некое простое, то есть очевидное, противостояние религиозных, политических, культурных ценностей, традиционных и нетрадиционных жизненных укладов, причем все, что от славян, неизменно лежит за чертой зла, а все, что от западного мира, возносится в абсолют наивысших достижений человеческого разума; в таком раскладе нет новизны, ибо в свое время все кельтское тоже выносилось за черту зла, а римское являло абсолют истины, затем это повторилось с индейцами Южной и Северной Америки, жившими будто бы в дикости и варварстве и не знавшими ни Бога (разумеется, христианского), ни даже самых элементарных основ великой европейской цивилизации (в конце

концов должны же были во что-то верить убийцы неведомого им чужеродного народа, и хищническая цивилизация, как видим, вполне давала им эту веру); и что же, «цивилизация» привнесена, а народов нет, и убудочная ностальгия хоть по кельтам, хоть по индейцам — разве она не характеризует ярчайшим образом этой навязываемого народам хищнического мироустройства? Да, противостояние Запада и Востока существует, да, «образ врага» усиленно и сегодня пропагандируется и с той, и с другой стороны, но какое отношение имеет это к восточноевропейским (славяне) и западноевропейским народам? Политические, культурные, религиозные ценности — это только видимая часть айсберга, видимый предлог для противостояния или, вернее, оправдание, за которым скрывается истинная цель поводырских деяний — захват мирового господства; к нему стремились и фараоны Египта, и правители Греции, и правители Рима, проходя, в сущности, через двойное соперничество: внутриворцовое, когда схватывались претенденты на конкретный трон, и междворцовое, когда сталкивались между собой престолы сильных держав, и именно в междворцовых схватках крайним, то есть наказуемым, обычно оказывался народ или народы. Ведь чем многочисленнее государство, тем большее войско оно может выставить, а потому и борьба тронов всегда (как, впрочем, и теперь) сопровождалась истреблением так называемой живой силы противника (включая, разумеется, и мирное население как потенциального поставщика этой живой силы). Рим расправился с кельтами потому, что был единой державой; европейские королевские дворы, унаследовавшие от Священной римской империи идею раздробления, преследования и уничтожения славян (идею расширения жизненного пространства за счет обретения восточных земель, как она облагороженно подавалась исполнителям, направлявшимся с мечами и пушками, а затем на танках и самолетах на захват облюбованных просторов), — европейские королевские дворы, не обладая единой державностью (кроме борьбы против славян, они боролись между собой за право господствовать в Европе), перевели осуществление великокарловой доктрины в область перманентных войн и клеветнических измышлений, подключив к этой борьбе и российское (Рюриковичи, Романовы) престольное чужеродство.

ХСIII

Деятельность европейских королевских дворов по раздроблению и оттеснению славян (в Азию, где они, задавленные азиатским многолюдством, со временем должны будут исчезнуть сами собой) изначально была сопряжена с тем, что в России к тому времени уже господствовало престольное чужеродство, которое вполне могло считать себя независимым от влияния правителей центрально-европейских держав (ведь исторически доказано, что Рюрик с братьями не принадлежал ни к какому европейскому княжескому роду, а пиратствовал на Балтике и, захватив сначала Новгородскую землю, а затем и другие земли восточно-европейских славян, утвердил свое господство над этими землями, не согласовав, естественно, свои действия с поводырствовавшими правителями Центральной Европы и не обратившись к ним за поддержкой); обстоятельство это, с одной стороны, было на руку европейским поводырям, ибо среди чужеродных правителей всегда можно найти людей, часто самых влиятельных, которые готовы польститься на «золотого тельца», предав интересы народа, государства ради своих личных интересов, а с другой — окрепшие на российском престоле чужеродцы (сначала Рюрики, затем Романовы) могли сами, имея за спиной такое мощное славянское многолюдство, вступить в соперничество с королевскими дворами за господство в Европе, и обе эти потенциальные возможности — либо пособничество через предательство, либо тронно-амбициозное противостояние — во многом осложнили, казалось бы, простую (если обратиться к римскому примеру уничтожения кельтов), но в то же время требовавшую иных подходов и мер (более растянутых во времени) задачу в достижении исторических, как это воспринималось европейскими коронованными поводырями, целей. Кроме того, Запад, как называют сегодня все те же королевские дворы, сменив-

шие монархические троны на премьерские и президентские кресла, но ни на шаг не отступившие от идеи расширения жизненного пространства за счет восточнославянских земель, то есть от проведения тотального геноцида против славянства (главным образом против России), — тогдашний Запад, я позволю себе так называть его для удобства восприятия, столкнулся еще с одной проблемой — набравшей могущество Византией, которая, обладая несметными, награбленными у народов восточного, северного, южного и западного Присредиземноморья богатствами, хотя и не была многолюдной, чтобы выставлять армии и угрожать державам Центральной Европы, но, оправославив лежавшее к северу от нее на равнинных просторах славянство, обрела столь мощного союзника (Киевскую Русь), что вполне могла претендовать на единодержавный европейский престол. Разумеется, для достижения этой цели ей пришлось бы столкнуться со священным папским престолом, тоже искавшим всеобъемлющей светской (в добавление к церковной) власти, но борьба такая потребовала бы скорее не войско, а умных и виртуозных толкователей христианства, к чему византийские (греческие) отцы православия тоже были готовы. Однако вернемся к византийско-славянскому союзу, работавшему вроде бы и на усиление Византии, и на усиление Киевской Руси. Ведь сегодня мало кто знает, что за свои так называемые «православные щедроты» — религиозное учение, государственность, культуру, коими в свое время Константинополь «одарил» нас, навязав, по сути, чужеродную духовность и чужеродное мироустройство, как некое благо, оказавшееся для нас ярмом порабощения, — да, мало кто знает, что за свои «щедроты» византийцы потребовали от Киевского Великого князя Владимира; они предложили ему заключить договор о вечном вассальстве, то есть прямом подчинении Киевской Руси Византии, что, впрочем, и было исполнено (при обстоятельствах, которые до сих пор остаются неоглашенными) нашим славным крестителем. Об этом кабальном документе и в год крещения почти никто ничего не знал на Руси (особенно коренной люд, смерды, полностью отторженные от созидания общественной жизни); да и как можно было огласить правду, если славянство по этому договору навечно лишалось самостоятельности? Действие этого позорного документа прекратилось лишь с падением Византии и женитьбой Ивана III на внучке последнего константинопольского монарха. Но Запад (еще раз обращусь к этому обобщенному понятию), духовно наставлявший и благословлявший священным папским престолом, был хорошо осведомлен о взаимоотношениях Византии и Киевской, а затем Московской Руси, видел в этом альянсе прямую для себя угрозу и, когда османские турки подступили к Константинополю, не только не оказал помощи братьям по христианству, но, по существу, отдал православную столицу, а вместе с ней и всю Византию на разорение наседавшим мусульманским полчищам. Чем такое предательство обернулось для самой Европы, известно; и не случайно многие нынешние политики сожалеют, что подобное предательство было совершено, но тогда — поводырствовавшие державные правители удовлетворенно потирали руки, ибо, во-первых, избавились от потенциального соперника на европейское единодержавство, и, во-вторых, духовно, да, именно духовно, как полагали, обескровили восточнославянское многолюдство. Однако довольно скоро выяснилось, что с падением Византии восточное славянство вовсе не ослабло (здесь, видимо, вернее было бы говорить о варяжских правителях, укоренившихся на славянских землях), что оно достаточно еще может проявить себя, что актуальность великокарловой доктрины еще не утрачена, что достигнутый успех есть только первый шаг на пути ее осуществления, и что надо делать второй, третий, четвертый, пятый, продвигаясь таким образом к намеченной цели, и хотя у европейских королевских дворов, действовавших совместно со священным папским престолом, было достаточно и времени, и возможностей, чтобы проявить свои стратегические способности, но, привыкшие в своих деяниях обычно попугайно оглядываться на прошлое (ведь и нынешние правители, если разобраться, не смеют ни в чем отступить от канонов фараоновской державности), они не могли придумать ничего лучшего, как только повторить вариант византийского породнения, благо и подходящая невеста для мос-

ковского великого князя была у папского престола под рукой — бежавшая от турецкого ига внучка последнего византийского монарха. Дело это представлялось его зачинщикам абсолютно беспроницаемым, ибо хотя греческая (византийская) принцесса и была пригрета Ватиканом и обращена в католичество, но имя ее связывалось с бывшим византийским императорским двором, что должно было соответственным образом повлиять на московского великого князя Ивана III и его боярско-церковное окружение, и в то же время многим обязанный папскому престолу, оказавшему ей царское покровительство, Софья вполне могла бы в нужном направлении влиять на своего престолодержателя супруга. Кому из западноевропейских правителей явился этот долговременный (с просчетом на века, как подтвердила история) замысел, теперь трудно сказать; возможно, он исходил от самого папы, чему есть множество хотя и косвенных, но все же достаточно убедительных подтверждений (на их основании историки как раз и склонны считать, что у священного папского престола была своя цель — обратить православное славянство в католическую, латинскую, как говорили тогда, веру), но дело не в том, кто предложил этот роковой для будущего России план повторного породнения (теперь уже с папским престолом), а в том, что за его претворение взялся именно папский престол и, отдадим должное, святые отцы католической церкви блестяще справились с возложенной на них миссией. Между Ватиканом и Москвой начались интенсивные сношения, инициировавшиеся, конечно же, Ватиканом, и — не прошло и года, как греческая (византийская) принцесса Софья, вновь окрестившаяся в православие, торжественно была введена в кремлевские великокняжеские палаты. Официальные толкователи этого события полагают, что, приняв православие, Софья уже не несла никаких обязательств по отношению к католичеству (читай: к европейским королевским дворам, возлагавшим далеко идущие — хотя и не оглашенные, тайные — планы на ее католическую, а в сущности, западноевропейскую приверженность), и потому, дескать, нельзя обвинять ее в насаждении чужеродства в России, но исторические свидетельства говорят о другом; во-первых, вместе с ней и вслед за ней в Москву прибыла такая масса чужеродцев (греков, как пишут историки, в чем, впрочем, можно усомниться, если учесть, что она прибыла из Рима, и что свита ее составлялась папским, да и не только папским престолом), что Москва оказалась в затруднении разместить их, и, во-вторых, с ней вместе перекочевала в российскую столицу вся атрибутика византийской императорской власти с геральдическим символом — двуглавым орлом, утвердившимся затем на государственном флаге России, окончательно лишив ее каких-либо самобытных начал. В единой России (если, конечно, не считать разделения на варяжское боярство и славянское простонародье) с приходом Софьи наметилось идеологическое (на западничество и славянофильство) расслоение, которое затронуло прежде всего дворцовую знать, князей и высокородных бояр, и впервые на Руси (и по настоянию Софьи, на что Иван III согласился, будучи уже на смертном одре) на полом месте против Кремля были сожжены на костре славянофильствующие еретики (официально они были приговорены за приверженность к старым канонам в церковной обрядности), и никто тогда не мог, разумеется, предположить, что спустя столетия раскол этот перекинется на народные массы и обернется для них нескончаемым чудовищным драматизмом. Чтобы окончательно утвердить западное влияние на российском престоле, Софье удалось с помощью дворцовых интриг сделать своего сына Василия (несмотря на то что у Ивана III был старший сын от первого супружества, названный Иваном, который по всем российским законам обладал правом на отцовский стол) наследником великокняжеского титула. Будущий Иван IV еще при жизни отца был отстранен от наследования, а сын Софьи Василий, ставший великим князем Василием III, заточил его в темницу, куда издевательски, иначе не скажешь, была доставлена причитавшаяся ему доля отцовской казны, и где, не выдержав заточения, то есть одиночества, он так и умер от тоски и истощения среди раскрытых ларцов с драгоценностями; хоронили его (опять же словно в насмешку) со всеми великокняжескими почестями, и шедший за гробом Василий III (мож-

но сказать, убийца) картинно ронял слезы по безвременной смерти брата. Жестокость эта, сопровождавшаяся показным милосердием и потрясшая современников, не может не потрясать и нас своим утонченно (или артистически) царским садизмом, и не случайно Василий III, сделавший казни (в основном казни славянофильствовавших бояр, как мы бы сказали теперь) ритуалом дворцовой жизни, именовался первым самодержцем Руси. Не имевший детей от брака с Соломонией и заточивший ее в монастырь, Василий III женился на литовской княжне Елене Глинской, и родившийся от нее сын Иван, ставший затем царем Иоанном Грозным, чтобы усилить богоизбранность свою и своей царской (тронной) власти, объявил себя прямым потомком римских цезарей (точнее, римского императора Тита) и был при этом не так уж далек от истины, если брать во внимание родословную бабушки — греческой (византийской) принцессы Софьи Палеолог. Его ненависть к боярам, с которыми он беспощадно расправлялся, официально имеет двойное толкование: с одной стороны, от необузданного гнева (признак дурного воспитания или влияния), тогда как если разобраться, гнев этот имел национальную (что в общем-то присуще любому престольному чужеродству) подоплеку — болезненное неприятие чуждых по крови и духу высокородных вельмож, нет-нет да и порывавшихся претендовать, как и он, на российский престол, и неприятие это в еще большей степени проявилось в отношениях его к коренному люду (достаточно вспомнить его расправу над Тверью, Новгородом, Псковом). Но, к сожалению, ученые мужи, занимающиеся толкованием царствования Иоанна Грозного, обращают внимание прежде всего на фактические деяния самодержца и странно (во всяком случае, создается такое впечатление) обходят стороной главную причину его тиранства, вытекавшую из его чужеродства; в конце концов не случайно же, выступая перед боярами и духовенством в Александровой слободе перед возвращением в Москву, он начал речь со слов: «Русские люди виноваты перед нами, Великими Князьями, сколько нам пришлось натерпеться от них...» У меня нет полного текста, и я не могу привести его здесь, как не приводят его в своих фундаментальных трудах по российской истории (возможно, по каким-то своим соображениям) ни Карзин, ни Соловьев, ни Костомаров, ни Ключевский.

XCIV

Мне давно уже представляется странным то обстоятельство, что ученые мужи от исторических и философских знаний, должны вроде бы пристально следить за ходом становления и развития человеческих сообществ (становлением общественных отношений и общественного бытия), словно бы не замечают или скорее не хотят замечать, что общение народов давно уже перестало выполнять функции взаимообогащения во всех тех сферах жизни — политической, экономической, духовной, культурной, научной, — от которых зависит либо ускоренное, либо заторможенное движение к прогрессу и процветанию, и обрело (или, вернее, его просто-напросто ловко приспособили поводырствующие особы для удовлетворения своих тронных нужд) значимость ползучего поработительства; да, общение народов в его нынешнем (и, возможно, уже завершённом) варианте являет собой глубоко продуманную и умело объясненную или, точнее, изящно прикрытую правдоподобием систему ползучего проникновения чужеродства в самобытную жизнь народов (разумеется, с целью установления господства), и, чтобы убедиться в правоте сказанного, вовсе не нужно прибегать к какому-либо особо научному изысканию, а достаточно только обратиться к реальному ходу исторических и текущих событий и согласиться, да, всего лишь согласиться с подсказанным этой реальностью выводом. Фараоны, объявившие себя внеземными пришельцами (наукой до сих пор, повторю, не установлено, откуда они явились и в каких землях формировалось их хищническое мировоззрение), — номинально считалось и считается, что они принесли египтянам культуру и цивилизацию, а фактически оказалось, что принесли сорокавековое раб-

ство; то же самое случилось с древними греками, куда ползуче доставлялись фараоновская дворцовая культура и абсолютистская государственность (цивилизация, как принято называть все это), а затем с италиками и другими людскими сообществами на Апеннинском полуострове, куда проникли вкусившие фараоновской державности греки и где возвели Рим, ставший центром силового и духовного порабощения народов Присредиземноморья и Европы; подобным же приемом были уничтожены многие большие и малые народы, в том числе кельты и американские индейцы, а теперь идет истребление славян, главным образом восточных, российских, но ученые мужи от исторических и философских знаний (что отечественные, что зарубежные — одной пробы) продолжают убеждать мировое сообщество (с нацеленностью прежде всего на российское простонародье, веками державшееся в историческом невежестве, да во многом и на нашу хвостовилиющую перед любым иностранством интеллигенцию), что уже само понятие «Запад» есть синоним всего передового и прогрессивного, что изобретено человечеством, и чем Запад готов будто бы бескорыстно поделиться с другими (отсталыми, надо полагать) народами. Звучит, как, впрочем, звучало и прежде, красиво, даже заманчиво, но давайте обратимся к реальной действительности и посмотрим хотя бы на примере России, что она обрела и что потеряла от проникновения в нее сначала византийского, а затем западноевропейского чужеродства. От Византии, как утверждают историки, Россия получила религию, государственность и культуру (и вассальную зависимость, о чем те же, естественно, историки предпочитают не вспоминать); но принесло ли это хоть какое-то облегчение русскому народу? Нет. Культура оказалась дворцовой, хотя и пытаются объявить ее народной, государственность оказалась лишь благодеянием для правящей элиты (чистейшей воды византийский вариант, и ничего другого и не могло быть) и ярмом крепостничества для народа, а религия превратилась в орган примирения обездоленных масс с их обездоленной судьбой. Но мы продолжаем преклоняться перед греками, опорочившими религию наших предков (впрочем, язычество было веселым и жизнеутверждающим верованием, побуждавшим к деятельности, а не к смирению и молитвенным бдениям, как христианство), ставим в их честь церкви, золотим иконостасы и возводим памятники, не задумываясь над тем, что чтим и возвеличиваем своих поработителей; да, мы даже отдаленно не представляем себе, что вся так называемая благодетельность от Византии являла собой не больше и не меньше как духовно-поработительскую экспансию, которая затем, после второго породнения, но уже не с Константинополем, а со священным папским престолом (женитьба Ивана III на Софье Палеолог), приняла откровенно жесткий, целенаправленный на ослабление славянского многолюдства характер. Летописцы отмечают, что уже сразу после крещения (после подписания Владимиром вассального договора) трудно было заметить хоть какое-либо славянское, не варяжское, нет, а именно славянское лицо в великокняжеском дворце и на великокняжеском подворье; с появлением Софьи Россия вторично, и теперь еще более основательно, пополнилась сонмом влиятельных чужеродцев, которые почему-то, а впрочем, известно, почему, хотели все больше быть при великокняжеском дворе, занимать ведущие должности, иметь княжеские и прочие титулы, и не хотели превращаться в простых, то есть рядовых и безвестных тружеников (роль эта безоговорочно отводилась коренному народу России, то есть смердам). Кто дирижировал этим ползучим чужеродством, кому и для каких целей было выгодно столь настойчиво наводнять Россию иноземством? Русским людям, славянам, которые не просто оттеснились от управления страной, управления своей жизнью, но все глубже и глубже загонялись в физическую и духовную кабалу? Нет, это надо было, с одной стороны, укоренявшемуся на нашей земле престольному чужеродству (варягам Рюриковичам и немцам Романовым), чтобы было на кого опереться в силовом (рэкетирском) давлении на поработщенный коренной народ, а с другой — европейским королевским дворам вкупе со священным папским престолом, обремененным идеей *Lebensraum*, то есть расширением жизненного пространства за счет восточноевропейских (славянских) земель и нейт-

рализацией (чтобы не употреблять слово «геноцид») славянского многолюдства. Киевские и московские великие князья из династии Рюриковичей, а затем Российские цари и императоры из династии Романовых своей прозападной ориентацией (возможно, даже искренней, ибо у них было, вернее, не могло не быть своего национального тяготения) творили на Руси живую историю, то есть деяния, от которых страдали и продолжают страдать русские люди, ученые мужи от папского престола и европейских королевских дворов (позднее их засильем славилась и Российская академия) излагали ее, конечно же, в своей интерпретации, вознося на пьедесталы величия тех великих князей, царей и императоров, кои если не поощряли, то и не препятствовали насаждению чужеродства в России (народ, естественно, не брался в расчет или рассматривался в качестве быдла), и порицая или даже прибегая к физическому уничтожению тех, кто проникался хотя бы и великокняжеским или царским (российским, ибо они считали ее своей вотчиной) патриотизмом. Почему, скажем, Бориса Годунова на Западе уже при жизни величественно называли просвещенным монархом (оценка эта распространялась, а затем и укоренилась у нас)? В отечественной истории мы не находим этому никакого разумного объяснения, как, впрочем, нет разумного объяснения и в западноевропейской историографии; но если обратиться к указам этого российского самодержца, запятнавшего себя убийством царевича Дмитрия, — да, если обратиться к его царским указам, из которых следует, что он пачками, да, именно пачками жаловал дворянством всех без разбору приезжавших в Россию иностранцев — ловцов званий, чинов и легкой жизни (дворянство получали не только именитые и неименитые хозяева, но их слуги, становившиеся владельцами деревень и крепостных душ), то великодушие Запада к Борису Годунову уже не требует объяснений. Следующей знаменательной фигурой в насаждении чужеродства на российской земле можно считать Петра Великого (еще раз хочу оговориться, что пишу не перечислительную историю, а обращаюсь лишь к наиболее типичным и наиболее значительным деятелям нашего государства, которым не просто чужда была славянская самобытность, но которую они всячески стремились подавить засильем во всех областях жизни так называемого евроума и евроблагородства); он точно так же, как и Борис Годунов, признается в Европе самым, может быть, просвещенным и деятельным российским самодержцем, его портретные и скульптурные изображения можно увидеть почти во всех картинных галереях европейских столиц, о нем написано неисчислимое количество биографических и художественных книг, он назван Великим и на Западе, и у нас (по зеркальной отраженности именно этого присвоенного ему Западом величия), тогда как петровская эпоха для коренного русского люда (так называемая реформаторская эпоха) была и остается лишь тяжелым памятным бременем, сравнимым разве что с гуннским (или аварским) беспределом, после которого жалкие толпы славян скитались вдоль рек, ища пристанища на испепеленной земле и пугаясь всякого звука, напоминающего топот надвигавшихся конных (азиатских, разбойных) лавин. Теперь пишут, что так уж случилось (традиционное и исчерпывающее вроде бы наше объяснение), что Петр, пристрастившийся ходить в Немецкую Слободу, вынес из нее (вольно или невольно, пока все еще остается непроясненным) любовь ко всему западноевропейскому и неприятие, если не сказать большего, ко всему отечественному, русскому, помеченному будто лишь невежеством и самодурством (невежеством и самодурством помещиков, то есть людей пришлых, помещенных, не имевших никакого отношения к жизни и традициям русских людей и не желавшим знать о них); однако естественно в таком случае задаться вопросом: если немецкое благочестие, на котором воспитывался Петр, является действительно благочестием, то откуда у молодого самодержца, едва успевшего возложить на голову корону, обнаружилась страсть к тиранству, словно нечто от времен мрачного средневековья, от костров инквизиции? Я имею в виду расправу над стрельцами, проведенную им с таким царским маньячеством, что Россия вздрогнула от ужаса и притихла, а Европа, что ж, просвещенная Европа сразу же после означенных кровавых деяний чуть ли не с распростертыми объятиями приняла молодого

го российского монарха. Знали ли в королевских дворах правду о расправе над стрельцами? Знали, хотя у нас в России она до сих пор не оглашена, ибо стрельцов казнили не за то, что они восстали против законной власти, а за то, что представляли собой силу, способную противостоять онемечиванию, как тогда говорили, русской земли, и европейские королевские дворы вкуче с папским престолом, направлявшие (утонченно, скрытно, через посредничество Немецкой Слободы) волевою деятельностью российского самодержца, не могли допустить, чтобы на достаточно уже оккупированной ими (ползучим проникновением) славянской земле восторжествовало русское, а не западноевропейское начало. Возможно, сам того не подозревая, молодой Петр взялся с присущей ему царской лихостью и вседозволенностью орудовать геноцидным топором против своего же народа. Порубив на Красной площади стрельцкие головы, развесив их на крюках по Москве и наказав при этом не снимать до его возвращения, он укатил в просвещенную Европу набираться ума-разума, как трактуется это в официальной историографии. Странно, но факт и, пожалуй, более чем объяснимый, что в просвещенной Европе, которая и сегодня так любит покичиться своим исконным будто бы гуманизмом, не нашлось никого, кто хотя бы попытался осудить молодого российского самодержца; напротив (и, может быть, именно через его кровавое деяние), европейские правители даже вроде бы ощутили некое родство душ (ведь им для их геноцидных целей нужен был прежде всего «свой» человек в чужом народе), и за услуги, которые надеялись получить и получили от него (онемечивание российского трона, то есть тронной власти, да, впрочем, и не только ее), они готовы были простить Петру и простили, если брать по большому счету, и взятие Азова, и разгром шведов, и прибалтийские земли, присоединенные к России; да, они простили Петру все, назвав деяния его великими, но не простили, как показывает история, этих сугубо петровских захватнических устремлений русскому народу, обратив славу самодержца в агрессивную (имперскую) политику восточных славян. Что ж, Петр велик, Западная Европа, как же на Цезаря,— вне подозрений, а русские люди, объединенные (в восприятии европейцев) в понятии «славянское многолюдство», только о том вроде бы и думают, как бы захватить и поработить «просвещенные» западноевропейские державы. Ничего не скажешь, неверно, но впечатляюще, а главное, нет даже намека на геноцидную политику против славян.

XCV

Царь Петр называл западноевропейских монархов, полководцев, дипломатов, политиков своими учителями, и тут не было с его стороны ни наигранности, ни показной лести, ни самоуничтожения от великодушия, как некоторые позволяют себе сегодня истолковывать поведение российского самодержца; но весь вопрос в том, действительно ли это были уроки побед, из которых выстраивалась или, вернее, которыми прокладывалась дорога к будущему величию и славе России, величию и славе русских людей, или же в перспективном замысле этих петровских (откровенно продиктовывавшихся на правах учителей европейскими королевскими дворами и папским престолом) деяний лежало нечто совсем другое, что скорее напоминало закладку фундамента для новоевропейской барской (в программе *Lebensraum* для тронов и тронных особ) жизни, чем фундамента под достижение общенародного блага. С народа, как говорили тогда (и что в десятикратном увеличении происходит теперь), драли три шкуры; русский крепостной крестьянский люд, задавленный помещичье-чиновными поборами и царским рекрутированием в солдаты, на рудники, заводы, на строительство Парадиза (Санкт-Петербурга, возводившегося на болотистых берегах Финского залива), на строительство всевозможных меньшиковских и шереметьевских (и рангом поменьше) дворцов, которые и сегодня иначе не воспринимаются, как центры рэкетирства, насилия, барства,— задавленный всем этим непосильным диктаторством, русский крепостной крестьянский люд совершал военные и трудовые, как пишут теперь, подвиги отнюдь не ради своего будущего благополучия (Санкт-Петербург, в сущности, стоит на костях этих безвестных крепостных

5. «Октябрь» № 10

крестьянских тружеников, которые и тогда, и затем в потомках вполне могли бы представлять цвет нации), а ради чуждой им дворцовой, барской, помещичьей, то есть тронноавязанной им иноземной жизни. Политики, историки, философы утверждают, что строительством Парадиза (Санкт-Петербурга) Петр сделал для России великое дело — прорубил окно в Европу (звучит так, будто прорубил окно в рай, и все мы, то есть русские люди, Россия, получив доступ к цивилизованным плодам рая, начали процветать и процветаем донныне, воздавая хвалу своему земному спасителю). Но задавался ли кто-нибудь всерьез вопросом: что на самом деле принесло нам это прорубленное в Европу окно, больше вреда или больше пользы, и если пользы, то какому слою общества, вернее, кто и для каких целей мог использовать и использовал это окно? Говорят, что Россия получила широкую возможность торговать с Европой. Думаю, утверждение это вряд ли кто-то возьмется отрицать, как, впрочем, бесспорно и то, что Россия вступила в семью морских держав и усилила свои оборонные возможности; но, спрашивается, какой прок от этой расширившейся торговли и усилившейся обороноспособности для закабаленного славянского люда, который как жил при крестителе Владимире, при Ярославе Мудром, при всех других великих князьях, тоже добывавшихся выхода к Балтике (Иоанн Грозный), при царях Михаиле, Алексее, Петре, царицах Анне, Елизавете и Екатериане, при Павле, трех Александрях и двух Николаях, при вождях победившего пролетариата, а теперь при демократах,— да, спрашивается, какой прок от петровских (да и всех иных) завоеваний коренному российскому люду, который как жил в убогих, подслеповатых (из-за своей обобранности) избах и пять, и десять веков назад, так живет и сегодня, в сущности, в условиях беспросветного рабства? Прока нет, а есть только ущерб (как некая будто бы награда за добывание величия и славы России), есть только зло, привносимое и насаждаемое (теперь уже через настежь распахнутые двери) радениями престольного чужеродства, и Запад вполне может торжествовать победу, вглядываясь в свои геноцидные усилия против славянского многолюдства. Чужеродцы (главным образом немцы, как свидетельствует история) с благословения Петра, а затем и с благословения всех последовавших за ним монархов, вождей революции и так называемых новейших реформаторов от демократии, прежде всего устремлялись во власть — в министры, генералы и губернаторы, затем в науку, основывая для себя академии и университеты и запуская их, в литературу, искусство, живопись, архитектуру, в медицину и образование (просвещение), наконец в религию, ибо православие, как, впрочем, и католичество, есть важнейший в руках тронных инструментов зомбирования масс, успешно подменяемый ныне всеохватными, многократно превышающими по коэффициенту воздействия электронными и неэлектронными СМИ,— да, никто вроде бы даже не заметил, как все это за последние полтора-два столетия оказалось в руках чужеродцев, которым как была, так и остается чуждой славянская самобытность, славянские традиции и устои жизни, славянская история, то есть все то, что является корневой основой нации, формирующей ее жизнеспособность и жизнестойчивость. Русских людей оттеснили не только от созидания общественной, государственной, а в итоге своей национально-ориентированной жизни, но и от тех высших творческих проявлений (в литературе, искусстве, живописи, музыке, тут я вынужден повториться), коими всегда определялось духовное развитие народа, народов, и что у нас в России почти полностью оказалось в руках иноземных (пришлых, обзаведшихся уже на российской земле высокородством) светил. Наверное, было бы несправедливо утверждать, что все эти прибывавшие и продолжающие прибывать к нам иноземные светила (укореняясь, они вырастают в династические древа так называемых «отечественных иноземцев», теснят и подминают уже во всех управленческих сферах жизни коренной славянский люд), да, было бы несправедливо утверждать, что иноземные светила, в любом колене испытывающие (и это естественно, это от природы) ностальгию по своим национальным традициям, своим жизненным устоям, ничего не привнесли в развитие культуры, искусства, наук, в устройство

(рэкети́рское устройство) государственности; нет, отчего же, привнесли и даже возвысили, если судить по навязываемым (и мало что общего имеющим с действительностью) официальным оценкам, до высот мирового значения, а с другой стороны, если разобраться, все, что они привнесли, они привнесли для себя, для удовлетворения своих эстетических потребностей, то есть для облагораживания своей жизни в заснеженной и холодной России, оставляя в крепостническом, то есть скотском, положении (геноцид этот, впрочем, продолжался не только в царские, но и во все постцарские времена, включая и наше, реформируемое демократами) коренной славянский, да и не только славянский, люд. Дворянская культура — это не культура русского народа; это культура дворцовых элит, ее творят, ею питаются, в ней живут определенные, избранные (династические) кланы, у которых свое (по их пришлости) родство, своя спаянность, своя жесткая закольцованность, то есть, сказать иначе, свои кордоны, способные преградить путь всякому, кто из народа, из низов попытается проникнуть к ним; ведь не случайно именно у нас, в России, проявление духовности четко и устойчиво подразделено на так называемое народное творчество (хороводы, частушки, гармонь) и на то... что подается на стол общественной жизни так называемыми народными артистами, писателями, композиторами, художниками и другими «народными» деятелями (что означает, если огласить заложенный здесь подтекст, что хотя сии творцы и не имеют никакого отношения к коренному славянскому люду, но настолько, дескать, прониклись пониманием славянской души, славянскими традициями и устоями, что уже куда более народны, чем сам народ, и, естественно и, может быть, прежде всего должны получать некие особые блага за умение, будучи чужеродцами, изобразить — да еще как изобразить! — народную жизнь, разумеется, в назидательно-поучительных — по своей заданности — целях). Народ со своим творческим проявлением ютится, и это в лучшем случае, в сельских или заводских клубах, то есть существует на самостоятельной основе, и ему заказан выход за пределы этих ограничивающих его рамок; уже более десяти столетий народное творчество жестко законсервировано или, вернее, стагнировано в русле, как уже говорилось, хороводов, частушек, гармошек, тогда как для проявления элитной духовности (высшей или дворцовой, по достижениям которой почему-то — впрочем, известно почему — принято определять уровень цивилизованности того или иного народа), — для проявления элитной духовности возводятся театры, студии, концертные залы, учреждаются профессиональные учебные заведения за счет государственных средств или по крайней мере под высоким патронажем властей и банковско-промышленных олигархов; народ ходит просвещаться в сельские и заводские клубы и стагнируется на этом обретенном уровне развития (что, наверное, невозможно впрямую назвать геноцидом, но что фактически является таковым), элита заполняет театры и концертные залы, приобщаясь к шедеврам классической и современной духовности, к высшим (опять же элитным, дворцовым) ценностям, впитывая их и живя ими точно так же, как простонародье живет своей простонародной жизнью; иначе говоря, одним сельские избы (за их крестьянский труд и принадлежность к народу), другим дворцы и роскошные (многокомнатные) городские квартиры за то, что умеют изображать на подмостках народ (разумеется, и царей, цариц, князей, графов, баронов, полководцев и рыцарей — случай, когда они играют самих себя), и эта узаконенная несправедливость странным образом ни у кого не вызывает ни возражений, ни сомнений. Конечно, можно пофилософствовать, что, кроме самородного таланта, творческому человеку нужна еще и высокая образованность; что верно, то верно, но кто в крепостной России, да и в нынешней, в которой вновь введено платное обучение, — кто в таких условиях может получить высшее (хотя бы даже законченное среднее) образование? Людям из народа оно недоступно, а если и доступно, то считанным на страну единицам, тогда как чадам из имущих (элитных) семей открыты все высшие отечественные и зарубежные учебные заведения; вот и выходит, что униженные и бедные (положение славян на своей земле) всегда будут оставаться униженными, бедными и ма-

лообразованными, то есть в ранге никчемного, второразрядного народишка, а богатые и власть предрежащие, сообразованные в непробиваемые элитные кланы вокруг престольного чужеродства, всегда будут выглядеть людьми высокообразованными, светскими, то есть избранными и чуть ли не богоизбранными, единственно способными занимать руководящие посты как в государственной, так и в общественной жизни, и быть выразителями так называемой народной духовности. Такой расклад жизни в России (в славянском сообществе) сложился не вчера, не позавчера и уж, конечно же, не сам собой, и исток его как раз и следует искать в геноцидной — против славянского многолюдства — политике европейских королевских дворов и в действиях, если по нынешним временам, Соединенных Штатов Америки, перетянувших к себе трон мирового господства. Россия поэтапно, как об этом уже было сказано выше, насыщалась (или разбавлялась, что, возможно, вернее) ползучим чужеродством; два последних и, как мне кажется, решающих этапа в деле славянопритеснения и славяноистребления выпали на наш век — год семнадцатый, экспортированная к нам с Запада революция, вслед за которой морем и сушей хлынули чужеземцы словно в некую вновь открытую Америку (по крайней мере так была понята ими суть происходившего), где надеялись безнаказанно, потеснив и истребив туземное (коренное, славянское) население, укорениться на богатейших землях Украины, Белоруссии, средней полосы России, Поволжья, Урала, Сибири (ведь сегодня документально подтверждено, кем и с какой далеко идущей целью были спровоцированы голод в двадцать первом и тридцать третьем годах на Украине, в Белоруссии, в России и последовавшие затем процессы по уничтожению крестьян — раскулачивание и коллективизация, а также репрессии против мыслящей интеллигенции), и второй этап — конец восьмидесятых и начало девяностых годов, когда повалили к нам новые толпы за куском дармового реформаторского (славянского) пирога и на мед грабительских приватизаций народной (российской) собственности. Думаю, ничто в этом процессе не происходило само собой, как это пытаются представить нам иерархи от политических, исторических и философских знаний, да и русский народ не настолько глуп, чтобы раз за разом подвергать себя саморазорению; это только в традиционно онемеченных академических умах (и с благословения заинтересованного в этом Запада) могла родиться теория некой стихийной славянской предрасположенности к саморазорению, тогда как, повторю, все, что происходило и происходит с нами, планировалось и осуществлялось не одним (со времен Карла Великого) поколением западноевропейских, а теперь и американских (США) правителей, дипломатов, политиков, стратегов силового и ползучего порабощения, да, не одним поколением (и не только против славянского многолюдства) экспертов по экономическим и духовным удушениям, а также поколениями финансовых (ростовщики-монополисты), нефтяных и промышленных королей, сумевших (только за последние полтора-два столетия) сосредоточить в своих руках все основные жизнеобеспечивающие ресурсы Земли.

ХСVI

Историки и философы современности, как, впрочем, и прошлых времен, старательно избегают слова «геноцид» применительно к славянскому многолюдству, будто программа такая никогда не задумывалась и не осуществлялась европейскими королевскими дворами и не осуществляется (то прямым, то косвенным дирижерством) в наши дни Соединенными Штатами Америки; драматическую историю славян, прежде всего восточноевропейских, российских, переводят (и это в лучшем случае) в русло некоего естественного противоборства, словно бы и на самом деле не полчища с Запада, уподобившись диким азиатским ордам, поэтапно вторгались с захватническими, поработительскими целями на земли славян, а Россия, то есть русские люди, обрушивалась некими крестовыми походами на Западную Европу, побуждая народы (европейские народы) к самозащите; не знаю, что может быть кощунственнее подобной так называемой

«научной» интерпретации известных исторических событий, ибо русские люди не нападали, тем более на Западную Европу, а только защищались от ее кровавых нашествий, которые, впрочем, хорошо известны в истории, как известно и то, кем и с какой целью они организовывались и чем заканчивались, а неизвестным (точнее, неоглашенным) и по сей день остается лишь то, что все они в той или иной степени были следствием (можно сказать, прямым продолжением) многовековой геноцидной политики европейских королевских дворов против славянского многолюдства. Заговор это или не заговор против славян — спор не может быть переведен в плоскость терминологических изысканий; как и у сторонников признания заговора, так и у его противников есть свой взгляд на драматическую историю русского народа и свои обвинительные и оправдательные аргументы, но реальная действительность однозначно говорит нам, что явление геноцида против славянского многолюдства столь же бесспорно, как бесспорны зафиксированные в истории расправы над кельтами и американскими индейцами, и весь вопрос заключается лишь в том, что, признав (под нажимом мирового сообщества) политику истребления кельтов и американских индейцев прямым геноцидом против этих народов, историки и философы не хотят (или не могут, что ближе к истине) признать геноцидом продолжающуюся вот уже более десяти столетий политику притеснения и травли славян западноевропейскими державами. Да, я готов снова и снова повторять, что вопрос не в том, проводится или не проводится геноцид против славянского многолюдства (в конце концов факты неопровержимы), а в том, что перманентные беды русского народа, начавшиеся с приходом Рюриковичей (с утверждением ими престольного чужеродства, если точнее), не рассматривались и не рассматриваются нашей исторической наукой в свете творившегося и творящегося против нас геноцида, и такое игнорирование очевидного (и определяющего для нас, славян) исторического явления, мягко говоря, не делает чести светилам от исторических и философских знаний. Я понимаю, что в одной главе, да к тому же заключительной, невозможно обозреть все, что столетиями творилось и продолжает твориться со славянским людом и вокруг него, тем более что в третьей книге этого повествования пойдет куда более подробный разговор о заданном европейскими королевскими дворами российском драматизме, о котором, начиная чуть ли не с несторовских времен, умалчивается в нашей так называемой «научной» историографии, а чтобы высказанное здесь (в качестве предисловия, можно и так оценить) соображение не показалось декларативным, попытаюсь хотя бы схематично, то есть в обобщенном, хребтовом варианте, представить всю поэтапную последовательность развивавшихся исторических событий. Еще несколько веков назад выезжавшие за кордон русские люди начали замечать, что не только в элитных (дворцовых) кругах, но и в народе устойчиво бытовало самое негативное отношение к России и прежде всего к российскому славянству; русских людей вроде бы как боялись, словно они и в самом деле угрожали просвещенной Европе и готовились проглотить ее; да, уже тогда, более пяти столетий назад, среди западноевропейцев последовательно насаждался «образ врага» в лице России (как в свое время последовательно насаждался «образ врага» в лице кельтов), и, чтобы подобная пропаганда имела воздействие, нужны были по меньшей мере достаточно правдоподобные версии об агрессивности и дикости славян, а чтобы иметь эти версии, нужно было либо фальсифицировать историю, либо прибегнуть к приему умолчания тех фактов истории, в которых славяне выглядят доверчивыми, добронравными, миролюбивыми, и выпячивания тех, в которых (хотя и не по своей воле) они оказывались втянутыми в те или иные кровавые авантюры. Во-первых, вроде бы за ненадобностью были буквально похоронены работы Геродота и Тацита о славянах как о народе с мягким и доброжелательным характером (в сопоставлении с германскими племенами), и, во-вторых, в почти недосыгаемые анналы были запрятаны записки известных греческих (римских) историков, ходивших в страну «славных Гипербореев»; убрав таким образом корневые истоки русского национального характера, то есть

убрав барьер правды, мешавший им развернуться, западноевропейские, а следом и наши отечественные (онемеченные, или, вернее, заправленные чужеродством) академические умы получили полный простор для самых произвольных (очерняющих народ и восхваляющих рюрико-романовское престольное чужеродство) искажений и толкований истории России, восточноевропейского славянства и славянства вообще. Хотя известно (именно по Геродоту и Тациту), что славянские племена издревле обитали в Европе и занимали территорию от Днепра до Рейна, от Балтийского (Варяжского) до Средиземного моря и никогда не были народом кочевым, а занимались земледелием и имели высокоразвитую культуру и цивилизацию (многие греческие олимпийские боги напрямую взяты из древнеславянской мифологии, поскольку имена их имеют славянскую корневую основу), но все это не просто было забыто историками и философами Запада, а целенаправленно опровергалось ими, подавлялось и затмевалось появившимися новыми (словно грибы после дождя) теориями, исследованиями и предположениями, из которых следовало только одно, что если славяне и не азиаты в полном смысле этого слова, то уж тем более не европейцы, ибо представляют собой вечно кочующий, вечно ищущий благ народ (отсюда индогиперборейская версия), что по укладу жизни их можно скорее отнести к скифским или сарматским племенам (отсюда теория тавроскифов), что основным занятием их было военное ремесло и что жили они только тем, что шли в наемники к чужеродным властителям, главным образом к азиатским, да и к византийским и римским, а когда не было подходящей «работы», совершали разбойные набеги на близлежащие народы, то есть материально обеспечивались грабежами и разбоем (как видим, здесь уже очевидная и беспардонная подтасовка фактов, а вернее, прямая и целенаправленная ложь, должная пробудить у мирового сообщества ненависть и гнев против славян); в довершение ко всему возникла даже такая версия, будто некие европейские купцы — рахдониты, — захватившие в свои руки «монополию караванной торговли между Китаем и Европой» (знаменитый Шелковый путь), нанимая славян для охранных целей, то есть давая им работу, если современному, обеспечивали им возможность к существованию, и — нужно ли еще что-либо добавлять к исторической будто бы агрессивности славян? Однако здесь следовало бы заметить, что авторы этой запущенной в обиход версии не ссылаются в своих утверждениях ни на какие источники, но если нечто подобное и имело место в истории, то должно было происходить, судя по приметам, в период столетней византийско-персидской войны и активизации алтайских турок, приглашенных Юстинианом для охраны византийских границ, это во-первых (и что уже само собою исключает возможность некоего рахдонитского контроля над Шелковым путем), а во-вторых, славяне в этот период, покоренные готскими князьями, имели свою государственность — Русь первую, — управлялись царем Эрманорихом и готовились к отражению гуннского нашествия, так что им было, мягко говоря, не до наемных дел, но сочинители версии не сочли даже намеком упомянуть об этом. К высказанному возражению можно было бы добавить и то, что если бы славяне жили за счет «военного ремесла», то вряд ли позволили бы покорить себя гуннам, аварам, хазарам, варягам, печенегам, половцам, монголам и татарам; славяне не были (возможно, на свою беду) ни агрессивными, ни воинственными, что подтверждается самими достоверными историческими свидетельствами, но, как видно, политика европейских королевских дворов, положенная в основу антиславянского геноцида, давно уже неподъемной плитой нависает над историческими фактами и отштамповывает их под свой тронноугодный (от фараоновской державности) трафарет.

ХСVII

Народ или народы, одновременно отторженные и от созидательного процесса жизни, и от исторической основы своего бытия, как случилось это с русским людом с приходом Рюриковичей и продолжено было царствовавшим до-

мом Романовых, коммунистическими вождями, пришедшими к власти, в неизменно стагнационном положении остаются и теперь, в эпоху неких демократических будто бы преобразований,— народ или народы эти оказываются, по сути, лишенными самой возможности сопоставлять бытие текущей действительности со своим историческим прошлым, которое лишь ностальгически теплится в душах, напоминая о некогда наполнявшем их и утраченном человеческом достоинстве. Такой народ безволен, и рано или поздно он теряет жизнеспособность, и, возможно, именно на такой исход и рассчитывали (в черед своих драконовских мер) авторы геноцидной политики против славянского многолюдства, стремившиеся как можно плотнее наводнить Россию своим вездесущим чужеродством. Можно сказать, что «так уж случилось», вернее, сослаться на обстоятельства, а можно, разобравшись в сонме нагнетавшихся событий, увидеть вехи определенного замысла в том, что славянская история (от корневых ее истоков) писалась, во-первых, не славянами и за спинами славян, и, во-вторых, после того, как памятники славянской культуры и славянской цивилизации были полностью разрушены и сметены с лица земли нашествиями гуннов, аваров, варягов, хлынувших «со всей русью» на наши земли, и татаро-монгольскими полчищами, русские люди, обращенные в смердов и крепостных (униженные, обобранные, бесправные, добавлю для уточнения), не только не знали, но и не могли даже предположить, чтобы кто-то на Западе, заботясь будто бы об их исторических корнях, задался целью рассказать некую «правду» об их утраченной (с принятием православия) самобытности и о преимуществах новообретенного (крепостнического — и опять же после крещения) уклада жизни, или, доступнее говоря, что человеческое, присущее славянству и возвеличивавшее его, должно быть отнято у него, а античеловеческое, кровавое и чуждое по духу приписано ему как определенной (с изъяном, да, именно с изъяном) человеческой общности, должной вроде бы равноправно жить среди других народов и государств. Те, кто на основе подобных «научных» изысканий брался сочинять славянскую, а по сути, антиславянскую историю, точно знали, что и для чего делают; они создавали тот негативный ореол вокруг обреченного европейскими королевскими дворами на истребление народа, который начал зловеще проявляться только к началу семнадцатого столетия и окончательно, то есть твердо и нестираемо, закрепился за нами в восемнадцатом, девятнадцатом и двадцатом веках, поставив русских, Россию в целом в некое вакуумное, а по сути, враждебное положение по отношению к мировому сообществу, и вершиной этого вакуума, или враждебности, явилось недвусмысленное заявление Президента Соединенных Штатов (ныне главенствующей мировой державы), назвавшего нашу страну «империей зла». Задача исполнителей геноцидной программы западноевропейских правящих элит упрощалась тем, что они легко находили среди подобных себе российских коллег (либо заданно онемеченных, о чем уже говорилось выше, либо напрямую повязанных родством по духу и крови) понимание и поддержку, и первым документальным свидетельством такого «единомыслия» в оценках происходивших и происходящих исторических событий следует, на мой взгляд, считать несторо-никоновскую «Повесть временных лет». Я не могу сказать, чтобы этот начальный летописный документ нашей истории не исследовался и не подвергался сомнениям,— нет, отчего же, иногда даже создается впечатление, что он на сегодняшний день уже будто бы по слогам просвечен пытливими умами наших историков, но кроме того, что он основан на греческом хронографе, который, однако, тоже нельзя считать эталоном, особенно в освещении славянской истории, и что опирается на сведения из славянского фольклора, который к тому времени, задавленный православием, существовал лишь в жалких, выхолощенных остатках,— ничего определенного, что указывало бы на прямое подражание (прямое и неприкрытое низкопоклонство) в оценках славян, невозможно обнаружить в этих исследованиях (здесь, наверное, следует добавить, что и Нестор, и Никон остаются в нашей истории личностями загадочными, ибо по каким-то, может быть, особым обстоятельствам жития их либо были уничтоже-

ны, либо не писались вовсе, а что касается самого текста сочиненной ими «Повести...», то сошлюсь лишь на высказывание известного арабского историка тех времен, который не без удивления заметил, что русские в унижении самих себя — имелся в виду варяжский поход Олега на Константинополь — во многом превосходят самих греков). Но вернемся к прерванной мысли и, присоединившись к народному восприятию, скажем: «Лиха беда — начало!» Да, начало антиславянского единомыслия, положенное летописцами Нестором и Никоном, было затем столь мощно поддержано, прежде всего онемеченной Российской Академией наук (известна борьба Ломоносова с засильем в ней чужеродства), что об этом можно было бы сочинять тома, однако в этой своей работе я ограничусь лишь тем, что приведу некоторый, повторяю, только некоторый итог многовековых усилий пьедестально увенчанных зарубежно-отечественных, или, вернее, отечественно-зарубежных, иерархов от исторических и философских знаний (усилий по ужесточению и одновременно обелению геноцидной политики против славянского многолюдства), наглядным выражением которого служит оклеветанная ныне по всем статьям — и в историческом плане, и в плане политическом, экономическом, духовно-нравственном, культурном — в глазах мирового сообщества, униженная, раздавленная, распятая (потомками кровавых палачей, стерших с лика планеты кельтов и американских индейцев и подающих себя сегодня в иконном образе поборников мира и справедливости) Россия. Но, думаю, наивно было бы полагать, что устроители геноцида против славян ограничивались только духовными притеснениями, духовным порабощением, дробившим и обезволивавшим одно из самых многолюдных и миролюбивых европейских людских сообществ; как и против кельтов, и против американских индейцев, против славянства активно применялись и военные вторжения: шведское, французское, два немецких лишь в одном двадцатом столетии, сравнимые по последствиям своим разве что с азиатскими нашествиями на Россию гуннских, аварских и татаро-монгольских орд, не говоря уже о локальных: польских, литовских и крестовых — они вполне подходят под это понятие — набегов тевтонских рыцарей; походы и нашествия эти сопровождались прежде всего разрушением и разорением русских памятников, русских святынь, сожжением городов, сел, массовыми убийствами и угонами в рабство ни в чем не повинных мирных селян, и нужны были десятилетия и столетия, чтобы после каждого такого нашествия смогла хоть как-то восстановиться тихая, никому не мешавшая своим убогим (под романовской державной дланью) существованием крепостная крестьянская Россия, и я невольно задаю себе вопрос: «Есть ли хоть что-то человеческое в тех, кто и сегодня продолжает, искажая историческую правду, беспардонно чернить русский народ и навязывать России неприемлемые для нее хищнические условия бытия?» Да, я говорю о народе, который, будучи отторженным (глухим крепостничеством) от созидательных процессов не только государственной, общественной, но и личной жизни, представал, как продолжает представлять и сегодня перед западноевропейскими правителями — а через подвластную им пропаганду и перед мировым сообществом, — ответчиком за деяния своего «родного» престольного чужеродства; ведь славянское многолюдство страшило Западную Европу не столько своей неисчислимой вроде бы (у страха глаза велики) и в то же время достаточно инертной массой (лучшим доказательством миролюбия собственно славян служит тот факт, что они во всей своей многовековой истории не только не посягали на чужие земли, но никогда и ни при каких обстоятельствах не кормились данью с чужих народов, а, напротив, только платили ее, не желая вступать ни в какие кровопролитные конфликты), но главным образом укреплявшейся государственностью и разгоравшимися амбициями хотя и чужеродных для славян, но все же российских правителей на единоподержавную европейскую власть. Амбиции эти (за которые как раз и приходилось и приходится отвечать русскому народу) легко просматриваются не только на пространстве прошедших, но и на пространстве текущих времен, и европейским королевским дворам, фасадно представленным ныне республиканскими

(президентскими, премьерскими) правительствами (с вассальным клеймом известной заокеанской державы), пришлось, как показывает историческая действительность, распространить геноцидную политику против славянского многолюдства и на представителей российской тронной да и не тронной власти. Разумеется, речь пойдет не о Лжедмитриях, направлявшихся определенной (не без благословения папского престола) западнодержавной дланью на захват российского трона, и не об усилиях, предпринятых русским людом по защите национальных интересов; Лжедмитрии — это мелочь в сравнении с той кампанией разрушения российского императорского дома, которая была развязана Западом против Романовых (начиная с Павла I и Александра I), как только российские самодержцы начали проявлять стремление, да, пока лишь стремление к самостоятельности как в общеевропейских (что особенно задевало и настораживало королевские дворы), так и во внутривосрийских делах; именно начиная с Павла I и Александра I, на российском престоле обозначилась череда цареубийств; царей убивали, как подается в нашей официальной историографии, некие народолюбцы, избравшие для себя методом борьбы с самодержавием террор, то есть убийство коронованных особ и царедворцев, особенно тех (здесь можно назвать Столыпина), которые брались хоть что-то сделать для облегчения жизни коренного российского люда; но ведь теперь достоверно известно, что народолюбцы не имели никаких корней в русском народе, а готовились и направлялись в Россию спецслужбами европейских королевских дворов, которые, не добившись нужных (в своих геноцидных усилиях) результатов от прямых военных, экономических и духовных экспансий, решили изнутри взорвать (и взорвали-таки, угнездив у нас гулявший по Европе «призрак коммунизма») российскую государственность. Достоверно известно теперь уже и то, что революция семнадцатого года, и прежде всего Октябрьский переворот в ней, когда так называемые большевики с помощью вооруженного мятежа узурпировали в стране власть, была хорошо продуманным и оплаченным (в русле геноцидной политики против славянского многолюдства и возможной могущественной российской государственности) западноевропейскими правящими кругами действием, и все, что последовало за этим кровавым взрывом (русский народ, к сожалению, оказался в этом действе лишь четко отлаженным механизмом самоистребления), — разграбление страны государствами Антанты (все, что имело ценность, и прежде всего золотые запасы, пароходами, пароходами со специальных причалов, уплывало за кордон, а обратным ходом прибывали на них толпы ловцов счастья, надеявшихся нажить в погибающей российской державе и обрести славу и значимость), братоубийственная бойня, голод, нищета, бездомность, болезни, раскулачивание, расказачивание, репрессии (ведь только в людском исчислении Россия была более чем на треть опустошена), — все, все это говорит лишь об одном, о тщательно спланированном и осуществленном (при видимых оправдывающих обстоятельствах) европейскими просвещенными державами геноциде против славянского (не могу не повториться здесь) многолюдства и возможной могучей славянской государственности, которую, впрочем, и сегодня Запад выставляет в качестве пугала для своих правителей и народов. Устроители геноцида торжествовали; они полагали (и их вполне можно понять, поскольку достоверно знали, что сотворили с Россией, и в их тайных докладах обрисовывалась страшная картина разграбления и разрушения страны, ее политического, экономического, научного и духовного потенциала), да, полагали, что после такого изничтожающего удара по славянскому многолюдству и взраставшей славянской государственности Россия уже не сможет подняться на ноги, и если обратиться к прессе того времени, то по одним только заголовкам, отправлявшим панихиду по России и русскому люду (панихиду с едва сдерживаемым внутренним ликованием), можно понять, какое удовлетворение от своих геноцидных свершений испытывали европейские королевские (во многом уже перелицевавшие в президентские и премьерские) дворы. Однако действительность показала, что торжествовать было преждевременно; русское единство (тогда оно еще су-

ществовало, хотя и в усеченном варианте) заставило все же большевистско-вождистское чужеродство взять курс (пусть не во всем, пусть хотя бы частично) на проведение национально ориентированной политики, и даже того немногого, что было сделано в этом направлении, оказалось достаточно, чтобы русский народ, почувствовав свою востребованность, обрел силы для восстановления утраченного жизненного потенциала. Об этом можно было бы говорить с гордостью, но я не хочу лукавить; ротозейно позволять истреблять и грабить себя, а затем героически восстанавливаться, как повторялось с нами в веках и повторяется сегодня,— это не подвиг, нет, и у этого явления должно быть другое определение; восстановление (именно потому, что мы не извлекаем уроков из своего ротозейства) сулило новые беды, которые и не заставили себя ждать. Ведь и сегодня остается неясным (хотя скорее неоглашенным, чем неясным), почему Гитлер, много раз повторявший, что Германия потерпела поражение в первой мировой войне только потому, что позволила себе сражаться на двух фронтах (против России и против Англии и Франции),— да, почему Гитлер, захвативший Францию и объявивший войну Англии (железные дивизии его уже готовы были десантироваться на Британские острова), вдруг вопреки своим утверждениям решает открыть второй фронт и направляет свою воинскую армаду на Россию? Кто и каким образом смог подтолкнуть его на такой шаг, и что и кем было обещано за сие заведомое самоубийство? Неясной вроде бы (а впрочем, отчего же неясной?) остается причина, побудившая недавнего нашего союзника по антигитлеровской коалиции Уинстона Черчилля выступить в Фултоне с известной речью, в которой тот призывал ведущие европейские державы вновь вернуться к блокаде СССР, то есть к геноцидной политике против славян, и в результате этих его продиктованных призывов, то есть после пятидесятилетней конфронтации и блокады, Россия сегодня вновь предстает перед мировым сообществом разрушенной, раздавленной, разграбленной и опустошенной. Суждено ли российскому славянству до конца повторить судьбу кельтов и американских индейцев, покажет будущее; я не хочу ни гадать, ни предсказывать, но, думаю, человечество должно осознать наконец, что хищническая фараоновская державность, если народы не объединятся и не преградят ей путь, не остановится в своих злодеяниях на уничтожении славянства, как не остановилась ни после Карфагена, ни после расправы над кельтами и американскими индейцами.

XCVIII

Сколько живет человечество, столько и пытается познать себя; и, казалось бы, чем больше познает себя, тем сильнее запутывается в оценках как прошлого, так и настоящего, и вместо движения к общему благоденствию (по провозглашенным церковной и светской, или мирской, житейской заданностям) мы стремительно продвигаемся — не к краху, нет, ибо такая оценка была бы слишком общей и вольно или невольно накладывала бы на человечество печать естественного, или, сказать иначе, неосознающегося, безумства, а к двум рукотворно-заданным (в противопоставление природной заданности) абсолютным величинам господства (древо власти) и рабства (древо народной жизни), и первым и главнейшим инструментом в достижении этой иезуитской цели (при абсолютной активности правителей и абсолютной инертности масс, запуганных, униженных, эпохально зомбированных на безволие и бездеятельность) является, как ни странно прозвучит это, сфера исторических и философских исследований, в которых во все времена заданность превалировала над объективностью, ложь — над истиной, символическое (мифическое, миражное) восприятие бытия — над реальными фактами исторической и текущей действительности. В естественных науках даже малейшая неточность или ошибка неминуемо приводит исследователя к тупиковому результату; историческая же и философская науки никогда не служили истине, но всегда служили и продолжают служить политической конъюнктуре, то есть работали и работают на заказ, исходящий от

тронов и тронных особ, а поскольку всех нас приучили считаться с тем, что правда в конечном итоге остается за властью, какие бы кровавые или некровавые злодеяния ни совершались ею, то и по отношению к исторической и философской наукам, которые опекаются властями (отсюда и сами науки воспринимаются в народе как некая духовная сила, духовная власть), укоренилось некое оберегательное, я бы так сказал, почтенное, доверительное восприятие. Мы полагаем, что беды наши происходят от диктаторов-поводырей, разрушающих простолюдную жизнь, тогда как главная направляющая сила на исторической арене действий не столько властители (они, конечно, вносят свою окраску в происходящее), сколько закономерности, в русле которых вынуждены действовать и властители, и народы. Такой взгляд на историческую науку, ее значение в становлении общественных отношений и общественного бытия позволяет сегодня усомниться в том, что основной ее целью является исследование взаимоотношений народа и власти (наиболее четко мысль эта была сформулирована известным российским историком Соловьевым, автором тридцатитомного труда по истории Государства Российского); причину народных бед, на мой взгляд, следует искать в рукотворных, повторяю, да, в рукотворных, а потому и поддающихся исправлению закономерностях, что я и попытался сделать в этой книге и намерен продолжить в третьей, посмотрев на российскую историю сквозь призму общемировых процессов развития человечества.

Конец второй книги.



С о с е д и

ПОВЕСТЬ

Я им сосед.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Мне поведал эту историю мой сосед по двухместной палате в неврологическом отделении академической больницы в Узком. Именно поведал — с глубокомысленными отступлениями от основного хода сюжета, историософскими обобщениями, хотя и с самоиронией. Мы гуляли по парку, а он рассказывал. Рассказ складывался в маленькую повесть. Я не выдержал и упросил его наговорить историю на магнитофон, сказав, что попробую перевести устный рассказ в печатный текст, *прозу*, покажу ему, и если он одобрит, то мы опубликуем получившееся произведение под двумя именами.

Так я и сделал. Заменял первое лицо на третье, чтобы ушло щемящее ощущение беззащитности рассказывающего, поменял имя и фамилию главного героя, подыскал эпиграф. Кое-что я вынужден был додумать и дописать, чтобы прояснить себе самому и читателю суть происходящего. Наконец пришло время посоветоваться с моим бывшим соседом, показать ему, что получилось.

Однако по телефону, который он мне оставил, грубый женский голос заявил, что *такой здесь не проживает и никогда не проживал*. Я позвонил в больницу, где медсестра, которую я хорошо помнил, сказала, что в ее бумагах не значусь ни я, ни мой сосед (по повести — Павел Вениаминович Галахов). В полной растерянности я обратился в отделение милиции, где меня послали прочь, сказав, что людей с указанными мной паспортными данными в Москве более десяти тысяч. Мой адрес и телефон мой бывший собеседник знал, но прошло немало времени, а он не позвонил и не появился. Я решил отнести повесть в журнал, а если мой сосед объявится, то при переиздании добавить и его фамилию.

— Пашенька! Так и хочется сказать — *маленький мой!* Если б ты знал, как я тебя люблю! Ты для меня — всё! — Она провела ладонью по его волосам, по лбу, по глазам, словно не давая ему смотреть на себя, но тут же отняла руку. И он видел, как нежно она глядит на него, улыбаясь смущенно и радостно. Ночь стояла душная и жаркая. Сквозь темное окно светились два-три желтых квадрата с крестом посередине, один под другим, — окна двенадцатиэтажного блочного дома напротив. По их расположению похоже, что кухни. «Простонародье гуляет», — мелькнуло в голове, а следом картинка из телевизионных криминальных сообщений: мол, опять пьянствовали вместе и приятель приятеля зарезал. Потом камера наезжает на окровавленный труп — почему-то с голым торсом и в спортивных штанах. Это видение было как дурной сон в уютной постели, как огненные письма в роскошных покоях Сарданапала. Даша снова положила ладонь ему на глаза, затем опять сняла.

И видение исчезло.

Она гладила его лицо, грудь, еле касаясь кожи кончиками пальцев. Сомкнув веки, он отдался ощущению поднимающегося жара в теле. Даже не открывая глаз, он знал выражение ее лица, *влюбленно-заботливое*, которое она сама с усмешкой, когда он заметил это, назвала *материнским*. Но он-то помнил, как

матери смотрят на своих детей. Его мать была женщина светская, раздражительная, любившая большие компании, умные разговоры и непрестанно курившая. Даже когда она болел (а болел он в детстве много) и она присаживалась временами у его изголовья, оторвавшись от очередных гостей, взгляд ее становился вдруг каким-то поверхностно-посторонним, а иногда раздраженным, словно сын *притворялся* больным. Но лекарства давала все же исправно.

Дашина нежность приводила его в непонятное душевное состояние, скорее скверное, потому что, казалось, давала ей права на него. Он поднял веки, *поставившись* сделать это лениво, «как пресыщенный хан» — обладатель гарема. Она застыдилась, смущенно закрыла лицо распущенными волосами:

— Не смотри на меня так!

Горевший над кроватью ночник был укутан ее юбкой, так что тело склонившейся над ним женщины казалось и реальным и нереальным одновременно, словно выплывавшим из ночной полумглы.

— Извини. — Он протянул руку, она подвинулась, и он достал стоящую у постели открытую бутылку хорошего сухого немецкого вина «Liebfraumilch». Название Даша переводила так — «Молоко любимой женщины». Приятель-германист однажды объяснил Павлу, что на самом деле это слово означает «*Молоко Богородицы*». Но Дашу он не разубеждал: она считала себя его любимой женщиной, и ей казалось, что вино покупается ради нее. Слегка приподняв голову, он сделал большой глоток. Поставил бутылку и снова откинулся на подушку. Даша прильнула к нему:

— Тебе со мной хорошо? Да? Скажи. Хорошо?

Он лежал на спине, симулируя слабую довольную улыбку, и бормотал, поглаживая ее по спине:

— Конечно, хорошо. О чем ты говоришь?..

Сейчас, вспоминая сегодняшнюю да и другие ночи с Дашей, он морщился от гадкого самоощущения, что он обманщик, что вовсе не нужна ему эта девочка, что произошло это *так*, а она вроде бы влюбилась, хоть и говорила, что *все понимает*. Но что — *все*? Ему стало противно, так противно, что он передернулся всем телом. Сосед по автобусной скамье даже немножко отодвинулся от него, опасливо скосив глаза.

Павел сдуру уселся у окна с левой стороны, не зная извилистого пути окраинного автобуса, а потому не угадал, что именно здесь будет ярить солнце большую часть пути. Встать и поменять место не было ни сил, ни возможности. Народу, как и во всех маршрутах, тащившихся от конечной одной ветки метро до другой, было полно. Толкаться в духоте не хотелось. Его разморило. Он только и мог ждать, когда автобус въедет в тень высоких домов. Даже минутное облегчение от тени рослого дерева казалось благом.

Он скосил глаза на соседа, которого вроде бы солнце не так доставало — все же дальше от окна. Но и тот отдувался, тяжело дышал и вытирал шею носовым платком, при каждом движении толкая Павла. Это был неприятно расплывший мужчина в белой рубашке с синим галстуком. Из-под ремня брюк вываливалась толстое пузо.

Что-то громыхнуло. Павел поднял голову: хлопала и лязгала крышка сломанного верхнего люка. Автобус длинный, с соединительной кишкой между двумя твердыми частями, извивался и скрипел на поворотах. От прокаленной, в выбоинах, давно и плохо заасфальтированной дороги поднималась пыль и залетала внутрь салона. Дышать было трудно. «Поглядишь по сторонам — все просто. Жизнь проста. И отношение к женщине степное, евразийское. Как там у Блока? Ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых... Хотя какая уж у Даши строптивость!.. Полное покорство. И все равно — мне: то после двух разводов никак нельзя в новую ловушку попадаться». В размышления влез разговор стоявших крупных, мосластых и потных теток лет по сорок:

— И что ты, подруга, воображаешь? Опять ко мне припирается, пьянь несчастная! Стал на колени, прямо перед дверью, и головой об пол тюкается. Про-

щения, мол, просит. Я говорю: «Ты б хоть с колен встал, людей постыдился. Соседей полно. На одной нашей площадке еще три квартиры. Встань, отряхнись — брюки испортишь». А он так нажрался, что только головой кивает. И все икает. Мне аж смешно стало.

— Ну?

— Что ну?

— Ну а ты что?

— А что я? Я с этим заразой жить не собираюсь, с пьяницей. Так ему и сказала: «Поцелуй пробой и ступай домой».

«Надо бы место уступить». Но, пока он собирался, женщины вышли. И понятно, что не ждали от него этой услуги.

Напротив его соседа и наискосок от Павла сидела немного враскоряку толстая женщина лет под пятьдесят. Лицо у нее излучало недовольство жизнью и одновременно удовлетворенность и чувство господства над собственным мужем. Последнее стало понятно после хозяйского жеста, с каким она расстегнула свою сумку, вытащила оттуда газету и сунула соседу Павла:

— На, почитай!

И вправду, что без толку сидеть! Мужик должен быть при деле и у ноги.

Сегодня утром она спешила. Поднялась рано. А потом, стоя рядом с постелью на коленях, целовала его и бормотала:

— Я по тебе очень буду скучать! А ты? Небось до завтрашнего вечера и не вспомнишь?... Я домой в обед вернусь. Но звонить тебе не буду. Захочешь — сам позвонишь. Позвонишь?

Он, не глядя, ткнул сигарету мимо пепельницы прямо в журнальный столик, стоявший рядом с диваном.

— Конечно.

— Ой ли! Ты ведь меня ни капельки не любишь. Я же знаю. И все равно ты мне помогаешь.— Она тихо засмеялась.— У нас на курсе есть такой один кретин. Он мне все время названивал и хамил, ну, спрашивал одно и то же: «Даш, когда мне дашь?» А увидел меня с тобой, сразу испугался, замолчал.

— Это хорошо, что отстал,— пробурчал Павел, стараясь не говорить на главную тему — о любви. Женская пронизательность, смешанная с самообманом, мешала ему лгать уверенно. Но все же он лгал. Даша подняла голову, вглядываясь ему в глаза, снова засмеялась и покачала головой:

— Нет, не любишь. Но все равно. Завтра увидимся. Может, еще послезавтра... А потом? Можно я тебе напишу? Письмо напишу. Ладно? Если не захочешь, не отвечай.

Даша через три дня уезжала с родителями на юг, в Крым, вдруг ставший заграницей, но доступной для российского рубля. Остаться она не могла, для родителей она еще была несамостоятельной девочкой, только-только из школы выбравшейся. И возражать им она еще не умела, подчинялась.

— Пиши,— сказал он, понимая, что для нее в переписке надежда укрепить их отношения.

Она вздохнула:

— Ну как хочешь! Могу и не писать.— Она поднялась на ноги.— Пойду в ванную. Хорошо, что ты теперь без соседей. В такой маленькой квартирке да еще соседи — это просто ужас! А теперь ремонт сделать — и можно уютно жить.

Она как бы мимоходом глянула на него и, не увидев ответной реакции, отправилась в душ. Оттуда послышались шум льющейся воды и ее голос:

— А хочешь — приходи сегодня ко мне!.. Мои уезжают на дачу с ночевкой.

— Вряд ли!— возразил он громко.— Сегодня не могу. Я сегодня вечером в гостях. День рождения у приятеля. Знаешь, он какое-то письмо удивительное получил — хочу почитать...— болтал, заговаривал ее Галахов.

Ни звука из ванной. Потом вода перестала литься, и он услышал тихие всхлипывания.

Совершенно смешавшись от ее плача, он крикнул:

— А хочешь, я тебя с собой возьму?

Она мигом возникла на пороге комнаты, сияющая, довольная.
— Очень!

Они договорились встретиться у метро «Пражская». Несмотря на устанавливающийся внешне европейский лоск Москвы, западное изобилие товаров, исчезновение бесконечных многочасовых очередей, Павел чувствовал какое-то возрождавшееся от времен «железного занавеса» раздражение на всю европейскую линию русской культуры — от Петра и Пушкина до всяких там Степунов, Франков и пр. Вчера утром в институте ему пришлось говорить с одним из молодых преуспевающих политологов, автором статьи в его сборник. Молодому человеку было едва за тридцать, но уже доктор, профессор, гладко выбрит, коротко подстрижен, любимец ректора университета, где возглавлял кафедру (причем с постоянной издевкой по поводу *европейских закидонов* ректора). В своем тексте он доказывал, ссылаясь на Л. Гумилева, что агрессивность свойственна русской культуре как культуре молодой, пассионарной, вступающей в жизнь, и брюзжать по поводу криминалитета, бытового хамства и хулиганства — значит, *уподобиться почти сгнившему старику Западу*. Разговор кончился ничем, но за час до прихода Даши молодой ученый ему перезвонил. И Павел снова возражал, напомнил слова Розанова, как это чудовищно, прожив тысячу лет, считать себя все таким же молодым, что все это говорит о какой-то дебильности. Не случайной Хомяков ненавидел рассуждения о юном возрасте и детской восприимчивости русских, восклицая, что это совсем не утешительно и напоминает «девятисотлетний рост будущей обезьяны». И, кстати, как раз о молодости России все время твердят западные мыслители.

Трубка хихикнула:

— Да я чего? Вычеркивайте из моего текста что хотите! Я разве возражаю, что элита ихняя понимает? Но вот на бытовом уровне — ни капли. Тот же немец и свою-то Гретхен по приказу сразу на мыло пустит. А нас тем более.

— Геннадий, это вы о другом. И вы, и я в Европе бывали. Вы сами могли видеть, что они вполне оценивают нашу молодость.

— Да вы не обижайтесь так. Хи-хи! Я все готов вычеркнуть, что прикажете. Наплевать! (За этим «наплевать» чувствовалась уверенность в том, что в другом месте он все равно опубликует что хочет.) Я ведь только о том, что Запад свои стереотипы навязывает, давит на нас.

Павел покоробился, вспомнив, как распекал лет двадцать назад их, молодых аспирантов, приехавший в институт из горкома инструктор, уверявший, что Запад нарочно придумал массовую культуру и изобилие товаров, чтоб развратить советских людей.

— Каким же это образом? — сухо спросил он молодого ученого.

— Хочет, чтоб мы жили его принципами. Для того и товарами завалил. Да вы, Павел Вениаминович, не обижайтесь, я ведь против вас не выступаю. Я ведь мещанин, мне на многое плевать, но я знаю, что моя двоюродная бабка не смогла корову продать, потому что все прилавки датским мясом завалены. Вот эту бабку мне жалко, а датчан, которые атакуют нас своими товарами, я не хочу любить и не люблю.

— Знаете, Геннадий, наверно, я больший мещанин, чем вы. Когда были только бабкина корова да колхозные поставки, пропадала Москва и другие русские города. Я помню ночные очереди за мукой с номерками на руке. Я помню, как моя бывшая жена поднималась в пять утра, чтоб купить молоко для наших маленьких детей. Пусть я развелся, но мне спокойнее, когда я знаю, что теперь они сыты, обуты, одеты. И это мне наплевать на любую идеологию, лишь бы были целы мои близкие. А вот вы идеолог.

— Да что вы, какой я идеолог! Это я такой простак, болтаю, что на ум придет. Вы серьезно к этому не относитесь. Это ведь все игра ума, — хихикнув, объяснил он (почему-то Павел вспомнил постоянное хихиканье Петруши Верховенского из «Бесов»). — Но, — и тут вдруг голос молодого ученого стал жестким, — они на Западе думают, что мы сломились, но, даже если нас

сократят до территории Московского царства, мы все равно останемся империей. И будем драться. Я это умею. И знаю, как это делается стенка на стенку. Вы нам свою идеологию навязываете, а мы вас по морде, вот что мы Западу скажем.

— А мы разве не навязывали всему миру свою идеологию всего чуть более десяти лет назад?

— И снова будем. Я только думаю — другую. Я ведь коммуны этих не меньше вас ненавижу. Но мы всегда были великой державой. И остаемся таковой. Потому нас и боятся.

— Были периоды, когда и великими не были, когда нас и не боялись, просто почти не замечали. Как раз тогда, когда мы назывались Московским царством. Величие началось с европейских реформ Петра. А от иного величия страшно. Бандит с ножом тоже чувствует себя великим и значительным. Тем более киллер. Такими мы и были для всего мира при Сталине, — нервничал Галахов.

— Да вы не сердитесь, — увертывался и хихикал Геннадий. — Я же просто хочу говорить от лица моих близких — от лица дяди Васи, дяди Пети, дяди Коли, от лица моей бабушки, которая на любое постановление властей говорила: «Плевать!» — и жила себе дальше. Да-да, такой мещанский *пофигизм*. Но он-то есть живая жизнь, которая растет лопухом на любой свалке безо всяких высоколобых теорий. Вот эти мои родные мне дороги. А ваш Запад нет. Они стали алкоголиками, мои дяди, спились и померли от водки. Но почему я должен любить какого-нибудь Джона или Ганса, когда *мне моих* жалко, а Джона не жалко?

— Во всяком случае, мне кажется, ни Джон, ни Фриц в их алкоголизме не виноваты!

— А вот этого я не знаю. Может, и виноваты. Потому что задают всему миру ту систему ценностей, от которой мир трясет.

— Мир, то есть общину?

— Вы умный человек, Павел Вениаминович. Можно и так. Вы должны это почувствовать. Вы же из Галаховых. Значит, понимаете, что такое род и семья.

Павел с тоской подумал, что статью Геннадия Ивановича Самойлова он все равно опубликует. И это самое смешное. Опубликует своего будущего могильщика. Потому что не опубликовать — непорядочно. Тот же рассуждает о бабушке и дядях, а жена его, не стесняясь, рассказывала, что работает в фирме «по распродаже природного богатства России», постоянно ездит в Лондон, Берлин, Париж и другие европейские центры.

Тень длинного высокого дома легла на окна автобуса, стало прохладно. Хотелось, чтоб остановка около этого дома продлилась бы вечно. Кто-то облегченно вздохнул. Но автобус тронулся — и снова солнце, жара, духота.

Быть может, и в самом деле Самойлов говорил с ним так доверительно *только потому, что он из Галаховых*, фамилии, известной в русской культуре, вдруг подумал Павел сквозь давящую жару. Да-да, репутация *умного человека из хорошего рода с традицией*... Хорошо это или плохо? Чуть больше двадцати лет назад на третьем курсе он был влюблен в однокурсницу, красотку, обрусевшую полячку, при этом генеральскую дочку. Готов был даже жениться. Но она искала гения: «Мне нужен гений. Только за гения». «А я?» — спрашивал Павел, поглаживая свои усы, которые тогда старался сделать похожими на усы не то Лотмана, не то Ницше. (Он слыл на филологическом факультете «великим человеком», да еще шарм фамилии: *знающие* преподаватели спрашивали, «не из тех ли он Галаховых», и настаивали, чтобы он как следует выяснил свою родословную. Павел, однако, знал твердо, что он «не из тех», всего лишь *однофамилец*, но, напуская туману, мычал неопределенно, что и без того свою родословную знает, но что ему претит вся эта *геральдическая возня*.) Надменная красotka усмехалась: «Нет, Пашечка, и ты нет. Тебе происхождение твое мешает. Нет в тебе цельности и первозданности. Сам же все о рефлексии толкуешь. А значит, не способен ни к любви, ни к творчеству. Нет-нет, может, что-нибудь ты и создашь. Но — не

первого ряда. Первых в народе надо искать. А вы все — интеллигенты, межеумки. На поступок не способны». «И я?» — пыжился в ответ Галахов. «И ты, и ты. Ты умный мальчик, сам поймешь, когда вырастешь. *Ведь ты даже не уверен в подлинности твоей фамилии...*»

Это уже был прямой удар. И Павел отступился, обозлившись и сказав себе, что *прекрасная паненка* на самом деле, как и другие, ищет мужа выгоднее, только выгоду понимает не так примитивно, как прочие: в историю хочет войти. Вроде Лауры или Лили Брик. И в самом деле, на последнем курсе она выскочила замуж за бородатого художника, перебравшегося в Москву из-под Тамбова и рисовавшего иконы. Но художником он оказался плохим, просто никаким, да еще бездельником и пьяницей. Она родила ему сына и тоже начала пить. Как-то она пригласила Павла в гости. И, когда после немалых возлияний, хамоватых окриков, попреков и *намеков мужа на каких-то любящих его баб* Павел заторопился прочь, она шепнула ему в коридоре, провожая: «Ты не думай. Он вовсе не алкоголик. И очень талантлив. Только город его портит». Но такого романтизма она все же долго не выдержала. Началась перестройка, она развелась, успела разменять квартиры, а потом выйти замуж за *нового русского* и стать светской дамой, которая жалуется университетским подругам, что с мужем ей поговорить не о чем, зато все ее желания выполняются беспрекословно и сын ее учится в одном из американских университетов.

А Павел радовался, что не женился на ней, не завел общего дома. Без *светских приемов* — пьяных ли друзей, как в ее первом браке, либо богатых знакомых, как во втором, — она бы не обошлась, а он бы мучился. Эти нелюбовь и недоверие к так называемой светской жизни, к гостям и поздним посиделкам достались ему от отца. Павел хорошо помнил, какой тот был, когда они еще жили вместе: несколько угрюмый, малообщительный, хотя и добрый, иногда мастеривший что-то, но не по дому, а какие-то свои инженерные приборы, все время с математической или исторической книжкой в руках. Как и многие тогдашние российско-советские математики, *чувствовавшие себя представителями гонимой властью интеллигенции*, он любил историософские рассуждения и рассказы из жизни великих людей. Но каждый вечер, лишь на пороге появлялись первые посетители, отец сразу как-то сникал. Поначалу маленький Паша не понимал этого, ему нравились веселье и суета в большой комнате: расставленный для гостей стол, нарядно выглядывшие бутылки, казавшиеся очень вкусными салаты и закуски — особенно на фоне достаточно скудной тогдашней жизни.

Конечно же, его нервная, энергичная мать с неперменной сигаретой в зубах выглядела куда привлекательнее своего молчаливого мужа. Но потом Павел стал жалеть отца и через жалость вроде бы понимать. Когда приходили гости и начинались умные разговоры, шутки, анекдоты, песни под гитару, мать прямо расцветала. Она прекрасно пела, могла без устали просидеть за столом до утра, парируя остроты и пускаясь в язвительные умственные рассуждения. Часов в десять Павла обычно отправляли спать, а вскоре к нему в комнату приходил отец, извинившись перед гостями и однообразно ссылаясь на срочную работу. Павел засыпал и сквозь сонное забытие все-таки видел отца, сидевшего за столом или в кресле рядом с торшером и читавшего книгу. Утром, собираясь в школу, Павел видел в большой комнате (родительской спальне) и на кухне грязную, кое-как составленную посуду, валявшиеся прямо на скатерти селедочные кости, стоявшие на столе пустые бутылки, недопитые рюмки и чашки с чаем, в которых плавали окурки и бумажки от конфет. Пахло кисловато остатками уже несвежей пищи, табачным дымом, алкогольными испарениями убравшихся восвояси гостей. А мать, держа в руке зажатую сигарету и поминутно затягиваясь ею, хмельная не от вина, а от гостевого азарта, широко распахивала дверь в комнату Павла, где в кресле кэмарила отец, и яростно, даже презрительно говорила ему одну и ту же фразу: «Ну а ты все сидишь?! Может, порох выдумал?» И, рассмеявшись зло,

шла на кухню мыть посуду, а отец плелся следом ей помогать: носить грязные чашки, тарелки и рюмки из комнаты к мойке.

Родители разошлись в 1974-м, едва Павлу исполнилось восемнадцать лет и он поступил в университет. Отец с *новой женщиной* снимал какие-то московские углы, мать вскоре вышла замуж и переехала. Уже на третьем курсе Павел женился, как и многие интеллигентные юнцы, оставленные родителями и искавшие опору в браке. Второй раз он женился после аспирантуры, завел двух детей, но дурной родительский пример показал, что ничего уж такого страшного в разводе нет. И он развелся во второй раз. И загулял, живя один в дуриком доставшейся ему комнате коммунальной квартиры в Медведкове. Соседями с начала восьмидесятых были бабушка с внучком. Внука звали Женей, длинненький и тоненький, как церковная свечка, опекаемый не только бабушками, но и многочисленными тетушками, он собирался после школы идти в науку. По примеру Павла, относясь к нему с почтением, только на «вы» и никак иначе, он выбрал филологический. Женя был погружен в переживание *культуры*. И считал, что Галахова сама фамилия обязывает быть нерядовым ученым. А потому и осуждал, но тихо, религиозно, он еще и верующий был, беспорядочные связи Павла и сопровождавшие их пьянки. «Зачем вам это? — робко спрашивал он. — Все эти пьяницы и блудницы? Ведь вы же понимаете, что злу выгодно, если ум и добро бездействуют, погрязают в животных страстях. Помните, вы обратили мое внимание на одно место из Евангелия от Иоанна? Я его наизусть запомнил: «Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет». Слова простые, но ведь по-прежнему много зла и тьмы кругом, Павел Вениаминович! Вы же можете. Вам же дано свет нести, то есть *просвещать*». Павлу, однако, в ажиотаже перестройки, когда сама кровь бурлила, казалось, что мальчик Женя живет вне времени и пространства, не знает, что есть жизнь помимо книг — в борьбе группировок, идей, в любви пылких и желанных женщин. А потом в конце весны умерла Женина бабушка, как раз когда шли его выпускные экзамены. И через неделю после ее похорон Женю насмерть сбил так и не опознанный джип с каким-то сильным мира сего за рулем. Говорили, что сыном бывшего члена политбюро. Из Склифосовского тетушки отвезли племянника прямо на кладбище, не завозя домой. Все лето Павел жил без соседей. А осенью 1993-го к нему подселили Раису Власьевну с дочкой Зиной, тогда девятиклассницей.

Павел чувствовал, что пот стекает по лбу, по шее, а тело стало влажным от жары. Он вытер лицо платком. Скомкал, сунул в портфель: в карман брюк не мог, они словно прилипли к ногам. Он с подростковых лет не знал более сильного удовольствия, чем езда в автобусе или трамвае. На короткое время поездки он полностью выключался из служебной и деловой жизни, не давая себе думать о работе и пуская мысли бродить по сторонам: пусть сама жизнь без помех крутится у него в голове — так, как бы случайно, до чего-то важного и добредешь. Дорога в переполненном транспорте всегда была для него моментом размышлений и воспоминаний, длинных, бессвязных, ни к чему не обязывающих, но необходимых всему его существу.

Сосед слева шумно вздохнул, сложил газету, протянул ее своей *подруге жизни* и вытер ладонью шею, потом вытер эту руку другой, зачем-то понюхал их, словно радуясь крепкому запаху своего пота, и долго изучающе смотрел себе на ладони, шевеля пальцами. Павел глянул в окно — новенькая бензоколонка, еще три остановки — и конечная. Метро. «Интересно, что за письмо припас Лёня? Чего он говорил-то? Ах да! «Приходи. С кем хочешь. Новую завел? Приводи. А я тебя, интеллектуального волка, еще письмецом попотчую. Ты в городе зачах, кроме гари да Госдумы здесь ничего не найдешь. А это как прикосновение к живой воде, к самой природе. Простота и сила. Настоящее, нутряное!»

«Чур меня! — чуть ли не вслух пробормотал Павел. — Что всем так далось

это нутро? А что в нем, в этом нутре?.. *Тоже мне, святой Грааль!* Да, не забыть еще бутылку купить! К Раечке зайду на конечной. У нее недорого».

— Отстаньте от меня! — вдруг услышал он от передней двери высокий женский голос. — Вы пьяны.

— Ну? — Второй голос был мужской, пьяный и угрожающе-хамоватый. — Ты мужику своему так громко ори. А мне не моги.

Остановка. Довольно много людей сошло, передняя часть салона разгрузилась, и Павел увидел, что полногрудая, с рыжими, даже не рыжими, а медными волосами, такая простонародно-сексапильная, явно всем своим внешним видом вызывавшая мужские желания, прижалась спиной к окну кабины водителя, а над ней склонился ражий парень, одетый, несмотря на жару, в маскировочный костюм пятнистого цвета, очень модный со времен Афгана (потом мода была подтверждена чеченской войной) среди охранников разных мелких фирм.

— Отстаньте! Вы пьяны, — выставляя, защищаясь, ладонь девица.

Вместо ответа парень икнул, ухватился за железный поручень, чтоб не упасть, и слюняво чмокнул губами, изображая поцелуй.

Павел хотел подняться, но народу снова набилось столько, что наваливались, нависали над сиденьем. Сосед притиснул Павла к стенке автобуса, так что опять оставалось лишь отвернуться, смотреть в окно и медитировать, размышлять, вспоминать, предоставляя волю мыслям. Когда он отворачивался от жаркой улицы, то мог только видеть толстого соседа и протиснутую к их сиденью молодуху в белой блузке, от которой остро и резко пахло невымытым телом. Девицу и пристававшего к ней парня он в общем гаме теперь даже и не слышал.

«Россия — страна пограничная, так и создавалась, так себя и до сих пор ощущает, как огромный военный лагерь, «всегда мы в походе», об этом даже и Окуджава-пацифист пел, а сейчас привал, бивак, но сами ищем столкновений, мало было Афганистана — в Чечню вязались, и все величие свое этим доказываем, не строительством, а войной, а на биваке тоже нравы простые, перекур между боями, бабу перехватить, пока не убили, система ценностей по-прежнему военная, как на фронтире, только колонизовать больше некого».

Мысли были нехитрые, реминисценции на темы Ключевского. Но как-то живо они у него в голове прокрутились, и даже окружающие сразу стали как будто понятнее.

Предпоследняя остановка. Стихли шум мотора и гул вышедших людей, донесли слова пьяного «афганца»:

— А ты молчи, не препятствуй!

Руки его уже драли ей кофточку.

— Отстань, гад! — выкрикнула полногрудая и медноволосая, выкручиваясь из цепких лап. — Ты пьян.

— Давай сойдем, я не обижу, — ныл парень.

Вдруг встряла какая-то бабка:

— Стыдно тебе, девка. За доллары бы небось пошла! Да не боись, он к утру тверезым будет. — И запричитала в голос, визгливо, на весь автобус: — Всю Расею Западу продали. Я к батюшке ходила, а он говорит: «Все грех. И телевизор смотреть, и музыку ихнюю слушать. Все прельстить пресветлую Расею Запад пытается». Вот уж бабы от русских мужиков и нос воротят. Все ихнего, прости Господи, хочут попробовать.

Кто-то захохотал, обижаемая всхлипнула, не в силах отодрать от себя прилипшего мужика, поднялся гомон. Женщины помоложе возмущались: до чего мужики распущенные, день еще, а *этот* уже нажрался, проходу от них нет; те, что постарше, и старухи поддержали бабку, что нынче все девки заголяются, проститутки этакие, всю Москву позаразили, нечего обижаться, перед мужиком выставляется, а он выпимши и, конечно, собой не владеет, нечего реветь, лучше бы ноги прикрыла, стыд один смотреть, из-за таких вот

сук бессовестных все безобразия и творятся. В воздухе звенели без конца словечки *сниженного языка*, показывающие *молодость культуры* и с легкостью употребляемые *женским народом*. Было жарко, тесно, девица то всхлипывала, то взвизгивала, бабы стыдили то ее, то мужика в маскировочном костюме. Мужчины молчали, не их это было дело за какую-то девку вступаться, бабы разберутся, да и страшновато — на кого нарвешься, нынче многие с оружием. Только сосед по сиденью вдруг привскочил и с неожиданной злобой выкрикнул:

— Так ей и надо! Учить таких надо, учить!

Павел поднялся и с неохотой, но чувствуя, что по-другому он поступить никак не может, — дурацкое воспитание мальчика из хорошей семьи! — стал продираться к обижаемой. Никаких столкновений он тоже не хотел, рассчитывал образумить словесно. Но тут автобус остановился: конечная. Люди торопливо выскакивали, спешили к метро. Некоторые, правда, подзадержались — посмотреть, чем у «афганца» с девицей дело закончится. Выкатился и Павел. Оказывается, сцена продолжалась. Посреди людского потока образовался островок, который отекали струи людей. Парень держал медноволосую за плечо и за руку, не выпуская на свободу.

— Да ты постой, б... Ну, я тебе говорю!

— Отстань, липучка! — отбивалась та.

Солнце пекло невыносимо, хотя время пошло уже к пяти. По лбу этого не то «афганца», не то охранника катился пот, запах дешевой водки шибал от него на расстояние, заставлял вырывавшуюся девушку вертеть головой в разные стороны, остановившийся взгляд парня показывал то состояние, когда человек себя не вполне сознает. Голубые глаза смотрели пусто и прямо, льняные спутанные волосы свисали прядями. Был он при том явно красив: рослый, худой, широкоплечий, с круто выступающими скулами. Скособоченная бабка из автобуса, разглагольствовавшая о дьявольской прелести Запада, напоследок опять осудила девицу, шлепая мимо к метро:

— Ты бы, милая, от мужика-то отстала, не заигрывала бы!

Павел поправил очки, провел рукой по усам. В желудке стало пусто и противно. И хотелось бы пройти, но не мог. «Это называется рыцарством, — ругнул он себя. — Конечно же, фамилия Галахов происходит от *Галахеда, рыцаря Круглого стола. В походе к Граалю непременно надо освободить от злодеев девицу*». Он тронул парня за плечо:

— Оставь девушку в покое.

Тот повернулся, не разжимая лап, и уставился на *Галахеда* все тем же не знающим ничего, немигающим взором.

— Че-его?

— Что слышал. Отпусти женщину. Понял?

«Афганец» вдруг отцепился от медноволосой и так же цепко и проворно хватился за лацкан рубахи Павла, занеся правую руку для удара. Уронив портфель на асфальт, *профессор филологии* резко стряхнул его левую руку и, перехватив правую, слегка вывернул ее.

— Ты что, не понял, что я тебе сказал? — как можно спокойнее и наставительнее произнес Галахов.

— А ты меня на «понял» не бери, гнида вониючая! — Парень попытался вырваться, но Павел только крепче сжал его руку, дальше заведя за спину, так что тот согнулся, сморщившись от боли.

— Отпусти, сука. Поймаю — убью!

Павел оглянулся. Медноволосая растаяла, мигом смоталась куда-то, забыв об избавителе. Остановливались парочки, одинокие любопытствующие, издали поглядывая на схватку: разумной помощи ждать было неоткуда.

— Ты погоди, остынь, успокойся, все в порядке, — увещевал он парня. Хотелось уже разойтись, не ввязываясь в историю. Но противник его добром кончать не собирался.

— Ты только пусти,— повторял он с бесконечной злобой в голосе. Эти слова он даже не произносил, а словно шипел, пыхтя, изогнувшись и уставясь в лицо Павла немигающими глазами. Тому стало на какой-то момент не по себе, жутковато. Надо было продолжать жить, заниматься своими делами, встречаясь с Дашей, идти в гости, а тут полная остановка, и неизвестно, как с этого места сойти. «Бить человека по лицу я с детства не могу»,— звучали в голове слова Высоцкого. А и в самом деле не мог. Еще с детского садика, когда сильно стукнул кулаком по зубам мальчика, тот упал, а Павел испугался, не убил ли он его. Этот детский испуг так и сидел в нем с тех пор. Держа парня за вывернутую руку, он понимал только одно, что отпустить и повернуться к нему спиной — нельзя. Он невольно припомнил Владика, мужа Зиночки: «Вот ты здоровый амбал. А что ты можешь?.. Ты же никогда никого в полную силу не ударишь. Ты вот карате занимался, мне приемы показываешь, а я все равно любого такого, как ты, каратека, сильнее. Потому что я завсегда, на хрен, убить могу. Против лома нет приема». И гоготал довольный.

Разрешение ситуации наступило неожиданно. Благодарная медноволосая вернулась, ведя за собой милиционера сурового вида с автоматом через плечо, как теперь принято.

— Вот этот,— указала девушка на зелено-пятнистый маскировочный костюм и свисающие пряди волос.

Стволом мент приподнял голову парня, хладнокровно посмотрел на него, и злобный немигающий взгляд сразу стал неуверенным и даже просительным, покорным.

— Отпусти ему руку,— *приказал* он Павлу, а парню: — Документы есть? Давай сюда.

Листал паспорт, зажав автомат под мышкой, потом взял парня за локоть и направил в сторону от метро.

— Со мной в отделение пойдешь. Там разберемся.— Оценивающе взглянул на грудь медноволосой.— Вас тоже попрошу. Показания снимем.

А Павлу кивнул, словно разрешая ему существовать независимо. Парень вывернулся из-под руки милиционера, пнул ногой портфель, который очкастый противник уже с земли поднял, и выкрикнул:

— Я тебя, б..., из-под земли вырою, а потом в эту землю зарюю. Понял?..

Постовой перехватил его за воротник маскировочной куртки.

— А ну хватит орать! Давай с мной топай.

Павел поразился, до чего спокойно он это произнес. Буднично, почти дружелюбно. И повел «охранника» с девицей за собой. Не то что Галахов испугался угроз пьяного, но злоба чужого человека по отношению к тебе тяготит, давит. Ты вроде такой хороший, а тут ни с того ни с сего... «Ладно, черт с ним! Что еще я должен сделать? Ах да, к Раечке за бутылкой...»

Перейти шоссе — и за угол. Там среди лотков с фруктами, ярких окошек палаток со спиртным, сигаретами и разнообразными шоколадками находилась и палатка Раечки, точнее, даже не палатка, а такой мини-магазинчик под названием «Поляна». Время от времени по старой памяти Павел заходил к ней. Раиса Власевна, Зиночка и Владик Лбин получили (*или купили?* — *Павел так и не узнал*) четырехкомнатную квартиру недалеко от метро. Раечка открыла свое дело — эту продуктовую лавчонку, Владик ходил одно время у нее в помощниках, а потом стал челночить, приобрел себе «Таврию», затем «Газель», оказался очень хватким и ловким предпринимателем. Да и дружки ему помогали — кто на посылках, а кто покруче — и деньги в него вкладывал. Как уж там они разбирались с Зиночкой, Павел теперь не знал, но Владика часто видел в Раечкином магазинчике.

Перед «Поляной» гужевались несколько бомжей. Один сидел на ступеньках со стороны закрытой двери, положив голову в теплому туге на вздернутые колени и бессмысленно-отрешенно уставившись на свои голые грязные ноги в рваных сандалиях. Рядом похаживал давно примеченный Павлом здесь длинный нескладный мужик с красивыми глазами и ресницами, как опала. Рукава клет-

чатой рубахи его были засучены, в руках он держал наполовину выпитую бутылку не самого дешевого пива под названием «Степан Разин». Третий и вообще как бы отсутствовал: сидел рядом с пыльным кленом, прислонившись к его гладкой коре, и спал. Они словно чего-то ждали, не чего-то конкретного, а вообще ждали — удачи, перемены судьбы, изменения климата, конца света — кто знает! Фиксатая баба в замызганной кофточке подошла, пихнула сидящего ногой и позвала, хихикнув:

— Володь, а Володь!!

— Ну что тебе?

— Идем яйца колоть.

Снова захихикала и вошла в магазин. Павел следом за ней.

При входе в магазинчик сбоку на стуле сидел *опять же в змеином пятнистом обмундировании* с кобурой на пузе и черной резиновой дубинкой на коленях толстый и малоподвижный жлоб, вроде бы охранявший Раечкин магазинчик. «Вроде Володи», — припомнил он вдруг поговорку Владика. Хоть хозяйкой была Рая, райским магазинчик назвать было трудно. Но — чистый, светлый. В одном отделе напитки и курево, в другом колбасы, сыры, масло. Господи! Трудно представить, глядя на все это, пустоту магазинов до 1992 года. Неужели пустота эта опять вернется? Народу у Раечки в магазине совсем немного. Да и кто сюда заходит? Контингент понятный — не домохозяйки, а пробегающие мимо, спешащие домой или в гости мужики и девичьи не очень твердого поведения, престарелые алканы, жены, несущие «пузырек» своему хозяину жизни, и прочие случайные люди.

А вот и Раечка, Раиса Власьевна! Она протягивала интеллигентному на вид мужичку кристалловскую «Завалинку» и банку шпрот. Очевидно, на работе выпивон. Глазки у хозяйки сверкали, крашенные губки улыбались бородатому покупателю, крашенный блондинистый локон выбивался из-под синего платочка.

— Привет, моя улыбчивая, — сказал Павел, стараясь опередить фиксатую тетку, похоже, постоянную Раечкину клиентку.

— Пашечка! — расплылась навстречу ему хозяйка, забыв сразу предыдущего покупателя.

«Пашечка» у нее звучало почти как «пышечка». Плотноядно, смачно, как у гурмана. Казалось даже, что она облизывается, как кошка перед куском мяса. Когда-то Раечка активно *хотела* его. Более того, видя слабость его к женскому полу, втайне, быть может, думала объединить их разрозненные комнаты в одну квартиру, тем самым решив жилищный вопрос. То в ночной рубашке на кухню выйдет, то ванную комнату не запрет, когда моется, то апельсинчиками его угостит, то предложит обед приготовить, а то любила, подняв платье и показывая свои молодые еще ноги, выходить к нему в колготках и спрашивать, идет ли ей эта амуниция. Но Павел тогда устоял. Вначале его испугали ее матримониальные планы, а после, когда она и *просто так хотела*, уже себя не мог переломить, чтобы лечь с ней.

Да и правильно, как оказалось. Желание решить жилищный вопрос Раечку не покидало. И она старательно принялась подкладывать Павлу свою дочку, десятиклассницу Зиночку, надеясь на ее девичье тело и применяя все те же приемчики по соблазнению. Но тут в их квартире появился Владик Лбин, кореш Зиночкиного одноклассника. Этот девятнадцатилетний мордатый жлоб успел сачкануть от армии и, обретаясь в непробудном хамстве, чувствовал себя покорителем жизни.

Он был какой-то заматерелый уже: громоздкий, мясистый, совсем неспортивный, но полный *чудовищной, просто первобытной мощи*, с красными, все время словно бы жирными губами (он их постоянно вытирал рукой), с приспадающими модными брюками, обтягивавшими его выпяченный толстый зад. Рыгая, он брался рукой за грудь и говорил густым голосом: «Привет из глубины души». И смеялся. Чем-то напоминал он Павлу *императора Нерона*, быть может, полным неразличением добра и зла. Сластолюбивый,

развратный, он к своим девятнадцати, казалось, перепробовал все пороки: разумеется, напивался не раз; распутничал с женщинами, «телками», по его выражению; кололся и принимал наркотики; и даже ездил с какими-то темными компаниями к «трем вокзалам» и на квартиры, где сходил за большие деньги с мужиками.

Избежать контактов в маленькой коммунальной квартирке было невозможно, волей-неволей всех объединяли кухня да ванная с туалетом. И пока Павел готовил себе ужин, выходявший на кухню покурить Владик рассказывал о своих полублатных подвигах, не стесняясь присутствия Зиночки или ее матери. Более того, когда Зиночка выходила с кухни, он не упускал случая то за грудь потискать, то по заднице похлопать Раису Власевну. Та не противилась, томно посматривая при этом на Павла. А он *вроде как бы не замечал*, с любопытством слушая Владика. Рассказы мордатого жлоба были по-своему живописны.

«Понимаешь, блин,— говорил он,— кореш один, из Зинкина класса малый, решил от армии отмотаться. Я ему говорю: «Ставь пива, с друзьями обсудим». Стоим, значит, у палатки, гутарим, пивко сосем, ему объясняем, что с сотрясением мозга все в порядке будет — в момент комиссуем. Но сотрясение почти настоящее быть должно. Здесь, мол, его долбанем и «Скорую» вызовем. Тот струхнул, конечно, отнекиваться стал. А один мой братанчик на коленки сзади того присел, я и говорю этому корешу: «Сейчас, блин, у тебя наступит сюрпризный момент». И в зубы ему. Тот через спину братанчика кувырнулся, бестолковой своей — об асфальт и сознание потерял. Не, мы его не бросили, «Скорую» вызвали». «Ну и? — спрашивал Галахов.— Комиссовали его?» «Ага, у его печенка никуда оказалась».

Когда Павел, варя себе что-либо, сидел на кухне с книгой, Владик гоготал и спрашивал всегда одно и то же:

— Ну, Павел, ума прибавил?! — И утешал, видя растерянность сидящего за книгой: — Да нашим с тобой бестолковкам — все едино, ничего в них не держится. Нам бы стакашку и за сосок бродяжку.

Павел терялся от его самоуверенного хамства, от того, что свое *мироучивство* тот совершенно искренне почитал *мерой всех вещей*. Галахов оправдывал собственное неумение противостоять Владиду *научным любопытством*: мол, перед ним *типаж*, который *заслуживает изучения*. Одно было хорошо, что в квартире появился *жених*, а Павел из этой роли выпал. А еще через год соседи сделали себе отдельную квартиру. И, быть может, не встречались бы они больше, если бы не этот магазинчик у метро. Попадая на «Алтуфьево», он заходил сюда, а Раечка продолжала всячески выражать ему свою симпатию.

— Пашечка,— повторила она,— давно не был. Чего желаешь? Соседу ни в чем отказу нет.

Кто-то громко икнул. Краем глаза Павел увидел фиксатую бабу и щербатого деда в шапке-ушанке, вылинявшей синей рубашке, только что вошедшего и громко пьяно икавшего. Фиксатая хлопнула деда по плечу:

— Ты что, дядя Петя, в шапке? Озяб?

— Озяб, Валечка, озяб,— с готовностью ответил дед.

— Ну, озяб — так натяни... назад! — засмеялась тетка.— В долю войдешь? Дед радостно закивал головой.

Раечка, жестом попросив Павла подождать, перегнулась через прилавок и спросила вошедших:

— Давайте быстро. Чего вам?

Тон фиксатой стал неуверенным:

— Мне бы, Раис, чего покрепче тыщ на двенадцать. В долг, а? Завтра принесу. А?

Быстро схватив протянутую бутылку, она, засмеявшись нагло, сказала интимно-громким шепотом:

— Слышь, Раис, тут Колянню, ну этого, белесого, с длинными патлами, мусор в ментовку повел. Ты хахалю-то своему, Зинкиному мужику, скажи. Они вроде корешат.

Раечка цыкнула на нее, не глядя в сторону Павла:

— Получила свое — и катись!

Тетка нахлобучила деду ушанку на глаза и, подхватив его под руку, повела из магазина.

Раечка исподлобья глянула на Павла. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя он все знал, да и Раечка знала, что он знает, но оба делали вид, что ничего никому не известно. Но отъединиться и спрятаться в коммунальной квартире невозможно. И то, что Владик, женившись на Зиночке, трахается не только с ней, но и с ее матерью, не было для него секретом. Сколько раз поздно вечером он видел распатланную жидковолосую Зиночкину голову, опущенную на кухонный стол; из-под прикрывавших голову рук доносились жалкие всхлипы. Судя по ночной рубашке, она опрометью вылетала из комнаты, не стесняясь соседа. Когда Павел спрашивал, не случилось ли что, она, подняв свои покрасневшие мышинные глазки, отрицательно мотала головой. А как-то утром он слышал, как Раечка успокаивала дочку: «Ну, Зинок, ну, Зинок!.. Теперь он здесь хозяин». Да и Владик — натура жизнерадостная — не желал ни от кого скрывать своих отношений с кем бы то ни было. Конечно, Павел старался держаться от соседей на расстоянии, не раз повторяя себе, что *не соседи по квартире, а Платон или Достоевский должны быть собеседниками и современниками мыслящего человека*. Однако по интеллигентской мягкотелости поддерживал разговор не только на кухне, но и когда Владик вторгался к нему в комнату, рыгая, усаживался на свободный стул и, совершенно не замечая нежелания с ним говорить, нес околесицу, рассказывая самое интимное, как интересную и приятную для собеседника новость. Как-то раз вломился, взявшись за грудь, рыгнул и произнес: «Привет из глубины души! Капец! За сосок Зинку подержал — теперь, говорит, делай что хочешь. А? Здорово? А сама-то девушкой оказалась». Вскоре сыграли свадьбу. Гости разъехались, Раечка тоже с кем-то уехала. Павлу деваться было некуда, он остался ночевать. Но и сквозь пьяную дремоту слышал радостный рык Владика, сопение, пыхтение и стоны. Все это припомнив, он защищающимся жестом поправил очки, чувствуя себя слабым, безвольным перед этой силой жизни...

— А мне бутылку джина. И большую — тоника...

— Разбогател, что ли? — спросила Раечка с уважением, укладывая бутылки в полиэтиленовый пакет.

— В гости иду, — объяснил оправдывающимся тоном Павел.

— А к нам когда? Места много, можешь и на ночь остаться. Все только рады будут. И Владик, и Зинка. А то после новоселья к нам ни ногой. Гордый больно. Можешь и на выпивку не тратиться, просто приходи. Есть чем напоить-накормить и куда спать уложить.

Похлопала его по руке и улыбнулась маняще:

— Приходи. А пока счастливо погулять.

— И тебе не скучать, — пригладил фатовато усы Галахов.

— На бойком месте не заскучаешь.

Павел вышел на улицу и сразу почувствовал, как тело снова обволакивает жара. Он быстро пересек шоссе и двинулся к козырьку над входом в метро, отбрасывавшему далеко тень. Казалось, что там ждет его прохлада. По дороге, порывшись в кошельке, вытащил жетон. И замер. Ему вдруг привиделось, что в хлопающие двери метро вошла Даша в обнимку с каким-то типом. Он бросился следом. То есть он был почти уверен, что это ему привиделось, что это морок, наваждение, но должен был убедиться сам. Парочку он настиг только на эскалаторе. Конечно, это была не Даша. Просто для него, сорокашестилетнего мужика с уже давно не романтическим взглядом на мир, такое казалось возможным. Даша, быть может, и не возмущалась бы его подозрением, но удивилась бы точно! А издали как похожа! Те же распущенные длинные светлые волосы, белые длинные носочки на загорелых ногах,

кремовая мини-юбочка, светло-голубая маечка — классический наряд чувствующих себя легко и спортивно юных девиц.

Эскалатор плавно ехал вниз. Мимо — по левой стороне — сбегали с дробным топотом нетерпеливые. «Те, что справа, всегда стоят», — вспомнил он слова песенки. Вот и дожил до возраста, когда не бегут, когда умеют стоять и ждать. Пусть выгляжу спортивно, пусть Даша называет *на ты*... И не только Даша... Она хоть сексуальное право на это имеет. А тот же Владик! Как он посмел! А ведь посмел. И не хватило у него, немолодого и солидного даже ученого, пороку потребовать от мальчишки перейти с хамского *ты* на уважительное *вы*. Поразительно, как соприкасаются и сосуществуют в одном пространстве разные по времени миры. И дело не только в физическом возрасте. Все мы просто соседи по планете. Но одни еще по своей душевной структуре находятся в пещерном периоде, другие добрались до варварского обычая жизни, третьи существуют принижено, как и положено было на Московской Руси, полны всяческой ксенофобии, четвертые воображают себя «птенцами гнезда Петрова», пятые влезли в Internet и видят себя уже в двадцать первом веке... Хотя и в самом деле меньше трех лет до нового столетия... Да что там столетия — тысячелетия! А основная масса просто живет, существует. Что есть — то и истина, то и хорошо, а на остальное наплевать.

Размышляя, он сошел с эскалатора и шагнул уже в раздвинувшиеся двери вагона, но кто-то внезапно положил руку ему на плечо, удержав на перроне, и воскликнул пронзительно:

— А-а! Старый греховодник! Все на девушек заглядываешься, а друзей не замечаешь! За киской небось спешишь. Ничего, другую найдешь. Пардон, вас я не хотел обидеть. Такую фемину, конечно, потерять жалко, — обратился говоривший к пробегавшей мимо очередной красивой молодке.

Это был его бывший однокурсник, суетившийся в окололитературной Москве Алик Елинсон. Единственный из известных Павлу евреев, который много рассуждал о *необходимости исхода*, но ни разу не подал заявления, и даже в любимой им Западной Европе был всего неделю с женой-циркачкой, показывавшей чудеса отечественной акробатики в парижском цирке. Сутуловатый, невысокого росточка, как всегда, в сером костюме без галстука, с прыщиками на лбу и маленькой черной бородкой. После окончания университета виделись они редко. Алик филологию забросил, где-то служил «не по профилю». При встречах, вспоминая студенческие годы, все так же напевал какие-то «темы», заговаривая с малознакомыми женщинами, пытался, как в молодости, хохмить, спрашивал, не надеясь на ответ: «Разумеется, ваша квартира в стиле постмодерна?..»

Галахову почему-то всегда было за него неловко — таким он казался жалким, неуместным, пустым.

— Как успехи? — нейтральным голосом спросил Павел. — Я думал, твоя жена Татьяна тебя давно в Париж вывезла и вы там осели.

— Кому я нужен, старичок? Женщины любят молодых, спортивных и идейно подкованных, — повторил он старую хохму из Ильфа и Петрова. — Меня и выбросить можно. Не знаменитый, не башлевый, баксов не приношу. Ушла Татьяна. Квартирка, сам знаешь, маленькая. В одной комнате большая маман, в другой мы жили. Тут не покувыркаешься. А Татьяне простор нужен был и какой-нибудь половой гигант, чтоб стрессы ее снимать. А я, сам понимаешь, ростом не вышел. В общем, *киш мир ин тухес*.

Он слабенько так хихикнул, но его примаргивающие глазки смотрели в сторону, узкие плечи ссутулились еще больше, да и принимаемый им обычно тон циника и бонвивана сошел на нет. *Потерянный и одинокий, никому не нужный* — таким он вдруг предстал перед Павлом. Однако попытался Алик перышки взъерошить и на растерянное молчание Галахова заметил:

— Конечно, ты молчишь. Тут ничего не скажешь. Но я не сдал, не думаю. Одна ушла — другие найдутся. Тут аспиранточка одна ко мне приклеилась. Вопросы задает, думает, раз я старше, то все знаю. А я ей говорю: «С моим приятелем».

лем познакомлю. Про Галахова слыхала? Он тебе все объяснит». Ты, старичок, у нас человек известный. И вообще имеешь хороший *конф* на плечах. Но не знаю, что выйдет. Она от меня подзалетела. А аборт — наотрез. Говорит, люблю тебя, хочу от тебя ребенка. А какие от меня дети?.. Хе-хе! Да и какой я уже папаша? Мне бы себя по жизни до конца дотащить и не развалиться. Это тебе пора остепеняться. Глядишь, в Думу советником возьмут. Как же, как же! Павел Вениаминович Галахов — надежда русского славянофильства! — никак не мог уняться Алик.

Он весь кривился, кривлялся, ерничал, не знал, как себя держать, и то на-скакивал на Павла, то словно просил у него защиты и помощи. А Галахов тоже не знал, смеяться или горевать вместе с Елинсоном. И в самом деле, книга о славянофилах, выпущенная Павлом в самом начале перестройки, где он пытался раскрутить ситуацию наоборот, помилив все течения, доказывала, что *ранние славянофилы*, мечтая о Земском Соборе, свободе слова и прочих вполне демократических институтах, впервые за историю русской церкви вносят личностные смыслы в отечественное православие, по сути выполняли роль русских европейцев, почитая Россию *великой и самобытной, но европейской страной*. А искривление началось с Данилевского, противопоставившего Россию и Европу. Но неожиданно для его авторского самопонимания он оказался принят *за своего* не только славянофильской элитой, но и патриотической. Один в возрасте уже, за шестьдесят, невысокого росточка, но выглядящий юно, бывший идеолог нашего *литературного самобытничества* назвал Павла «новой надеждой русского славянофильства» и призывал *беречь себя*. Весь вымытый, с белозубой американской улыбкой, одетый в хороший европейский костюм, выбрасывавший — пока слова произносил — кончик языка меж зубов вместе с брызгами слюны, он убеждал: «Весь этот западный искус пройдет, все это Россию минует, мы снова будем сами по себе, потому что закат Запада близок, Шпенглер прав, его пророчества еще исполняются, и тогда мы построим свою Европу, нашу, славянскую, общинную, братскую. И все германо-романские народы, основавшись на наших принципах, вздохнут с облегчением. И это время нужно ждать. Все сильные и умные люди тогда понадобятся России. Так что, Павел, не курите, не стоит. Это разрушает здоровье. А вам надо себя беречь для *главного*». Как этот человек, начитавшийся немца Шпенглера, собирался славянизировать Европу, Галахов даже представить себе не хотел. Слишком от этого новой кровушкой пахло. «Мало им Чечни с Афганистаном,— угрюмо думал он,— и отколовшихся от нас славян — хохлов. Как с ними быть? Тоже славянизировать по новой?»

Алик откуда-то знал про этот его разговор. Может, спяну сам Галахов рассказал?.. Вполне возможно. Но не обижаться же. Жалко было Елинсона — слишком он пыжился, чтоб показаться независимым, богемным и тусовочным современным малым. Хотя тусовки его были не далее школьных и университетских приятелей. Да и куда мог пробиться сын крикливой Хеси Марковны, давней вдовы, жившей на мизерную пенсию, да еще и *без приличных родственных связей*, причем с полным отсутствием у Алика энергичности, работоспособности и желания преуспеть! К тому же бесконечное словоговение никогда не заменяло дело. А Алик умел *только говорить*, даже не говорить — *трепаться*.

В метро — после уличной жары — поначалу ощущалась прохлада. Но скоро от духоты плохо вентилируемого помещения, пота и жара множества распаренных тел, пробежавших мимо и теснившихся на перроне, Павел почувствовал, как мокнет на спине рубашка. Хотелось в вагон, где хоть окна открыты и продувает сквозняк. Но Алик как раз с поезда сошел и *оставить его просто так*, коли уж заговорили, выглядело, как ударить и безропотно ждущего удара *маленького человека*.

Павлу это было хорошо известно.

Как-то в университетской своей юности он прихватил Алика с собой к матери, только что снова вышедшей замуж и переехавшей ко второму мужу. Мать,

любившая гостей, встретила их с приязнью. Она, собственно, даже просила Павла, не стесняясь, заходить к ней с университетскими друзьями-приятелями, чтоб ее дом не оскудевал гостями. Но когда она, держа по обыкновению в зубах сигарету, протянула Алику свою крепкую руку, а тот, примаргивая как всегда и улыбаясь *иронично-преодолевающей-все-преграды* улыбкой (так ему казалось), в ответ сунул ей свою маленькую вялую ладошку, Павел, знавший мать достаточно хорошо, увидел, что она поморщилась и оглядела сутулую фигурку пришельца уже с некоторой брезгливостью. И во все время визита у нее так и не переломилась, не исчезла эта вдруг возникшая брезгливость, как к больному дворовому псу, которого стараются обойти стороной.

Когда они вышли и мокрым осенним двором двигались к троллейбусной остановке, Алик, моргая обоими глазами, неожиданно сказал: «Старичок, мне твоя матушка очень понравилась: сильная женщина. Будешь звонить — от меня непременно поклон». Сказал как-то искренно и с некоторой даже завистью — не хватало ему в жизни сильной матери, а отца и вовсе не было. Причем обычно он старался изобразить себя богемным и выше сантиментов человеком. Зато мать, говоря с Павлом по телефону, его нового приятеля не одобрила: «Не симпатичен мне этот твой Алик. Не люблю таких. Размазня. Стержня нет. Все притворяется и выдумывает. Смотри, не стань таким. Жалкий он какой-то». «Это верно, жалкий и несчастный, — не сказал вслух, но про себя согласился Павел. — Поэтому моя твердая и светская мать ему так понравилась. Люди тянутся к тому, чего им самим не хватает». Впрочем, дружбы с Аликом так и не получилось. Не умея ничего, хотел тот быть этаким веселой и богемной стрекозой. По сравнению с ним чувствовал себя Павел умудренным *крыловским муравьем*. Потом он женился, а Алик все холостяком тянул, дважды брал академку, отстал на пару лет, но на их курс — к старым друзьям — постоянно захаживал. Потом ушел на вечерний, потом не мог никак защитить диплом. Удалось ему это, кажется, лишь с третьей попытки. Наконец, женился, работал шестеркой на какой-то киностудии. А вот теперь, как выяснилось, и в женитьбе *потерпел фиаско*.

— Старичок, я вижу, что шокирую тебя своим присутствием, ты даже глаза в сторону отводишь, — продолжал Алик, похлопывая Павла по плечу, — но ничего, сейчас я исчезну. Дай только поцелую тебя, как старого и, быть может, единственного друга. Знаешь, старичок, я в молодости тебе подражать хотел. Но силенок не хватило. Не всем, не всем карабкаться в гору, некоторые должны и у подножия посидеть. Но если б ты знал, Паша, как мне тошно от себя и одиноко! — вдруг с силой выговорил он и разморгался так, что, казалось, сейчас заплачет.

Галахов смутился, устыдился и, не очень задумываясь, а удобно ли это, пригласил Алика к Лене Гавриловой, сказав, что да, сейчас он спешит, да, к девушке, а у Лени они смогут спокойно побеседовать, потрепаться, люди там будут хорошие, ему все будут рады, там и письмо какое-то почвенническое читаем, что-то вроде святого источника, тебе понравится (*«ведь все же евреи на самом деле славянофилы, так что тебе будет интересно»*), на листке из блокнота нацарапал адрес, добавив, что на выпивку можно не тратиться, там в этом недостатка не будет, а лишний хороший человек всегда лучше лишней бутылки, тем более, если не хватит, всегда можно в ларек выйти и купить, поэтому не стесняйся, а часам к семи подгребай, посидим уютно.

И Алик согласился.

— До свиданья, старичок, тогда до вечера, *до через три часа*, заодно и новую твою *пассию* погляжу, — старался Алик не потерять лица. — Посидим, может, и старых своих *чувих* повспоминаем. А я пока к *лабуху* одному заскочу, может, кассеты новые прихватю, — пытаюсь сразу стать нужным, употребляя по-прежнему сленг начала семидесятых, моргая и глядя на Павла заслезившимися вдруг глазами, он отступил назад и растворился в толпе.

Галахов вошел в подошедший вагон, хлопнули сомкнувшиеся двери, и долгая темнота тоннеля словно сделала ярче свет салона, освещая таких раз-

ных и таких одиноких людей. Разве что хихикающие длинноволосые девицы с крашеными губами и плебейскими лицами казались *стайкой*. Но распадется через пару часов эта стайка — и снова каждая из них сама по себе. Напротив Павла сидела с прямыми светлыми волосами до плеч, большими глазами, неухоженной кожей, но с благородным открытым лбом и очень грустным, удлинненным и грубоватым лицом молодая женщина лет двадцати пяти. Одетая в коричневые потрепанные джинсы с зауженными брючинами, туфли на высоком каблуке и полинялую майку цвета желтого осеннего листа. Высокая грудь... «Что за грудь, что за душа!» — невольно вспомнил он с усмешкой слова Ленского, заметив свой оценивающий взгляд и одергивая себя. И все-таки грустные лица кажутся полными тайны, оправдывался он. Но отвернулся в сторону.

Миновал глазами жену с мужем и их четыре огромных розово-полосатых сумки чехословацкого типа — похоже, что приезжие, занимаются мелкой торговлей. С удивлением заметил стоящего неподалеку бомжа с длинными ресницами и красивыми глазами, которого недавно наблюдал у Раечкиного магазинчика. Рядом с ним длинного, очень худого мужика с глазами навывкате, впалыми щеками и глубоким шрамом через всю скулу; мужик смотрел мимо всех и производил впечатление маньяка. Глядеть на эту пару было неприятно и даже почему-то жутковато. Галахов повел глазами дальше. А дальше сидел стриженный наголо парень в джинсовой куртке с короткими рукавами, одетой прямо на голое тело. Мускулы на руках, на груди бугрились, как у Шварценеггера. Выражение физиономии у парня наглое и хамски-задиристое. И Павел вспомнил, как только позавчера по какой-то телепрограмме видел интервью *со стаяй* таких вот стриженных наголо тинейджеров, которые называли себя, кажется, *скинхедами*, и главарь их твердил, что они все вроде как «*белые*», а потому против черных, кавказцев и жидов, то есть евреев, потому что жидов еще их родители учили ненавидеть, а негров и кавказцев они сами нагляделись; что нет, они не фашисты и не коммунисты, вообще против социализма и национал-социализма, а только считают, что в Москве должны жить одни *белые*.

«А ведь это как бы наше будущее, — с удивлением сказал себе Павел. — Однако почему-то не хочется в такое верить, даже думать о таком не хочется. Но так же, наверное, не верили в возможность большевизма все эти дореволюционные приват-доценты и профессора, считая Ленина и его соратников *дикарями*, а ведь так удобно уже жить в *цивилизации* — в просторной квартире с теплым клозетом, читать толстые книги, думать и писать. Нет, конечно, цивилизация выше дикарства, а потому на этих дикарей и внимания обращать не стоит. Так они думали. И просчитались. А потом к ним вламывались и выгоняли их из обжитых квартир, лишая рукописей и библиотеки, пьяные *братишечки*, осуществлявшие на практике идеалы *российского братства*, которого-де не знает Запад».

— Станция «Пражская». Конечная. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. — Громкий женский голос из динамика встряхнул Павла. Он выскочил из уже почти пустого вагона, посмотрел на часы — без четверти шесть, на полчаса раньше приехал. Если же учесть, что минут на пятнадцать Даша непременно опоздает, то ждать ему не менее сорока пяти минут, а то и часа. Ну что ж! Мимо вагонов шли, заглядывая в каждый, молоденькие милиционеры в бронежилетах с автоматами через плечо. Картина теперь обычная. Ищут взрывчатку, боятся террористов, а завтра поддержат своим оружием какого-нибудь демагога!.. Павел поехал и пошел к выходу.

Пройдя мимо бесчисленных киосков, ныне возведенных у каждого метро, тем более окраинного, Павел двинулся к условленному месту, решив посидеть в тени на лавочке и спокойно почитать, раз уж раньше явился. Он уселся на край длинной скамейки, поставив рядом портфель и сумку с бутылками. Тень пропыленного американского клена хоть кое-как, но закрывала его от солнца. Он подвинулся в более затененный угол, раскрыл портфель и выта-

щил томик прозы Алексея Ремизова: там читаемая им повесть «Пятая язва».

Но прежде, чем открыть книгу, взглянул на часы. Еще минут двадцать ждать. Посмотрел по сторонам. У ближайшего киоска на солнцепеке стоял давешний, из метро, длинный малый с впалыми щеками, взглядом манька и глубоким шрамом на скуле, все так же уставившись в никуда. Рядом с ним пристроился подросток лет пятнадцати с шеей, перебинтованной грязно-белым бинтом. Они грызли семечки и перебрасывались короткими неслышными репликами. Глянув на них, Галахов почувствовал непонятно почему неприятный привкус металла во рту. И подумал, что именно о таких писал Ремизов.

Он открыл книгу и начал читать, чувствуя, как ужас Ремизова входит в его душу: «Когда на аграрном погроме, спалив усадьбу, погромщики выкололи глаза лошадям, когда в еврейском погроме громилы вбивали в глаза и в темя гвозди, когда хулиганы, ограбив прохожего, отрезали ему губу так, ни для чего, когда революционеры убивают направо и налево по указке какого-то провокатора, когда воры распяли купца, прибив его руки гвоздями к стене, а ноги к полу, требуя денег, когда судья оправдывает явного убийцу-погромщика,— кто это делает, какой народ?.. А хихикающее трусливое общество с своим обезьянским гогомом, бездельное... Лентяи и тунеядцы, воры, желающие выгородить лень свою и кричащие на всех перекрестках свой дешевый погромный клич и в этой травле видящие все русское дело!»

Павел закрыл книжку, заложив палец между страницами: «*Хихикающее!*.. Это точно. Почему-то все они подхихикивают — и славянофилы, и почвенники, и патриоты, которые, как только возможно становится, превращаются в *зверски серьезных* демагогов. Причем не жалеющих ни чужой, ни российской кровушки. И никакой Запад нас криминально-корыстолюбивому зверству не учил. Свои традиции хороши. Когда нынешние постдиссиденты и политиканствующие попы клянутся предреволюционной Россией как светлым Христовым царством, где расцветали искусство и литература, то кажется, что они текстов этой самой литературы не читали. Всё воображают, что только Горький писал о «свинцовых мерзостях русской жизни». Горький еще лакировщиком был. Ужасом были полны поэты и писатели, на вулкане чувствовали себя. Вулкан и рванул...»

Быть может, его впечатлительная душа и дальше крутила бы одну и ту же мысль по поводу бесконечно-однообразных отражений русской жизни в русской литературе, но, слава Богу, появилась Даша и прервала его тягостные, похожие уже на шизофрению умствования.

Она подошла, виновато опустив плечи.

— Заждался? Ты прости! Я так бежала...

Павел сидел, глядя на нее, не отвечая и не поднимаясь.

Она смущенно опустила сумочку пониже, прикрыв колени.

— Ну что ты так смотришь? Ноги толстые, да? Бедра, да? Но я ведь тебе нравлюсь?..

— Еще как! — ответил он пересохшим сразу ртом.

Почти физически осязал он ее тело, даже когда только смотрел на нее, и не хотелось ему идти ни в какие гости, а подхватить Дашу — и к себе домой, в постель. С удивлением, а порой и болью душевной чувствовал он, что и она относится к себе, видимо, глядя на себя глазами мужчин, как к пище, мясу, вещи. Он засунул книгу в портфель. Надо было вставать и идти к Лёне.

— Слу-ушай! — Она присела, прижалась к нему, засмеялась нежно. — Подвинься, ну. Тут у одной моей знакомой девочки такое несчастье случилось!.. Просто кошмар. Мы с ней сегодня полдня по телефону проговорили. Я немножко из-за нее и опоздала.

Каждый раз, когда Даша рассказывала о своих подружках, ему казалось, что эти истории открывают дикий и не просветленный никаким словом и духом мир, вульгарный, с каким-то убожеством интересов и потребностей, столь не подходящий для нее. И непонятно, как эта нежная и чуткая девочка не только жила в нем (все мы живем в кошмарном мире, ибо другого не дано), а еще и со-

чувствовала его обитателям. Ему хотелось вытащить ее оттуда, но вытащить можно было только одним способом — женившись. А к этому он не был готов.

— Что за дурацкое выражение — «знакомая девочка»? — вот и все, что он нашелся сказать, вставая и поднимая ее за локоть.

— Ну, у соседки моей, — послушно поправилась Даша. — Из нашего подъезда. Почти подружки. Правда-правда. Знаешь, что произошло?.. Я сейчас расскажу. Просто жуть.

Они повернули за угол и среди характерной для окраинного метро вереницы автобусных остановок нашли свою. Уже стояла очередь, и немалая. Конец рабочего дня. Когда Павел первый раз ехал к Лёне в Чертаново (которое тот прозвал *Чертаново-на-Роганово*), то был поражен отсутствием нормальных лиц — сплошные рыла, рожи и хари, как в американских фильмах про монстров. Причем ехали они тогда под Рождество, надели маски уродов, и думали, что пугают народ, пока не увидели, что в автобусе *все такие*. Он крепче обнял Дашу за плечи, слегка даже стиснув, словно защитить хотел, и глянул по сторонам, потом на вдруг потемневшее небо. Лица людей, остальные и озабоченные, на этот раз не показались ему рожами. Так, ничего особенного, лица как лица. Зато небо словно налилось предгрозовой тяжелой темнотой. «Вот отчего жара так давила. Гроза, похоже, будет».

— Смотри, как потемнело. Худо, если в дороге застанет, — сказал он, прерывая Дашин рассказ.

— Не застанет! — весело ответила она и улыбнулась ему с тем выражением на лице, которое только и бывает у любящей, приносящей себя в дар и в жертву женщины. — И вообще грозы не будет, если ты ее не желаешь. Я ведь колдунья, а когда с тобой, то вдвойне: я тогда могу повелевать природой. Правда. Вот увидишь! Но тебе разве не интересно, что я рассказываю? Глупости, да? — Он прикрыл веки, показывая, что, напротив, ему интересно. — Нет? Тогда слушай. Галинка, ну, это моя соседка, влюбилась тут в одного композитора. У него три песни подряд в хиты попали. И она все пыталась уложить его на себя. А на днях, ну, когда ты был очень занят и не мог со мной встретиться, мы к нему поехали. Галинка, я и еще одна девочка, Иринка. Знаешь, он еще молодой, не больше тридцати. (*«Не то что ты, старик!» — подумал про себя Галахов.*) И при этом разведенный. Галинка хотела нам его показать, чтоб мы оценили, а потом уехали. Но Иринка как села, так ни с места. Он сначала ко мне стал клеиться, а потом у Иринки снял телефончик. Представляешь? Ну, ясно стало подружке, что ничего не получается. Галинка чуть не плачет. Тогда эта вторая девочка, Иринка, вроде как опомнилась и пригласила нас к себе. Галинка к ней поехала, а я домой, чтоб с утра к тебе ехать. Ну, вчера мы с тобой были, — она счастливо засмеялась, — а Галинку вроде как Иринка от стресса спасала. Кофе отпаивала, коньяком хорошим. У нее родители вечно по заграникам. И тут вдруг припирается этот дебил Юрка, он, оказывается, еще и Иринкин любовник. Она, сучка, это от Галинки скрывала. А тут все как на ладошке стало. Кошмарная ситуация, правда? Но Галинка молодец: и виду не показала...

— Кто это — Юрка?

— Галинкин муж. Я тебя с ней обязательно познакомлю! Во какая девчонка! — Даша говорила громким полупшепотом, ухватившись за плечо Павла, чтоб не упасть. Они уже стояли в салоне автобуса, зажатые людьми.

— Ну и дальше?.. Как ситуация разрешилась?

— Ну, Галинка ему бы подружку свою простила... С кем не бывает! Я бы, конечно, ни за что не простила. — Она сжала его плечо, смеясь. — Но Юрка — это такая сволочь!.. Ему на Галинку плевать. Как-то раз целых три недели домой не являлся ночевать. И даже не позвонил. А родители его все ее успокаивали, что муж сам себе и своему времени хозяин. Они что-то вроде новых русских, но провинциальных таких. Вкуса совсем нет. Дорогое для них — значит, хорошее. Всякие импортные мебельные гарнитуры накупили, ковры, хрусталь, вилки в каждой комнате. Галинка, когда это все покупали, рожи строила и говори-

ла: «Накупили вещей и почему-то в мою квартиру составили!» У нее своя квартира — отец ей еще в советское время сделал. Галинка — молодец! А Юркины им две машины — «Жигули» и «пежо» — приобрели. Скажи, зачем две?

— Пожалуй, и в самом деле одна лишняя,— стараясь быть серьезным, ответил Павел. Рассказ Даши был длинен, запутан и поражал полным смещением нравственных ценностей.

— Вот Юрка и думает, что ему все можно,— продолжала она, не замечая его усмешки.— Галинка мне сегодня звонила, просила к себе спуститься. А я отказалась — к тебе спешила. Тогда она и рассказала — быстренько, по телефону, что Юрка в отместку ей за композитора, уехав в тот вечер от Иринки, подцепил какую-то бабу и переспал с ней прямо в Галинкиной постели. А ее домой в ту ночь не пустил. Ей пришлось к отцу ночевать ехать.

— Ну и что теперь с твоей Галинкой? Рыдает?

— Ты что? Она не такая. Ты просто ее не знаешь, а потому не понимаешь. Конечно, вначале она поплакала, но теперь уже ничего. Она теперь думает, как ему отплатить. Но все равно какой кошмар!.. То с этим композитором кретинским, а потом родной муженек такую подлянку кинул.

В автобусе стало посвободнее, и они сели. Павел снова обнял ее за плечи. Даша прижалась к нему, заглянула в глаза.

— Что ты так смотришь? Ты на что-нибудь рассердился?

— Нет, конечно, нет. Что за вопрос? Как я могу? — бормотнул в ответ Павел, испытывая вдруг неожиданное ощущение отстраненности — от Даши, от себя самого, от окружающего, как будто душа вылетела из тела и наблюдает происходящее со стороны. При этом его душе казалось, что тело совершает сегодня (да и всю жизнь!) какие-то странные передвижения в пространстве, ненужные, не соотносимые с отмеренным ему человеческим временем жизни. Все эти передвижения и перемещения по большей части бессмысленны, не имеют в себе чего-то главного. Но чего? Павел попытался сосредоточиться, прорвав эту отстраненность. И сразу потерял мысль.

Даша продолжала заглядывать ему в лицо.

— Ты о чем думаешь? Думаешь небось, с какой дурой связался, а теперь еще и с собой взял... Разве не так?

— Не так.

— Ну а если не так, тогда улыбнись мне. Посмотри в окошко. Видишь, никакой грозы и нет. Все разъяснилось. Мне надо верить.

— Я и верю.

— Вот и правильно. Так и продолжай.

Автобус остановился.

— Нам сходить.— Павел быстро вскочил и ринулся к выходу, потянув за собой Дашу.

Автобус уже тронулся, двери, однако, еще не закрылись, и они выпрыгнули на ходу. Соскочив в какую-то рытвину, Галахов чуть споткнулся, но устоял на ногах, подхватил Дашу и огляделся. Нечасто добирался он до Чертанова — с одного конца Москвы на другой. Когда-то они с Лёней росли в одном дворе, а потом те самые разнообразные перемещения в пространстве, о которых он только что задумался, оторвали их друг от друга. И встречались они либо в центре, либо по большим праздникам — вроде сегодняшнего дня рождения. Автобусная остановка была у глинистой, в трещинах дороги, и вела та к двойному ряду блочных девятиэтажек бледно-голубой расцветки. За ними находилась насыпь железной дороги. На просвет между домами виднелись стоявшие в ряд хилые тополя, как бы отгораживавшие «жилой массив» от этой насыпи. Вдоль глинистой дороги и за шоссе сохранялся поросший бурьяном, изобиловавший ямами и канавами пустырь. Это была та часть Москвы, что обычно именуется окраиной, место, которое уже нельзя назвать деревней, но оно еще и не город. Наиболее типичное состояние российской жизни: «И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село».

Теплый летний вечер всегда выманивает на улицу людей. Особенно на

городских околицях. У подъездов девятиэтажек виднелись кучки людей, группировавшиеся весьма живописно, как крестьяне и горожане на картинах Брейгеля. Кто сидел за столиками, врытыми в землю, кто на сваленном бревне с поставленными у ног бутылками; старухи и старики болтали, мостясь на лавочках; несколько человек — по двое и по трое — прогуливались на краю пустыря, а вокруг них носились собаки; у подъездов стояли машины разных марок, около машин жестикулировали какие-то парни; дети лазали по «паутинке», качались на качелях; совершали вечерний променад семьи; навстречу Даше и Павлу спешила группка совсем юных девиц в коротеньких платьицах, двигавшихся, очевидно, к автобусной остановке; откуда-то из-за ближайших домов доносился звук гармошки; потом следом за девицами появилась компания парней провинциально-окраинного типа — с хамскими громкими голосами, разнузданными и грубыми движениями, пихавших и хлопавших друг друга по спинам, громко оравших и гоготающих.

— Нас здесь сейчас просто зарежут, и мы так и не попадем в гости к твоему другу, — полуиспуганно-полусерьез прижалась к нему Даша. — Как ты думаешь, что скажет моя мама, когда узнает, что меня зарезали вместе с каким-то ей неизвестным мужчиной?..

— Не говори глупостей, — ответил Галахов и крепче сжал ее локоть, словно передавал ей свою силу и уверенность. Но сам сжал зубы и обошел компанию так, чтобы Даша была с внешней стороны, как бы закрывая ее от этих парней.

Они разминулись с ними довольно спокойно, несмотря на громкий мат и рёгот, на пару минут окутавший их, хотя бежавший сбоку компании шпана-недоросток попытался поставить Павлу подножку — просто так. Не получилось — и он побежал дальше. Столкновения не состоялось. Но чем ближе они подходили к Лениному дому, тем медленнее шла Даша. Наконец она остановилась.

— Знаешь, я, пожалуй, не пойду. Вернусь домой. Я подумала, что там будут твои прежние женщины, и они все будут меня с ног до головы оглядывать.

— Ну что ж, ты неплохо выглядишь. Мне есть чем похвастаться, — усмехнулся Павел, испытывая невольный приступ самодовольства при взгляде на стройную юную девушку, в него влюбленную и принадлежавшую ему. Но тут же спохватился, добавив: — Ты моя радость! Не беспокойся. Там вовсе не ожидается «моих прежних женщин».

— Нет, нет, я не пойду. — Она остановилась, опустив голову и носком туфли выдалбливая ямочку в песке рядом с асфальтом.

Молодые мужики около полуразобранных «Жигулей», живо обсуждавшие свои автомобильные проблемы, замолчали и с тяжелым любопытством уставились на препивавшуюся парочку. Две старушки, сидевшие на скамейке с вязаньем, тоже смотрели с интересом. Даша обняла Павла за талию и потянула прочь от Лениного подъезда в сторону гармошки и разудалых *простонародных вскриков и песенок*. Павел послушно пошел следом за ней. Местные обитатели провожали их глазами, не двигаясь, однако, с места.

За следующим домом на вытоптанной лужайке собрался давно спянный и спевшийся многочисленный круг пожилых мужчин и женщин — жителей этого «жилого массива», *соседей*. В середине круга кто-то пел и плясал. Играла гармошка. На Дашу и Павла внимания не обращали и голов не поворачивали — были увлечены своим весельем. Зрелище напомнило Галахову воскресные гулянья из «раньшего времени», из его детства, только что нет массовика-затейника, буфета, где крашенные бабы в белых халатах торговали жигулевским пивом и фазоскими бутербродами с застарелой колбасой и сухим сыром, нет также и аттракционов и детского оживления и визга. Детям такие гулянья были в особенную радость, ибо, помимо интереса, казалось, что приобщаются к таинственной жизни *взрослых*. А бутерброды с сухим сыром и лимонад становились настоящим пиршеством. Но в этом круге пожи-

лых, между пятьюдесятью и шестьюдесятью, хоть и пило пиво и некоторые весьма даже раскраснелись, все же не было молодого разгула и детской радости, не походило это и на деловитую мужскую попойку, однако не было еще и старческого воспоминательного брюзжания... Было то, что было: компания пожилых мужчин и женщин, которые разгоняют усталую кровь.

Даша протиснулась в первый ряд круга, Павел — за ней. На поставленном стоймя пластмассовом ящике сидел гармонист в меховой безрукавке, склонив правое ухо к инструменту. Вместо левого уха багровел огромный ужасающий шрам — казалось даже, что с этого бока в черепе есть какая-то выемка. Распаренная, уже мокрая от пота коренастая баба на коротких толстых ногах, притопывая и помахивая платочком, кружилась на одном месте, а невысокий рябой мужичонка в майке-сеточке ходил кругом нее, пронзительным и придурковатым голосом выкрикивая частушки. Каждая частушка сопровождалась смехом толпы.

— Пойдем, уже время, пора, нас ждут, — каждые несколько минут шептал Павел, но Даша только передергивала плечами. И упрямо смотрела и слушала.

Мужичок перевел дух, женщина вытерла ему платком потный лоб, промокнула себе шею и ложбинку между грудями, а затем они встали друг против друга и принялись петь по очереди.

Женщина, обращаясь к рябому, пела игриво:

— Вспомни, милый, как дружили!
Поврозь спали — дети были!

Рябой пел не в лад партнерше, обращаясь не к ней, а к толпе:

— Меня девка заразила,
А ей всего семнадцать лет.
А жена моя сказала:
«У ей на это права нет!»

Все снова засмеялись. Даша вдруг покраснела и возмущенно фыркнула. А Галахов воспользовался случаем и потащил ее за руку из толпы. Она, не сопротивляясь, шла за ним. Опять они миновали все тех же обитателей Лёниного двора, нырнули в подъезд, вызвали лифт, и Павел нажал кнопку седьмого этажа. Их повлекло вверх, подальше от жизни городской окраины. Даша задумчиво смотрела на своего спутника. Она жила на Тверской, за магазином «Подарки». Пару раз он был в ее громоздкой четырехкомнатной квартире, где она жила с мамой и бабушкой. Жилье получил еще ее отец, очень крупный врач, умерший пару лет назад. Павел погладил Дашу по плечу, успокаивая ее и себя:

— Занесло, однако, Лёню в райончик! Мои Медведки тоже, конечно, будь здоров! Я раньше думал, что принцип смешения интеллигенции с варварами и хулиганами — сталинское изобретение, что дворяне были все-таки отделены и защищены. Но нет. Они жили в своих поместьях посреди моря народного, и в любой момент им могли пустить *красного петуха*. А потом пришли большевики... С *духом*, духовностью они поначалу ничего не могли поделать, но *тело* оказалось как бы оголенным и незащитным. И большевики подвергли унижению и мучениям человеческое тело, которое есть сосуд духа. Мучением тела добивались от людей предательства духа. А стало быть, ввергли мир снова в варварское, доцивилизационное состояние. Ты знаешь, когда я вижу большинство *наших людей*, я понимаю, что для них тело не сосуд и хранилище духа, аместилище пищи и дерьма. Ну, ты извини, я разболтался...

Даша взяла его ладонь, сжала ее, привстала на цыпочки, потерлась лбом о его висок и поцеловала в щеку.

— Ты ужасно умный, — шепнула она.

С того самого курса лекций, который он прочитал на втором курсе филфака, эта девочка так и прилипла к нему, сказав, что *всю свою жизнь* (а было ей девятнадцать) мечтала быть подругой умного и творческого человека. И вот она его нашла, ей повезло, и ничего другого она искать не собирается.

Двери лифта открылись, они вышли. И сразу же, повернув налево, уткнулись в дверь с непрозрачным стеклом, номерами квартир на металлических полках и четырьмя звонками. Павел протянул руку к одному из них, собираясь надавить кнопку.

— Сюда, — сказал он. — У Лёни квартира своя, зато коридор общий.

— Обожди минутку. — Даша раскрыла сумочку, вытасила пудреницу, открыла ее, посмотрела в маленькое зеркальце на свои подсиненные глаза и накрашенные губы (она была еще так молода и хороша, что никакой макияж ее не портил), провела пуховкой по лицу, потерла пальцем губы, проверяя, как лежит помада, затем сложила и сунула пудреницу на прежнее место в сумочку, улыбулась виновато: — Теперь звони.

После глухо прозвучавшего звонка в глубине коммунального коридора слышались шум открываемой двери, возбужденные голоса, звуки музыки, щелкнул замок, и коммунальная дверь тоже отворилась. На пороге стоял хозяин, высокий (выше Павла), плечистый, смуглый, с кудрями до плеч, в ярко-оранжевой майке, облежавшей его крепкий торс. Увидев Дашу, он отступил, прижал руку к груди и закатил глаза:

— У-у, какая девушка! Извините за майку, но жара, и у нас по-домашнему. Наконец-то вы пришли. Мы уж заждались. Так что не обессудьте — без вас начали.

— Познакомься, старик, это Даша. Даша, это Лёня, мой старый друг, друг детства, рожденный в год Быка, живущий ныне, как и все мы, в год Быка, но в отличие от многих сам здоровый, как бык, — невольно заговорил Галахов привычным полуерническим тоном. — И вот тебе, друг мой, мой скромный подарок — серебряный бык на серебряной цепочке. — Он протянул Лёне заранее приготовленный маленький пакетик с подарком, перевязанный на европейский манер разноцветными выющимися тесемочками.

— *Зверобесием это называется*, — густым басом сказал рослый, квадратный, с плоским, одутловатым лицом и узкими татарскими глазами, тяжелыми набрякшими мешками-подглазниками, пристально, но одновременно самоуглубленно смотревший на них из дверей Лёниной квартиры.

— Это Игорь, *исихаст и евразиец*. Новый друг Татьяны Гродской, она его привела. Обожди, дружок, — отмахнулся от него Лёня. Евразиец басисто откашлялся и нырнул назад, в глубь квартиры.

Лёня обнял Галахова, прижался щекой к щеке, после протянул руку — ладонью кверху — его спутнице:

— Лёня.

— Даша.

— Ну ты, Павло, *как дашь, так уж дашь!* Привел к нам лучшую из Даш. Сплошной восторг! — Он наклонился и поцеловал Дашу в кисть руки. — Проходите, выбирайте себе лучшее место. Дядя Лёня вас не обидит. Хотите — на тахту, хотите — на стул. Народу сегодня немного. Летом никого не дозовешься. Я сам через неделю на байдарках думаю. А ты, мой хорошенький, все же навестил старого дружка. Можешь меня побранить. Я был противной мордой, решил, что ты уж не придешь. — Вдруг Лёня поджал губы, почти скорбно. — А некоторых мы уже не увидим. Дожили мы до возраста, когда ушедших от нас стало много.

Но витальность, энергия слишком сильны были в нем. Долго скорбеть он не мог. Поэтому, хлопнув Галахова по плечу, повлек за собой, приговаривая:

— Зато мы еще живы и можем расслабиться. Да ты погляди, какой подарок я приготовил другу-филологу!

На стене рядом с входом в его квартиру была прилеплена вырезка из газеты:

«Велик и могуч русский язык.

А говорить некому».

— Доволен, старичок? То-то! Всегда рад старых друзей повеселить.

Даша послушно шла впереди них. Комната, в которой праздновался день рождения, была расположена прямо перед входной дверью в квартиру. На сте-

нах висели Лёнины пейзажи, в углу стояли свернутые в трубку чертежи, у стены — кульман, на шкафу лежала разобранная байдарка в чехлах. А посередине комнаты большой стол, составленный из двух маленьких, покрытый скатертью и уставленный бутылками и закусками. Даша, войдя, немного робея, присела на уголок тахты, сложив руки на коленях.

Павел остановился на пороге, оглядывая собравшихся и себя являя обществу. Ему приветственно замахали руками. Но хорошо он знал только Володю Нарумова, тоже архитектора, как и Лёня, пьяницу, бабника, самодельного поэта, переполненного стихотворными цитатами из классики, утверждавшего, что он из дворян, из рода «конногвардейца Нарумова», описанного в «Пиковой даме», а потому считавшего Галахова своим. Остальных он встречал на Лёниных днях рождения, а потом из раза в раз забывал их имена. За столом сидели Володя, евразиец Игорь, еще двое мужчин и три женщины.

Вынимая из сумки бутылки, Павел увидел, что, с трудом вылезши из-за стола, к нему направляется Володя Нарумов, судя по вдохновенному выражению лица, уже изрядно пьяный. Лёня добродушно похлопал в ладоши, крикнув:

— Не мешай ему, пусть сначала выпьет за мое здоровье!

— Это правильно, — согласился Нарумов. — Сначала выпей. И подруга твоя пусть выпьет. Может, тогда и мы не будем казаться этой юной женщине такими пьяными.

Быстро выпили и закусили. После чего Нарумов хлопнул своей ладонью по ладони Галахова и сказал:

— Шумим, братец, шумим. Не презирай. Выпить тоже можно. Я думаю, славянофилы никогда против выпивки не протестовали.

Включаясь в общий пьяноватый тон, Павел быстро ответил:

— Они не пили. И не курили. А Константин Аксаков всю жизнь девственником прожил и в невинности умер.

— Тебе лучше знать. Значит, ты не настоящий славянофил. Ха-ха! — рассмеялся Нарумов. Стройный, подтянутый, тонкой кости, с бледным лицом. Он почитал своим *дворянским долгом* надменно закидывать голову и говорить безэмоциональным голосом. Поэтому даже смех его звучал как-то отстраненно.

— Отчего же? — возразил Галахов. — Все меняется. Меняется время, меняются и люди. Хотя, может, ты и прав. Не очень настоящий.

— Но ты скажи: ваша верх берет или западничская? — не отставал Володя. — На поверхности-то западники, а по сути?

— Как всегда, возьмет верх народ, — произнес басисто евразиец Игорь и, подняв голову от рюмки, добавил: — Только народ наш молчалив. Он распространился по великой евразийской равнине, освоил ее и молчит. Великим подвигом не пристало хвастаться. И нам надо угадывать его сокровенную суть. Как вы ее понимаете, господин Галахов? Вы, говорят, Париж недавно посетили и на наше празднество только что прибыли, вам слово. Говорите, а я теперь буду молчать, больше за весь вечер рта не раскрою.

— Да отстаньте вы от него! — воскликнул Лёня.

Окно было открыто, и с улицы непрерывно, *фоном* слышались все та же гармошка, взвизги и песенки *народного гулянья*.

— Кто бы знал, какова эта суть! — отнекивался Галахов, направляясь к тахте. Он хотел устроиться рядом с Дашей, но неугомонный Лёня выскочил из-за стола, отодвинул в сторону Нарумова, снова обнял Павла за плечи и обвел ружейной застолье:

— Старичок, как я рад тебя видеть! Месяца два уже не встречались. И все здесь тебе рады. И женщины на нас смотрят еще с удовольствием и интересом. Это же так важно, старичок.

Павел вопросительно глянул на него.

— Не понял? — удивился Лёня. — Чтобы женщины на тебя смотрели с интересом. Это необходимо для нашей жизни. Мы же не можем жить, как деревенские. А ведь деревенские-то еще живут. Я тебе потом покажу письмо. Покажу,

покажу, без обмана. Это эпос. Родник. Мы к нему время от времени должны припадать. Как к женщине.

И, отведя в угол комнаты, зашептал тихо-тихо, возбужденно-радостно дыша в самое ухо:

— Ты на этой Даше жениться собрался? Молода очень. Па-анимаю. Сил нет устоять. Во-от, видишь, что это такое!.. Насколько они сильнее нас. То-то и оно. Хочешь остановиться, но не можешь. Экология, старичок! Природа так мужчину устроила, что ему все время новые бабы нужны. А природа мудра, ох, как мудра! Так что взвесь: нагулялся ли? Помни, старичок, третий брак — дело серьезное.

По комнате разнесся спокойный, отстраненный голос Нарумова:

— Как говорила моя бывшая жена, все это — «русское-народное-блатное-хороводное». Все эти пляски, крики, визги, песни.

— Она же у тебя еврейкой была? — спросил лысоватый, маленький, с несмелыми глазами, по имени Марк, как вдруг вспомнил Галахов.

— Почему *была*? Она по-прежнему *есть*. Только уже не в качестве моей жены. Лучшее, что Россия родила, — это русское дворянство. Поэтому еврейка и пошла за меня замуж. А я на ней женился, поскольку хотел отсюда свалить. «Где же Пушкин? Ан он в Париже, сукин сын. Ай да умница!» Но не получилось.

— А теперь что же ты? — удивилась женщина в лиловом платье и с черной бархоткой на шее. Это была Татьяна Гродская, разведенная жена какого-то поэта из постмодернистов, а ныне подруга евразийца Игоря. — Сейчас кто хочет, тот и едет.

— А это называется *чужебесием*, — сообщил квадратный Игорь. — Ах да, я молчу, — с пьяной мимикой спохватился он.

Нарумов, не обращая на него внимания, возразил его подруге тем же бесстрастным констатирующим тоном:

— Зато сейчас стало ясно, что мы на хрен там не нужны. Ха-ха! И стало понятно, что выхода из этого дерьма нет. Вы послушайте!..

— Действительно, Лёня, закрой окно, а то уж очень шумно, — капризно попросила Татьяна, женщина с бархоткой.

В этот момент раздался звонок в дверь.

— Кто бы это? — удивился Лёня. — Никого больше не ждем.

— На картах, что ли, гадать? — возразил Нарумов. — Открой дверь, и узнаем. Но прежде предлагаю еще по рюмке.

Выпили. Звонок повторился. И тут Павел сообразил, что скорее всего это *им приглашенный*.

— Лёничка, дорогой, извини, — сказал он. — Это, наверно, я виноват. Я случайно встретил в метро бывшего сокурсника. И к тебе пригласил. Ты у меня на днях рождения мог его видеть. Алик Елинсон. Он забавный. Не отяготит.

Лёня пошел открывать. А подошедшая к Павлу Даша взяла его за руку, прижалась к плечу и так, держась за него, вышла с ним в общий коридор. Действительно, это явился Алик Елинсон, нервно примаргивающий, но старающийся держаться развязно.

— Здесь, кажется, проживает друг моего друга, некто господин Леонид Гаврилов. Получив, так сказать, приглашение от моего друга Павла Галахова, я осмелился навестить вас. Но я не один. *Азохенвей!* Разве я мог прийти один? Вон Павел подтвердит, что без хорошего человека я бы не пришел. В великой Америке, разумеется, я имею в виду Соединенные Штаты, люди в свое время делились на джазистов, поклонников джаза и друзей джазистов. Я, например, друг джазистов. А поперек рэпа возвращается мода на джаз. А вот сзади меня — Майкл. Он великий джазист.

Из-за спины Алика выступил узкоплечий молчаливый парень в черных джинсах, брючины которых налегали на тяжелые американские ботинки, из воротника белой рубахи высовывалось небольшое прыщавое лицо кретина. Волосы его были напомажены.

— Очень рад. Проходите,— растерянно прижал руку к груди Лёня.

— А вот и ты, старый разбойник! — увидев Павла, воскликнул Алик.— Ну давай теперь поцелуемся.

Он пригнул голову Павла к себе и чмокнул его в щеку.

Затем взгляд его остановился на Даше.

— А это что за нежный цветок рядом с тобой? Ты его вырастил или сорвал? Цветочек краснеет и к тебе жметесь... Значит, уход хороший! Неужели ты стал садовником? Дайте я на вас погляжу, вы можете доверять опытному взгляду старого еврея. Вреда от меня уже никакого. Да, я могу только одобрить Павла. Вы им довольны? Краснеете. Значит, довольны. Как ему это удастся — не понимаю. Но завидую,— молот языком Алик, ухватив Дашу за руку.

Даша улыбнулась ему, но тут же скосилась на Галахова: так ли она поступила? Правильно ли? Павел пожал плечами. Они снова вернулись за стол. Леня принялся хлопотать, устраивая два новых «посадочных места», доставая тарелки, вилки, рюмки.

— Известно,— пьяно и громко произнес Нарумов своим холодным и бесстрастным голосом,— что русский приходит с бутылкой, а еврей с приятелем. К моей жене вечно такие ходили.

— А разве не все евреи уехали? — удивился евразиец и исихаст, которому никак не удавалось соблудности обет молчания.

— Банкиры остались,— ответил Нарумов.— И дураки.

И вдруг Галахов сообразил, что и впрямь среди студенческих лиц он давно не встречал этих черноглазых интеллектуальных мордашек, не звучали раздражавшие профессуру метафизические вопросы... Действительно, уехали. Уж так наши патриоты не хотели, чтоб отравляли русский ум и русскую душу всякие там Пастернаки и Мандельштамы, Гершензоны и Франки, Левитаны и Фальки! И на улицах теперь вместо занудливо-склочных еврейских старичков — напористые «лица кавказской национальности».

— Господа,— поднялся Алик,— я не хотел вас никак обидеть. Войдя, я сразу сказал себе: «Ба! Какие замечательные люди собрались у господина Гаврилова. Мой друг Майкл их порадует своим творчеством». Мы не с пустыми руками пришли. Мы принесли кассеты с музыкой, сочиненной и исполненной великим джазистом нашего времени. Вы, я думаю, поняли, о ком я говорю. Эти кассеты мы презентуем Леониду. Я много о нем слышал добрых слов от нашего общего друга Галахова.

Из маленькой сумочки, висевшей у него посередине живота, он достал пару кассет и протянул Лёне.

Нехотя тот взял их и положил на полку рядом с магнитофоном.

— Потом, старичок, потом,— поморщился он.— Давай сначала мы попьем в свое удовольствие, поболтаем.

— Да-да,— подхватил Нарумов,— пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик. Поднимем стаканы, содвинем их разом. Как пьяный скиф, хочу я пить, до гроба вы клялись любить поэта, мой голос прозвучит и скажет вам уныло: доколе будем мы пребывать в мерзостной трезвости? *Vibamus!*

Он пьянел на глазах. Но держался прямо, только бледнел. Язык не заплетался, а глаза разгорались горячечным упрямством.

— Что значит — *vibamus*? — спросила немного жеманно полная шатенка, уставившись на Нарумова сквозь золотые очки.

— Это переводится словом *выьем*,— сообщила нежным голоском юная филология Даша.

— О! — сказал, моргая, Алик.— Какая девушка! Такие кадры нам нужны. Я отменяю свой старинный тост «За красный флаг над тем и этим Белым домом» и предлагаю новый.— Он потянулся к Даше, чмокнул воздух, потом все же ухватил ее руку и поцеловал. Маленький, тщедушный, жалкий, он казался себе, наверно, элегантным жуиром.— За женственность, которая пробуждает в нас мужчин!

Джазист Майкл изобразил улыбку, опрокинул в рот рюмку водки и заел парой редисок. Женщина с бархоткой нахмурилась на возникшую соперницу, но тут же простила Дашу, взяв в соображение ее молодость и кобелиную прыть мужиков. Исихаст и евразиец шумно вздохнул, но промолчал и тоже выпил. А дворянин Нарумов вдруг перегнулся через стол и схватил Алика за воротник рубахи, сказав *бретерским*, ледяным и бесстрастным голосом:

— Ты куда, чмо, лезешь? Не про тебя такая! Не тобой положено, не тобой возьмется.

Алик вырвался, брезгливо махнул рукой, словно отряхивался от прикосновения Нарумова, обернулся за помощью к Павлу и Лёне:

— Ему что, мой поц или мой нос не нравится? Но это уже никак не поправить!

— Друзья, хочу вам слайды показать. Я ведь месяц назад в Греции был, — попытался отвлечь *бретера и дворянина* Лёню. — Я там себе сказал: теперь в Греции наконец все есть. Даже я.

— Нет, покажи-ка лучше нам давно обещанное письмо, — перебил Лёню Павел, стараясь тоже заговорить возникшую напряженность, но и в самом деле недолголюбивая слайды — архитекторскую утеху.

— Только не здесь! — воскликнул Нарумов. — Я уже это произведение имел счастье читать. Типичный деревенский эпос: кругом говно, но от этого какая-то благодность в мире разлита.

Лёня захохотал. Ситуация разрядилась. Джазист проглотил еще две-три рюмки и включил магнитофон. Оказалось, обработка каких-то тем Гершвина, довольно симпатично. Бутылки пустели. Пришли еще две женщины — лет по тридцать с небольшим. Пользуясь отъездом жены на отдых, Лёня пригласил их: грудастенькую и тощенькую — для себя и еще одну для холостых разведенных друзей. Задернули занавески. Женщины пьянели, сами обнимали своих соседей. Звучала музыка. Нарумов побледнел еще больше. Он сидел гордо в торце стола, наливал себе рюмку за рюмкой и пил, не дожидаясь тостов.

Галахов, чтобы отвлечься от пьянства, снова вспомнил о письме.

— Эй! — окликнул он Лёню, ворковавшего с грудастенькой. — Пока ты не забыл, покажи, где там у тебя живая вода. Ну, наш отечественный *святой Грааль!*

Лёня ошалело поднял на него глаза, не сразу взяв в толк, о чем речь. Потом сообразил, оторвался от своей уже млеющей дамы.

— С удовольствием, старичок, всенепременно. Оно у меня в той комнате. Пошли.

Грудастенькая сразу потеряла точку опоры и, чувствуя себя неудобно, ойкнула:

— Ой, вы куда, мальчики?

Даша тоже вопросительно посмотрела на них.

— Они сейчас вернутся. Понюхают наш отечественный навоз. И вернутся, — пояснил Нарумов.

В соседней совсем захлавленной комнате, куда Лёня стащил все вещи, чтоб свободнее было пировать рядом, он достал из верхнего ящика стола две тетрадных странички и, протягивая их Павлу, забормотал, как всегда, восторженно:

— Старичок! Это чудо что такое! Ты Володю Нарумова не слушай. Он бретер и циник. Ты сам увидишь и поймешь. Это не просто человек пишет, а словно сама природа. Просто, спокойно. Даже немного жутко от его спокойствия. Да ты почитай. Это брату двоюродному моей жены пришлось, он ей показал, а я подсуетился, себе оставил, хотел всем показать, а тебе, волчине, в первую очередь.

Листочки были не вынуты, а вырваны из школьной тетради, буквы крупные. Написано сплошняком, без знаков препинания и без всякой грамматики. Сначала шел обратный адрес:

146527, Я/о обл. Угличски Ра-н, Погорелка
Овсяников

Добрый день Здравствуйте Миколай Леонтьич, Анна Карповна, зоя люба и другие детки Впервых строках моего писма Спешу проздравить вас снаступающим празником трудящихся первым Маем и желаю вам хорошего здорovia и долгих лет жизни я пока еще жив и здоров немножко тоже стал прихварывать скот еще держу корову и овцу курей гусей и уток пчелки 11 домиков летошной гот такой был харошай грибов было я даже и непомню такова года урожайного часто вас в споминаю Жена уминя померла 13 Октября признавали отеки сердечные смерть была тяжолая 2 месяца толко сидела надиване в привалку сна савершено небыло помучилас бедняжка ничего неподделаеш жалко того что мало пожыла в новом доме ато пока все постарому етот детка изновгарода который был унас привас спевал песни тоже одночасьем помер вот пока такие новости сприветом Герасим Михаилович Овсяников Погорелка

— Что скажешь? Эпос? Да, это нутряное! Святой источник! Ты это правильно сказал.

— Это я за тобой повторял, не читая.

— А теперь не согласен?

— Надо подумать, — невнятно бормотнул Галахов. — Давай покурим.

Сознавая важность показанного им документа, не куривший Лёня тоже закурил. А Павел просто не знал, что и сказать. Все и так было ясно. И вправду эпос. Безличный, жестокий, спокойный. Хотя нет, не жестокий. Он ее жалеет. Просто безличный. Горе есть, трагедии нет. Все в одну строку, без выделения, без акцента. Смерть как часть жизни. А жизнь есть тут быт, а не бытие.

Их курение было прервано вбежавшим в комнату Аликом. Он раскраснелся, моргал сильнее обычного и еще прищелкивал пальцами.

— Ты бы кончал курить, старикашечка! Там дворянин этот твою Дашу насилует.

— Ты обалдел? — охнул Галахов.

Но бросил сигарету в пепельницу и ринулся к пиршественному столу. За ним Лёня и Алик. «Насилует» — было сказано слишком сильно. Но нечто близкое к этому происходило. Нарумов завалил Дашу на диван и, сцепив одной рукой ее запястья, другую запустил под платье, сопя и тиская ее тело. Даша злобно укусила его в плечо. Он не изменил своей позиции, но тут увидел Галахова и встал. И выставил вперед ладонь. Его бледное лицо снова приняло бесстрастное выражение.

— Успокойся, — голос его был, как всегда, ровен, — все нормально. Ты же не хам какой-нибудь, чтобы ревновать. Это было бы пошло.

— А это вот называется *женобесием*, — изрек, указывая пальцем на Нарумова, исихаст и евразиец Игорь. — Не слушай его, — обратился он к Галахову, — слушай великое молчание народного моря.

В окно ворвался особенно визгливый частушечный перепев, вчистую отрицавший даже возможность какой-либо ревности:

— На Востоке я была,
Бочки трафаретила,
Кто-то сзади подступил —
Я и не заметила!

Даша поднялась, губы ее были плотно сжаты, схватила чью-то наполненную рюмку и выплеснула в лицо Нарумову.

— Ты сам хуже любого хама. Ты хам и есть. Паша, пойдем отсюда!

— Обожди, — отозвался Павел. — Сначала мы с этим человеком в коридор выйдем. А ну! — Он рванул на себя за плечо Нарумова, спокойно вытиравшего лицо платком. — Пошли, выйдем.

— Что это ты, право? — ухмыльнулся, пошатнувшись, тот. — Прямо как школьник. *Я вступлюсь за честь моей девочки, мы с ней дружим*, — передраз-

нил он как бы школьную интонацию.— Мы с тобой благородные люди, дворяне. Ведь ты же *из хорошей фамилии*. Не дело нам устраивать мужицкий мордобой. Родов, обычаев дворянских теперь и следу не ищи, и только на пирах гусарских гремят, как прежде, трубачи. Лучше уж дуэль. Но, поскольку дуэль сейчас не принята, невозможно, предлагаю разыграть ее в карты. Тройка, семерка, туз. Как в «Тамбовской казначейше». Лишь талью прометнуть одну, но с тем, чтоб отыграть именье иль проиграть уж и жену. Ха-ха!

— Господи! Конечно, ни среда, ни образование, ни происхождение не избавляют человека от дикости, хотя всегда надеешься!..— Галахов вдруг и неожиданно для себя отшвырнул противника в сторону с такой силой, что тот шлепнулся на стул и вместе со стулом опрокинулся на пол, с треском ударившись головой о деревянную ножку стоявшего у окна массивного кресла.

Все охнули. Но, пошевелившись на полу, Нарумов все-таки встал на четвереньки, поднял голову и снова усмехнулся, хоть и криво:

— Мыслитель сраный! В одинокого волка играешь!.. Все равно без дворянства ты пропадешь... Без среды ни черта не выйдет...

Колени у говорившего задрожали, руки поехали, и дворянин Нарумов распластался, вытянув ноги и потеряв сознание.

Все вскочили. Женщины зашумели и запричитали. С возгласом: «“Скорую” надо!» — грудастенькая бросилась к телефону. Галахов шагнул было к упавшему. Но его взял за локоть твердой рукой Лёня Гаврилов. И помотал отрицательно головой:

— Ты, старичок, натворил уже дел. Теперь мы без тебя разберемся. Уходи отсюда подобру-поздорову. Не дай Бог милиция приедет. Бери свою Дашу и сваливай.

Павел пожал плечами, но все же подошел к упавшему, увидел, что тот дышит, и повернулся к Даше, оцепенело сидевшей на краю тахты:

— Пойдем отсюда. Он просто пьян.

Женщины смотрели на нее с осуждением. Она быстро встала и вылезла из-за стола с другой стороны от лежавшего тела:

— Куда? К тебе?

— Ко мне. Слушай,— добавил он по неожиданному наитию, но нарочито громко,— а ты бы за меня замуж пошла? Официально, через загс?

— Конечно,— не колеблясь, с готовностью отозвалась Даша.— Когда?

Лёня поднял большой палец: мол, одобряет. Он уже успокоился по поводу Нарумова, подержав его голову на коленях, щупая рукой сердце и прислушиваясь к дыханию. Тот всего лишь спал, и Лёня уже крикнул грудастенькой, чтоб она не вызывала «Скорую». Теперь ему было неловко.

— Посидите еще... Прости, что погорячился,— повинился он.— Да и Даша, наверное, хочет потанцевать. А мы сейчас танцы устроим.

— Не уговаривай. Решенного перерешить нельзя.— Галахов сам был удивлен непреклонностью своей обиды, подогретой алкоголем.

Сопровождаемые суетящимся и моргающим Аликом Павел и Даша вышли в общий коридор. Там уже горел свет. На стене все так же красовалась газетная вырезка:

«Велик и могуч русский язык.

А говорить некому».

— Друзья, возьмите меня с Майклом!.. Мы не нарушим вашего тет-а-тета, слово джентльмена! Глупо мне здесь без тебя оставаться...

Павел подхватил портфель, прижался щекой к щеке Алика.

— Извини, но мы уж сами. А вы потом. И девушки вас ждут.

— Эх, Галахов! Кому нужен старый, потрепанный боец сексуального фронта? Ладно, я умолкаю... Матушке твоей поклон. Как, кстати, она поживает?

— Нормально.

Мать Галахов не видел уже месяца три. Правда, звонил по телефону почти ежедневно. С того момента, как мать оставил ее второй муж, она сделалась ужасно набожной, каждое воскресенье посещала церковь, увешала стены сво-

ей квартиры иконками, устроила красный угол с лампадкой, читала только святоотеческую литературу. И чем меньше она верила в Бога, тем яростнее пыталась убедить других в своей ортодоксальной религиозности. Слишком независима и тверда была всегда его мать, чтобы искать опору в каком-либо конкретном человеке, да и не очень-то в таком возрасте можно было надеяться на нового спутника жизни. Разгульные подруги и приятели давно обустроились в жизни и нечасто теперь ее навещали. Вот она и рассудила, что помочь ей отныне может только существо высшее, Бог, мучая и насилая себя и других *необходимостью верить*. Она не желала, чтобы Павел навещал ее слишком часто, хорошо понимая, что от него свое неверие она долго утаивать не сможет.

Сам он в церкви бывал редко — только как любитель старорусской архитектуры. Охоты не было. Да и не верил он в Церковь — с ее обязательной соборностью, гонением инакомыслия, неуважением к собиравшимся прихожанам, толпившимся на ногах, без своего места в церковном пространстве, которое имеет любой человек из пасты католической или протестантской. Однажды в Троице-Сергиевой лавре, в *Загорске еще*, во время крестного хода от духоты упал он в обморок (его вытащил тогда на улицу Лёня Гаврилов) и решил, что *это — мистический знак, указующий на его естественную несоборность*. А Бог, конечно, существовал, иначе откуда бы взялись в человеческом существе добрые чувства. С тех пор, несмотря на друзей-славянофилов и свои писания о российском религиозно-художественном феномене конца прошлого века, в бытовых разговорах старался он темы православия не касаться. Поэтому нежелание матери общаться с ним он принял, чувствуя, что и она не хочет дебатов *всерьез*. Но не объяснять же все это Алику!..

Павел закрыл за собой *общественную дверь* в коммунальный коридор, нажал кнопку лифта. В кабине, виноватая, Даша положила ему голову на плечо и, заглядывая в глаза, спросила:

— Ты расстроен? Я повода не давала. Он сам полез. Ты поссорился со своим другом? Не грусти. Я навсегда твоя.

— Я не грущу. Я знаю это. — Павел обнял ее за талию.

«А ведь я не лучше Нарумова,— вдруг пронеслось у него в голове.— Стыдно!»

— Скажи, а то письмо, которое ты хотел прочитать, прочитал? — снова спросила внимательная Даша. — О чем оно?

Галахов раздраженно дернул плечом, не смея сейчас быть строгим к друзьям, но все же ответил:

— О том, что никакого святого Грааля не существует.

Дверь лифта отворилась, они вышли. Было уже около двенадцати.

— Я чего-то боюсь,— шепнула вдруг Даша.

Спускаясь по ступенькам от лифтовой площадки, они увидели, что у выхода торчит подросток со злым, испитым лицом и шеей, обвязанной грязным белым бинтом. С ленивой наглостью посмотрев на парочку, подросток загасил дымящуюся сигарету о стену и скользнул на улицу, хлопнув дверью.

Тогда и Павел тоже ощутил иррациональное, неподвластное разуму чувство страха — не тревоги, не беспокойства от возможно ожидающей опасности, а именно парализующего страха. «Вернуться?.. Пока из подъезда не вышли... А что *наверху* скажу, как объясню, почему вернулся? Что испугался неизвестно чего? Обойдется. Да и что может быть?..»

— Все будет в порядке,— успокоил он себя и Дашу.

На улице никого не было. Они окунулись в темную синеву теплой летней ночи. Гармошка и визги затихли. Кое-где светились еще окна, из них доносились звуки телевизионных передач, а кое-откуда и музыки. Фонари не горели. Разве что фары редких машин, проносящихся по шоссе, расположенному за буерачным пустырем, давали представление о том, куда им надлежало стремиться.

— Придется мотор ловить,— пробормотал, озираясь, Павел.— Если только в этом захолустье это возможно...

Они двинулись по разбитой дороге к шоссе. Вдоль дороги стояли фонарные столбы, не дававшие света. Только на самой середине их пути виднелись два желтых круга, выхваченных из общей черноты двумя электрическими лампочками. На них они и ориентировались. Освещенное пространство всегда кажется спасительным островком в бесконечном море тьмы. Он обнимал девушку за плечи, но была она напряжена и испуганно вздрагивала от любого шелеста бурьянной травы.

Он попытался подбодрить ее и себя мечтами:

— Солнце мое, а ты правда хочешь за меня замуж? Я-то вдруг понял, что без тебя жить не могу. А ты? Мы уживемся с тобой?

— Еще как! — Даша повернула к нему лицо и смутно улыбнулась в темноте. — Мы с тобой, Галахов, хорошо жить будем. Ты даже не представляешь, какое это счастье, когда ты просыпаешься, а рядом на подушке сопит любимый человек!

Они уже почти дошли до горевших фонарей. И тут Павел снова ощутил чувство непреодолимой тревоги. Они вступили в освещенный круг. И именно тогда из темноты пустыря послышался регощущий смешок, а потом глумливый голос попросил:

— Эй, малый, стой-ка! У тебя стакана нет? Из горла неохота.

«Куда идти? К шоссе? Или повернуть и бежать к дому? Что разумнее?..»

Мысли торопились. Но поджидавшие их были еще быстрее. Из темноты вынырнул подросток с обмотанной грязным бинтом шеей. Он выплюнул изо рта сигаретку, растер ее ногой и встал перед парочкой, протягивая руку и шепелявя:

— Чего молчишь, паскуда? Стакан давай. Люди ждут.

— Нет у меня стакана! — резко ответил Павел, понимая, что недоросток — *посыльный, передовой отряд*, а за ним основные силы.

Крепче прижав к себе Дашу, он все-таки пошел независимой походкой мимо — в сторону шоссе. Бежать к дому — все равно не добежишь, а только раздразишь охотников. А так — вдруг и обойдется, да и машину там, может, оставить какую удастся.

— Чует, гад, что поговорить надо, — раздался из темноты пьяный и хамский сип. И здоровый амбал вылез на свет.

— Пойдем назад, — тихо, как ребенок маленький, попросила Даша.

Но было уже поздно поворачивать. Из темноты одна за другой появлялись фигуры, окружая парочку. С удивлением и отвратительным чувством подступающей к горлу тошноты он узнал среди восьми-девяти монстров, взявших их в кольцо, давешнего «афганца», «охранника», с висячими льяными волосами, с которым он схватился из-за медноволосой девицы на автобусной остановке. И подходили новые. С пустыря слышались хохот и возня молодых псолюдей.

— Да, может, не он, Колянь?! — крикнул кто-то издали, из не подтянувшихся еще.

После этих слов мелькнула безумная надежда (хотя знал, по слову Пушкина, что «несчастью верная сестра надежда»), что *пронесет*, что все *разговором обойдется*. И он остался стоять, выставив вперед левое плечо, как бы прикрывая собой Дашу, но портфель на землю не бросил, показывая, что готов не к драке, а к контакту. Стая молчала, кто-то поеживался, почесывался, «псы» глядели на Дашу с Павлом, глотая слюну, однако даже малейшего лая не раздалось. Дома казались теперь очень далекими. И шоссе смолкло. Ни одной машины не проехало за это затянувшееся мгновение. Лица окруживших вдруг смазались до неразличимости черт, только белел бинт на шее одного из них да Дашины белые носочки светились на ее смуглых ногах.

Первым сдался и нарушил молчание Павел:

— Вы ищете кого-нибудь или ждете?

Вопрос был дик и нелеп, Павел сознавал это. Но ничего другого не придумал.

мал, чтобы снять напряжение. Ответ прозвучал еще нелепее и вместе тем страшнее, хотя и односложнее:

— Тебя!

«Вот оно! Все. Втравил Дашу, идиот! Теперь и она из-за тебя поплатится... Давно должен бы понимать, что *добрые дела не остаются безнаказанными*. Чужую женщину защитил, а свою любимую погубил. Еще нет. Но сейчас это произойдет. И выхода нет. Как все ужасно и глупо. Добро бы смерть за идею, а то так, камень слегка возмутил болото — гады и полезли. Надо было остановиться, поверить предчувствию... Не зря тревожился. Придется драться. Так, что ли, Самойлов в молодости дрался? Это у них, наверно, и называется «стенка на стенку». Когда одного припирают к стенке, а передним стена морд и рыл. Плохо, что реакция у меня после водки никуда».

— Шас с тобой побеседуют! — выкрикнул подросток с забинтованной шеей.

Из толпы вышел одетый в змеино-пятнистую форму тот самый — рослый, худой и широкоплечий парень со свисавшими прядями спутанных волос. В правой руке он что-то держал. Чем ближе он подходил, тем отчетливее можно было видеть, что сжимал он в правой руке монтировку. Этот маленький стальной ломик, похоже, должен был стать *главным аргументом* в намечавшейся *беседе*. Приблизившись, парень поднял в замахе монтировку и остановился, усмехаясь длинной усмешкой и глядя в побелевшие лица *попавшихся*.

— Видишь, сука, не ушел от меня,— произнес он удовлетворенно и почти добродушно, обращаясь к Павлу.— Говорил же, что из-под земли тебя достану. И достал. А сейчас я тебя стану *им* шевелить и волновать. А потом мы тебя здесь зароем, к хренам собачьим!

Павел разжал пальцы, уронив на землю портфель, не поворачивая головы и следя за каждым движением змеино-пятнистого, шепнул заледеневшими губами Даше:

— Когда начнется драка, беги отсюда что есть сил! К Лёне...

Даша не шелохнулась и ничего не ответила. Но Павел чувствовал ее испуганную решимость не покидать его.

Парень был пьян сильнее давешнего, поэтому замахивался медленно. Галахов, пригнув голову, хотел было ударить первый, чтобы перехватить инициативу, как его прервал возбужденный вопль:

— Колян, стой! Да это ж Павел! Моей Зинки сосед!

Сбоку из темноты выскочило что-то непропорционально большое и пахучее. Это был Владик, его недолгий сосед по коммуналке, муж Зиновки и Раечкин любовник. Схватив занесенную для удара руку с монтировкой, он решительно потребовал:

— Ты мне стакан в карты проиграл? Проиграл. Вот и отпусти их. Ими двумя должок мне и вернешь.

Он довольно легко сладил с приятелем и загоготал:

— Что, Павел? Ума прибавил? Ну, блин, скажи спасибо, что мы твою бестолковку надвое не раскололи!.. Поал? Против лома нет приема.

И тут Павел увидел, что в правой руке Владик держал такой же ломик, как и пятнистый. Спина Галахова стала мокрой от пота. Стая расступилась, давая им дорогу. Вдруг колени у Даши подогнулись, и она без звука упала на землю. Очевидно, от перенесенного испуга она была в обмороке. До шоссе ему пришлось нести ее на руках.

1997 г.



Города

РАССКАЗЫ

БУХАРЕСТ — КОНСТАНЦА. ОВИДИЙ

Скорый поезд № 32 «Бухарест — Констанца» не спешил. Его сопровождали чайки, хотя до моря было еще не близко. Птицы волнообразно поднимались и опускались, словно сообразуясь с движением линий телеграфных проводов.

Большинство окон вагона было разбито. Но и это не мешало разноситься острому запаху мочи. По коридору семенили крысы. Их сверхзаостренные морды не изменились со славных времен Римской империи. Века Августа Кая Юлия Цезаря Октавиана.

Пассажир посмотрел на окно. Стекло уцелело. Он был в купе-компарimente один. Мало народу ехало к морю.

Засуха и сентябрь монотонно красили поля темно-желтой охрой. Путь унылый, зрелище печальное. Вид немилый. Увы.

Из уцелевшего зеленого островка леса выскочила и остановилась лошадь. Была она вдалеке, но все равно смущала необычными очертаниями. Лошадь скакала к поезду. Прихрамывая.

Пассажир вцепился в раму, дернул, открыл, высунулся.

Милосердные боги. Это кентавр. Он его признал — Кентавр Хирон. Хироша. Хорошенький Хироша. Только чуть поменял свой цвет. Вернее, стал более пятнистым. Чубарый Кентавр Хирон. Словно маскхалат на себя напялил. Еще бы. В двадцатом веке принято так маскироваться.

Всемогущие боги. Снова сподобился увидеть Хирошу, сынишку бога времени Кроноса и нимфы Филиры. Вечность. Святых Эриний бездонный мир в который раз демонстрирует постоянство: в правую ногу Кентавра стрела воткнута. Значит, и Геракл жив, существует. А спросишь — по-прежнему изворачиваться герой будет. Мол, по ошибке угодил в конягу. Промашечка, скажет, вышла. Сплюнет, пробормочет: «Эх, волчье мясо, античная кляча».

Кентавр Хирон, припадая на правую ногу, бежал рядышком с железнодорожным полотном. Мчишься ты, дерзкий, куда? Хромаешь куда, Хирон двоевидный? На конскую мощь положился? Считаешь, никогда не закончатся бегство и жизнь?

Пассажир по пояс высунулся из окна, замахал рукой, закричал:

— Двигай обратно, Хирон! В Бухарест! Великий врач-асклепиад вылечит от стрелы!

Кентавр остановился, наострил свои человечески уши.

Стрела обмокнута в яд лернейской гидры — придется потрудиться лекарю-эскулапу. Великому гомеопату нашего века — Ауриану Блажень. Пассажир крикнул:

— Сообщаю адрес: площадь Когальничяну, Интраря Урсулецулуй, дом один, квартира один!

Кентавр постоял-постоял, повернулся, медленно зашагал в обратную сторону.

— Да хранят тебя боги всечасно,— сказал пассажир.

И отпрянул — в открытое окно со свистом влетела стрела, уткнулась в ко-

сяк двери. Помилуй, разгневанный Зевс, куда направляешь ты стрелы свои?! Или это все тот же Геракл не оставляет своих проделок? Пассажир с трудом вытащил стрелу. Так крепко сидела. Большим пальцем потрогал наконечник — остёр. Заражен ядом гидры? Ежели так, то можно испытать. Смерть, сюда. О Мойры. Судьба моя, удар я принимаю.

Он засунул наконечник в рот, облизал. Чуть кисловато на вкус. Таков вкус вод Стикса?

Отодвинулась дверь, прозвучал женский голос:

— Разрешите?

Он вертел стрелу, не зная, куда ее девать. Все же отметил, что голос звучал, как двойная флейта. Пассажир сделал приглашающий жест. Молодая женщина опустилась на кушетку. Хламида ладно спадала. Стройна. Длиннонога. Сказать трудно, чем выше была — красотой или ног превосходством. При состязании в беге женихи-мужики не догнали бы. Пока Гиппомен не задержит ее на бегу брошенным яблоком.

Пассажир отложил стрелу, сказал, кашлянув:

— Признаться, ошеломлен красотой. Весь раскален, как ядро, что брошено пращой балеарской.

Дева-царица благосклонно улыбнулась. Анемона — цветок такой. В переводе с греческого — «ветреница». Она спросила:

— Турист? Иностранец? Заметно по акценту.

Надо будет познакомиться по всем правилам, назваться, спросить ее имя. Анемоной ее звать? Про себя он уже решил называть богиню-длинноножку — Гиппе. Что означает — «кобылица».

Он тоже улыбнулся, пояснил:

— Праща балеарская... Жители Балеарских островов...

— Едете на Балеарские острова? Отдыхать? — поинтересовалась Гиппе. — А стрела? Оттуда?

— Стрела местная. Но летит издалека, — покачал он головой. — От гетов к сарматам. Или от скифов к дакам. Или от Геракла к Хирону...

Лучезарная произнесла кокетливо, но поглядывая в окно:

— «Ненавижу я лук твой, руку твою и оружие в руке — безрассудные стрелы...»

— Нимфа, богиня речная... — серьезно сказал пассажир. — Это же цитата из Овидиевых «Метаморфоз».

— Искажено чуток? — поинтересовалась Дева-анемона.

— Не без этого, — кивнул он. — С его «Наукой любви» познакомились?

— Проходили. Но бегло. Наш университетский латинист так спешил.

Она снова бросила взгляд на тянувшийся нудно желтый пейзаж.

— Спешил. Не то что этот драндулет... Но там, в этой «Науке», есть такие местечки, скажу я вам... — Кажется, она чуть покраснела, но продолжала решительно: — Приворотные зелья... Яд из выделений кобыл. В период случки...

Он подскочил, взволновался:

— Да не было там этого! Если и упоминается, то с осуждением. Вон в Овидиевом «Протирании для лица»...

Поезд нерешительно — скорость была невелика — заскрипел тормозами. Они стояли рядом у окна.

— «Рог разотри, что олень годовалый сбросил впервые... — бормотал пассажир. — Луковиц дюжину нарцисса.. через сито просей...»

Вагон дернулся, прокатился метров двадцать, остановился. Окно оказалось ровнехонько напротив Быка. Огромный Бык смотрел на них спокойным, немного усталым, но властным взглядом. Рога его были направлены в сторону поезда. До блеска натерты копыта. Золотятся. Словно стоит на котурнах. Шея в мышцах тугих. От плеч свисает подгрудок. Малы крутые рога. Но блещут похлеще самоцветов чистейших. Звучно мычит. Доносится благородный запах шалфея. Вовсе не грозно бычачье чело. Взор его глаз не ужасен. Бодаться ничуть не намерен.

Только тут пассажир заметил, что Анемона-ветреница, Гиппе, нимфа речная, уже не стоит рядом. Через секунду он увидел ее шагающей к Быку. Она подошла, открыла сумочку, достала венок. И к морде цветы протянула. На рога надевает цветов ожерелье. А Бык — воплощенная страсть. И величье. Руки нимфе-богине, латинянке, выпускнице университета, целует. Уж он и грудь подставляет ласкам девичьей руки. Дева на спину села Быка. Грамотная, образованная — знает, кого своей попкой попирает. Рог правой рукой схватила, о спину левой рукой оперлась. Тронулся Бык. Поехала Европа-путешественница. Трепещут от ветра одежды.

Забыл ее спросить. Есть разночтения, варианты. Она дочь Агенора? Или Фойника? Жаль, что Грозновластный Бычок так быстро ее уволок. Не успели пообщаться. Только-только книжечку «Наука любви» затронули. Как эта песенка?.. Скифы еще обучили. «По дороженьке иду, а дорожка талая. Здравствуй, новая любовь, до свиданья, старая».

Вчера в Бухаресте заглянул в кинотеатр «Лучафарул». Что напротив больницы Кольца. Фильм порно. Не очень уж взволновал. Во всяком случае, меньше, чем ритуальные пляски римских блудниц. На празднике Флоралий. Третьего мая. А эта речная нимфа, Гиппе, затронула, взволновала. О певучий родник. О святая струя. Почувствовал: оба мы — словно жрецы пред одним алтарем. Не успел сказать ей: «Соседством твоим буду спасен, защищен в этой опасной стране».

В этой дикой стране, где сарматские, гетские, скифские стрелы передали свою убойную силу пуле, дубине, тюрьме, ссылке. В этих бескрайних пространствах всеобщего доносительства, предательства, совершаемого безоглядно, с видимой беззаботностью. Здешние варвары душ благородство не чтут. В этой стране сыска, надзора, обысков, преследований. Где насилие без видимых проявлений удовольствия все же смыкает медленно пальцы-ошейники на горле рабов. Где даже одиночки не рискуют вскрикнуть от страха. Дабы всепроникающее ухо службы секуритате-сыска не расценило этот крик боли как замаскированное «долой». Вид немилый. Увы. Люди этой страны запутаны в сеть безысходной беды. Кругом чужой похитители чести. Придется мне здесь умереть и в землю понтийскую лечь?

Как он выжил в этих краях, что доступны снегу, коварным врагам и низким страстям? О Боги отцов. О Зевс, моих дедов отец. Неужели и он, как Хирон, как дева Атланта, приговорен к вечной боли бессмертия?

Поезд медленно ковылял по равнине. Чахлах деревьев стволы возвышаются в поле открытом. Собака бежит. Вся жизнь его — игра в кости. «Собака» — самый неудачный бросок при игре в «длинные кости». Когда все четыре кости дают по одному очку.

Он выстоял, потому что рядом бежал, хромая, Кентавр Хирон. Изредка, но бежал. Или, прощурив раздвигаемую дверь и хламидой, появлялась Европа, нимфа речная. «Струйкою» нимфу зовут, полубогиню.

Или даже собака. Лает, бежит за поездом. Сейчас догонит. Сколько у нее голов? Три. Но его не искушает, не тронет. Ведь это внучок Медузы, пес Цербер. Он ему скажет: «Куш, ляг тут». Он и ляжет.

Стрела недавно в окно влетела. Думал — ядом Ехидны пропитана. И что же? Облизал — хоть бы хны.

Кровать посередине поля воздвигнута. Как в кино, в этих движущихся картинках на белом полотне. Как у итальянца Феллини. Или скифа Тарковского. Реализм, мол, с приставкой «сюр», говорят. А он знает — ложе это разбойника Полипомена по кличке Прокруст. Подходящая установка для данной страны. Устарела, признаться. И так все подстрижены под одну гребенку.

Выжил он, понятно, и в силу бесконечных разговорчиков с Ахиллесом, Пелеевым сыном. На кухонном дворе. О вечной проблеме «ахиллесовой пяты». Диспуты, ведущиеся, признаться, с чисто скифской безалаберностью и бесконечностью. При употреблении экспортной водочки «Stolichnaya». Вместо пьяной горечи Фалерна. Потом заявлялся под хмельком бравый вояка-ветеран Тезей. Начинался традиционный рассказ, как он взял за рога бычка Минотавра,

напугав его горлышком-розочкой от разбитой бутылки-амфоры, трясся, сердечный, от рогов до хвоста. Как всегда, умолчал Тезей-солдат о том, какую роль сыграла при выходе из лабиринта бордовая шерстяная нить пуловера Ариадны.

Или эта ошеломляющая случайная встреча с Еленой Прекрасной, идущей по пляжу в местечке Эйфория. Парис поддерживал ее под локоток. Менелая не было видно.

Только благодаря этим встречам-видениям он не окочился. Знает теперь гетский, сарматский, скифский. Разбирается в стране, могущей казнить мечом, отравой, голодом. Признаться, он обладал и необходимой закалкой. И в апенинской отчизне зрел небеса, озаренные мстительным пламенем Этны, что изрыгает из уст, лежа под нею, злобный гигант. И на его родине меру милосердия зашкаливало, стояла на нуле. И в краю отцов его редко человек находился в состоянии *kaloskagates*, позволяющем судить о приближении к божественной справедливости. Впрочем, доброта богов... Часто...

А уж людская справедливость... О каком чувстве человеческой терпимости, толерантности, доброжелательности можно говорить, если заглянуть в прижитое ему дело, закончившееся ссылкой в постылый, грязный Томис? Который не отмыть, даже направив туда все воды Истра-Дуная. Как это место, увы, с родною несхоже землею. Увы. Судьба моя, как тяжек твой удар. О доля. О Зевс.

У скифов было выраженьице — «Слово и Дело». Какое же его «дело»? Что он совершил? Чем заслужил *relegatio* — изгнание? Слово? Да, слово было. Но разве словом он напакостил кому? Настучал на кого? Нацарапал донос на табличках, подвесив их тайно на шнурочках? Он, неразумный создатель «Науки...», стал запрещенным из-за «Науки любви» вредоносной? Чем вредоносной? И Вергилий упоминает о приворотном зелье из выделений влюбленных кобыл. Смотри «Георгики», глава третья, стих 280—284. А он это средство осуждал. Смотри «Науку любви», глава вторая, стих 99—102. Да, он признает... Или, как выражаются в римском Сенате, «раскалывается». Да, говоря о зрительских рядах и арене, о боях гладиаторов в цирке, на ристалищах... В этих случаях он рекомендовал, как удобнее заарканить-подцепить молодых ветреных римлян-кобылиц. Поскольку там, не как в театре, места для зрителей не разделялись на мужские и женские. Да, это было. И это преступление, ошибка, error? Тот пресловутый *delictum* — проступок, за который он брошен в грязный, невыносимый Томис? Что, дурачок он, что ли? Знает — это лишь повод для развертывания игры императорских репрессий. Он усмехнулся. Вполне аналогично калейдоскопу мифологических проклятий, которому он предавался еще в «Ибисе»...

Чужеземный пейзаж тошнотворно тянулся за окном. Зрелище печальное. Путь унылый. Недвижный. Здесь даже море застывает. Холод безмерный держится в этой земле, море оковано льдом, в глубинах живущие рыбы ходят в воде, словно под крышей глухой. Что такое болезнь? Смягченная смерть. Здесь — болезнь, убогий дом, постель из листьев, бессонница, тошнота, дурная еда, гнилая вода, лохмотья, смрад. Со всех сторон окружают убогие мысли, грязные, преступные желания, ничтожные книги. Если покопаться, с трудом сдерживая отвращение, в этой куче дерьма, то еле-еле можно обнаружить хотя бы двух стоящих поэтов.

Он человек культуры Гомера, Софокла, Каллимаха, Энния, Вергилия. Никакие другие культуры для него не существовали ни параллельно, ни контрастно, ни как соседние, ни как остроэкзотические. Впрочем, иногда можно и поэкспериментировать. Рифма, к примеру. Появилась и рифма. Шаловливое такое изобретение. Признаемся: звучно закругленная рифмой строчка — это спасательный круг, не позволяющий захлебнуться в одиночестве. «Эти стихи тебе, Рим, что были написаны в спешке, шлет злополучный пиит, твоей ожидая насмешки». Но такое же спасение-отдушина заключалось и в гексаметре, не так ли? Сама скорбь делала меня красноречивым. *Dolor ispe disertum fecerat*. Печалование. Что произойдет с ним, если он утратит способность к лицезрению-встрече с Кентавром Хироном, с девой Атлантой-Европой-Гиппе-Анемоной, с Ахиллом? Хотя известно, это не скрыть, не всегда подобные рандеву с героя-

ми настраивают на благодушный эпически-спокойный лад. Вот и в сей момент. Если посмотреть в окно, то увидишь птицу. Но он-то знает — это Икар. По характерному очертанию крыльев. Отрок Икар веселится в отважном полете. Даже слышно, как прокричал с высоты: «Всем пусть владеет Минос, но воздух ему не подвластен!» Справедливо. Но море разинуло зев беспощадный, тебя поджидает.

Пассажир высунулся из окна, замахал руками, словно крыльями.

— Лети серединой пространства!

Так и полетит отрок Икар серединой пространства. К Солнцу будет стремиться. А крыльев скрепленье... Воск благовонный. Соседство палящего Солнца... Ну и так далее. Результат известен.

Он встал, задернул занавеску, чтобы не быть свидетелем падения. Равномерный стук колес и полумрак не успокаивали, не обезболивали. Так в чем же загадка его изгнания? Закон обязательного брака? Брак был заключен. Закон против прелюбодеяния? Нет, не замечен. Закон против роскоши в еде и одежде? Не грешен в этой области. Все эти указы императора Августа подавались пропагандой как важнейшие государственные акты. Ты, обреченный, подставь горло ножу и жрецу. Жрецу Августу Каю Юлию Цезарю Октавиану.

Писал он что-либо порочащее существующий государственный строй? Вякал когда-нибудь против Управления по охране государственных тайн при Канцелярии Августейшего Величества? Разве он не привел в переименование месяца *Sextilis* в месяц *Augustus*? Он ли не поспешил воспеть триумф над Германией? Не знал, идиот, что сам Август этот триумф и отменил. Противно вспоминать.

Он усмехнулся. Припомнил свое не столь уж давнее путешествие в Соединенные Североамериканские Штаты. В город Вашингтон. Приятный город. Чистый. Везде стригут газоны, поливают. Вполне европейский вид. Небоскребов нет, запрещены. Чтобы не возвышались над *Washington Monument*. Много негров, бывших рабов. Белых нищих не встретишь, все негры. Обслуга при обжираловке «Макдоналдс» вся из азиатов, мексиканцев. Попал в город седьмого сентября. Хороший день, День труда. Всех трудящихся. *Labor Day*. И день всеобщей дешевой распродажи всякой всячины под лозунгом: «А вот — кто с руками оторвет?!» *Let's go shopping*.

А цель была — Библиотека конгресса. Порыться, не появилось ли чего новенького по поводу прояснения мотивов Овидиевого изгнания. Заплатил десять центов, заполнил листочек запроса, из компьютерного отдела пришел библиографический список. Полистал несколько книжек. К примеру — *Thibault J. C. The mystery of Ovid's exile. California U. P., год 1964.* Толстенная книженция. И приложение к ней, где перечисляются сто одиннадцать аргументированных мнений о причинах ссылки. Не вру. Зря мотался за океан.

Естественно, бывал в Бухаресте на Каля Виктории в Библиотеке академии. Добрался и до скифов, до Московия. Как это их столица с таким прилагательным ходит? «Белокаменная», говорят. Белизну заметить трудно. По тротуарам ходить — нога все время подворачивается: ямы, колдобины. А уж если затронуть вопрос публичных отхожих мест... Император Тит Флавий Веспасиан их бы покрыл смачным древнеримским ругательством. «Макдоналдс» американский тоже есть, но цены не просто кусаются, а бьют наповал. В библиотеке... Называется «Ленинка»... По имени ихнего цезаря-императора. Если идти по Моховой к Москве-реке, то по правую сторону. Так в той библиотеке сплошной спецхран. То есть специальное тайное хранение книг. И рукописей. Спасибо, Бенья Лифшиц помог. Он такой эмэнэс — младший научный босс. Подружились. Были не закадычны, как Кастор-воин и Полидевк-боксер, но все же. Иудей Бенья утверждал: предки его составляли ядро Пятого гето-дакского легиона Рима, что завоевал Дакию. Теперешнюю Румынию. Следовательно, и гнусный Томис. Не следовало это делать, Бенья.

Бенья всю имеющуюся литературу на стол вывалил. Вернее, на три стола. Плюс материалы из спецхрана. Но отчего они там были, ничего тайного не со-

держашие? Ничего нового по поводу вышеупомянутого ссыльного Овидия Публия Назона. И в белокаменной не ведают, в чем же его преступление, *crimen, facinus*. Где провинность, оплошность, *culpa, vitium, peccatum, delictum, poxa*.

Но Московия, «большая деревня», в целом понравилась. Некоторые детали растрогали. Скажем, причудливые изгибы фасадов в допотопных теплых торговых рядах. А храм Василия Блаженного? Вспомнил своего старенького врача-гомеопата. Его тоже звали Блажень. Должен он помочь Кентавру Хироше. Если тот до него дохромает.

Он сначала перепугался, когда Бенья свои стихи читать начал. Но смирился, прослушал спокойно. Одни вирши так и назывались «Овидий».

Упорядоченность движения волн и песка
кажется естественным следствием ритма
бияния жилки у Зевсова виска,
предчувствий, что вот-вот родится рифма.

Но до этого произойдут изменения богов,
ужасающие переделки и метаморфозы
гексаметра, стран, слов, материков,
принимающих оправданно страдальческие позы.

Начатую в Риме продолжим игру,
побарахтаемся в пьяной любовной истоме...
С изжогой, зенки продрав поутру,
матом покроем черноморский Томис.

Где-то строчит молодой поэт-пострел
в наилучшем наизэкспериментальнейшем виде...
Простите, я в ссылке. Не читал. Постарел
на песок упавший, всхлипнувший Овидий.

Он дружески покритиковал Беню Лифшица. Говорит: «Начатую в Риме игра...» А Овидий никакую «игру» в Риме и не затевал. Если насчет «любовной истомы», то здесь, в изгнании, при виде окружающего бабья что-то не тянет... О чем он неоднократно докладывал жене в «Письмах с Понта». И не лукавил. Затем — «произойдут изменения богов». А боги устойчивы, неизменяемы, вечны. Олимп стоял и будет стоять во все времена. Появление ничтожных, омерзительных смертных людишек-палачей, претендующих на роль божества, — только кровавая клякса в рукописной книге Истории. О смысле рифмы — это верно. Родилась она, эта струйка, эта нимфа-рифма. Струйка речная, журчащая, путешествующая по Европе. Это да. Касательно же того, что Овидий собирается всхлипывать и падать на песок, то это выдумки-желания не столь уж малочисленных врагов-клеветников.

Распрощался он с иудеем Бене́й Лифшицем, несмотря на высказанную критику, вполне дружелюбно.

Бывал он и в таком близком и теперь уже столь далеком Риме. О Рим. Рим, моих дедов отец. О светлый бог. Как ты пропах бензином. Где его дом в центре, рядом с Капитолием? О Тарпейская скала, о Капитолийский холм, зачем меня не стащили с тебя баграми, не сбросили вниз? Где его сад недалеко от Тибра? Пустота, все исчезло. Почему он не остался в этом новом Риме, таком близком и пугающем, отталкивающим одновременно? Что заставляет снова тащиться в грязную Констанцу? Кем он приговорен к ней? Тремя Мойра́ми — Парками? Три сестрички, в три перста вьющие срочную нить судьбы. Накрутили ему срок. За пять веков скопилось столько предположений, слухов-толков, спекуляций. В средние века и во времена Возрождения его изгнание — *relegatio* — объясняли языческим распутием: было, дескать, прелюбодеяние с женошкой Августа. Или с Юлией Младшей, дочерью императора. Как утверждает подсудимый... А он под судом и не был. Но утверждает: «Грех мой в том, что были у меня глаза...» Смотри «Скорбные элегии», книга третья, глава пятая, стих 49—50. Значит ли это, что узрел он императора, предающегося греху содомии? Или застал его же при акте кровосмешения с родной дочерью? Позднее, эдак к восемнадца-

тому веку... И далее — сплошная фантастика-фантазмагория: заговоры, разглашение тайнств то ли в честь Исиды, то ли в честь римской Доброй Богини. Или еще — участвовал в каких-то магических гаданиях о судьбе императора. Это уж совсем *culmea*, как говорят тамошние аборигены. Словом, до сих пор *the mystery of Ovid's exile*.

Констанца близко. Высочайший эфир Икар уже не бороздит. Увеличилось число чаек, сопровождающих поездов. Он взял чемоданчик, засунул туда зонтик. Подумал: взять ли стрелу? Взял. Любопытно, нанесет ли ему очередной визит хитроумный Одиссей. Надо бы с ним доругаться по поводу «Улисса» Джеймса Джойса.

Констанца.

На перроне бесконечный ряд цыган, цыганок, цыганят, торгующих американской жвачкой и сигаретами, пивом и кока-колой, семечками, конфетами, кофе, фальсифицированным коньяком «Наполеон», водкой «Московская». Еле выскользнул из плотной толпы желающих сдать ему комнату.

После удручающих ароматов вагона дыхание моря волновало, обнадеживало. До моря — рукой подать.

Ожидания его не обманули: с одной невысокой волны на другую плавно перескакивал белоснежный Бык. Лукавой ногой наступает на ближние волны. А дева-царица, нимфа речная, Анемона-ветреница, Гиппе-кобылка, Европа-путешественница? Сидит. Нет, восседает. Бог круторогий, получай шелковистую эту телочку. Приятель, спокойно в путь отправляйся. Мятажится за валом вал. Но Амфитрита, супруга Посейдона, уймет своего благоверного. Она благосклонно взирает на любвеобильный вояж. Бог белоснежный, добычу носи морем открытым. Рога пусть удержат венки разноцветный. Дева о спину его левой рукой оперлась, смотрит на покидаемый берег. Трепещут от ветра одежды. Бьются подвязки ее подколенные с краем узорным. Вот заалело уже белоснежное тело девицы. Удаляются. Да хранят же вас боги всечасно.

Он протянул руку — начал накрапывать дождик. Открыл чемоданчик, достал зонтик. Милосердные боги. Несуразно все это: одна рука держит чемодан, другая зонтик... А стрелу куда девать? Проткнуть, что ли, грудь? Смерть, сюда. Отныне мрак Аида — мой удел. Хм. Увы. Не протыкается грудь. А если бы и вышло — разве не пожалел бы? Тогда уже не посетят знакомые герои. С Дедалом относительно и каменных, и жизненных лабиринтов не побеседуешь... И белоснежный Бог-Бык не молвит тебе: «...моим да будешь соседством ты защищен и спасен в этой опасной стране». И не скажет он Анемоне-ветренице, струйке речной, Деве-Европе: «...для поцелуя тянусь — о, сбудется пусть остальное». А она ему не кивнет, не ответит: «...мы пловцы одного корабля».

К тому же — вот самое главное проклятие! — он точно знает: ни в одной из земель не посещают его ни божества, ни титаны-герои. Ни в Вашингтоне, ни в скифской Московии, ни даже в родном и проклятом Риме. О родники и реки отчизны. О Тибр. Только на этой проклятой земле понтийской, у мутного Истра, на просторах ссылки, изгнания являются ему милосердные боги, гиганты-герои, действующие лица — собеседники вечной человеческой трагикомедии, претерпевающая метаморфозы, не поддающиеся единому, стройному толкованию, а *propos*.

Только в этой стране, ошеломленно притихшей от страха, он приобщен к божественной череде метаморфоз. В землях, где ни одна душа не рискнет обратиться со словами печали и гнева. К миру. К вечности. О чадо Надежды, бессмертное Слово.

Нет уж, тут подыхать. Или жить вечно? Так уж судили Эринии... У Эсхила эти три распорядительницы котируются выше самого Зевса. Святых Эриний рой неустанный — Алект, Мегера, Тисифона. Ваш лик знаком, неотвратим. Ваши предсказания жрецы прослушивали в шелесте листьев, при ворковании голубей. Вашу волю я прочел в гекзаметре строчек морских волн стенобойных, услышал в отчаянных возгласах чаек.

От моря до своего памятника недалеко. Он подошел к нему, поставил чемоданчик, закрыл зонтик, прислонил стрелу.

Ба, еще одна стрела. Воткнута в задник рваного ботинка. Стрелой приколоты записочка. Улыбаясь, он прочел: «Назончик, память — это твоя ахиллесова пята. Да хранят тебя милосердные Боги. Vale. Твой Ахилл».

Взглянул на небо. Дождь прекратился. Вопреки предчувствиям среди обрывков туч парил отрок Икар. Все еще не закончив игру с пространством сфер.

Он вытащил из чемодана тряпочку, протер золотую надпись на цоколе памятника: «Publii Ovidii Nasonis».

Взяв чемодан, зонтик, две стрелы, рваный ботинок, он открыл мраморную дверь памятника и вошел в него. Дверь закрылась без стука.

АНТВЕРПЕН. ПТИЦЫ

Прохожий остановился, стал внимательно разглядывать прыгающих воробьев. Вон тот особо лихо выделяет замысловатые курбеты. Род воробьиных, семейство зябликовых. Fringillidae. Домовой, городской. Passer domesticus. Смел, назойлив, хитер, вороват.

Прохожий поднял голову. Чужой город, незнакомый. Он здесь — Незнакомец. Чужестранец. Хотя... Далекие гудки пароходов. Крики чаек. Это знакомо. Как воробьи.

Незнакомец засопел, глубоко вздохнул. Так и есть — запах моря. Раз так, то уж наверняка можно угадать названия улиц. Должна же быть неподалеку улица Портовая. Или Канатная. А там и Адмиралтейская, Береговая, Торговая. Чуть правее находятся Рыбные ряды. Чайки разорались, полетели, видать, к Рыбному рынку свежей рыбкой побаловаться. Пролетели над Гостиным двором.

На горизонте портовые краны тоже не в диковинку. Прямо русская кириллица. Один похож на букву «Г», другой на «П». Если перевернуть литеру «У» или «Ш», то и они станут кранами.

Дождик пошел накрапывать. Каждый чужестранец должен быть вооружен зонтиком. Капли разбивались о натянутые поверхности зонтов и крыш, отчетливо произнося: кап-капи-тан, кап-капи-тан... Оттого что в этом портовом городе много капитанов.

Падающие капли не мешали ребятам прыгать воробьями. В «классы» играют. В том полукруге, куда ногой попадать не положено, возможно, слово «огонь» написано. Или другое угрожающее предупреждение.

Из ближайшего подъезда деваха выскользнула, простучала каблучками сапожек международную женскую морзянку. Передала: SOS, пропали ваши души... Сидящая на скамеечке старушка проводила ее взглядом, что-то пробормотала. Смысл легко угадывался — мол, в наше-то время такая юбочка-мини произвела бы шокинг, вызвала взрыв народного возмущения.

Да, рубенсовская молодушка-лебедушка. Знатная герла. Вся в джинсовую фирму запакована. Попка еле юбочкой прикрыта. Вальжная. Рубенсовский тип.

Из того же дома вышла не спеша Птица. Синяя Птица. Посмотрела искоса, чуть склонив голову, клювом поправила несколько перышек, одним крылом потерла другое. Была она ростом с человека. Конусообразный, слегка согнутый клюв; округленные короткие крылья с поперечной более темной ультрамариновой полоской.

— Привет, о Чужестранец, — сказала, подойдя поближе, Синяя Птица.

Человек смущенно улыбнулся, пожал протянутое крыло.

— Спасибо, что встретила. Откуда узнала о моем приезде?

— Пролетал косяк журавлей. Ихний шеф и поведал.

— А, господин Курлыкин! — засмеялся Чужестранец. — Он через каждые два слова повторяет: «курлы, курлы». Отсюда и фамилия.

Вдалеке басовито прогудел пароход. Приезжий произнес уверенно:

- Сухогруз «Академик Павлов» просит принять швартовы.
- Нет, это «Эмиль Верхарн»... Павлов этот, академик, чем занимался?
- Над собаками работал.
- Мучил их?
- Опыты ставил...— уклонился Чужестранец.
- А птиц?
- Птиц не трогал.

Они стояли, смотрели на воробьев, купающихся в песочке.

— Вон того воробья знаю. Зовут его Ван Сомерен,— сказала Синяя Птица.— Нахал и плут. Вчера с подоконника кусок булки стащил.

— Вид шалопая,— согласился Чужестранец.— В Москве на Воробьевых горах таких прорва.

Взглянули на облака. Высокие кучевые — alto cumulus — собирались в кучи. Перистые — cirrus — скрупулезно имитировали тонкую бородку пера. Но ни те, ни другие серьезного дождя не предвещали.

— Пойдем в порт, посмотрим на «Верхарна»,— предложила Синяя Птица.— Начнем с него осмотр города.

Корабли в порту не толкались, передвигались степенно, уступали место друг другу, были взаимно вежливы. Гудели редко. Возможно, как и автомобилям на улице, это было здесь запрещено. Только иностранец «Академик Павлов», видимо, не знакомый с указаниями местной морской инспекции, время от времени ухал, хрипел басом. Рядом стоящий «Эмиль Верхарн» вздрагивал, чуть отодвигался.

Синяя Птица взглянула искоса, предложила:

- Сыграем в метафоры?.. На что похожи порталльные краны?
- Согласен. Но тот, кто скажет, что это металлические динозавры...
- Или стальные жирафы... Тот выбывает из игры.

Чужестранец, подумав, заявил:

— Этот зловецкий лес крестов...

Синяя Птица взвилась, завопила:

— О Чужестранец! Плагиат! У Верхарна стибрил! Стихотворение «Порт». Ты наглец, Чужестранец!

— Из цикла «Представшие на моих путях»,— нисколько не смутившись, кивнул человек.

— Нет, из «Городá-спруты!» — продолжала возмущаться Синяя Птица.— Пойдем в публичку, проверим.

Городское движение разгоралось. Люди в отличие от пароходов наступали друг другу на ноги. Задевали острыми спицами зонтов. Но все же извинялись. Автомобили перли стеной. Красный свет светофора изредка отсекал то голову, то хвост автомобильной кишки. Людской поток на тротуарах могли замедлить — или даже остановить — только витрины магазинов. Чужестранец косился на соблазнительное изобилие, но не останавливался. Было стыдно приглядываться, он ведь прибыл из нищей страны.

— «О Вавилон, возникший наконец! Народы смешаны в единый стук сердца!» — продекламировал Чужестранец.— Тоже Верхарн...

Вдруг все застопорилось, движение перекрыли. Провыла, проехала мигалка, из нее высунулся полицейский, помахивая полосатой палкой. Затем проследовал кортеж длинных черных машин.

— Небось ваш король поехал,— предположил Чужестранец.

— Наш король с такой помпой не ездит. Как правило, ходит пешком,— уверенно сказала Птица.

— Вот как? А все наши короли-генсеки передвигаются в машинах типа «Чайка»,— сплюнул Чужестранец.— Правда, в последнее время пересели на «мерседесы».

Со стороны моря донесся возмущенный крик чаек.

— О чем галдят теперь чайки? — лукаво поинтересовалась Птица.

Человек проговорил не очень уверенно:

— Очевидно, что, мол, пора на Рыбный рынок. Свежую селедочку подвезли, надо бы полакомиться...

Синяя Птица хлопнула крылом по лбу, заизвинялась:

— Ох, прости, забыла тебя покормить...

— Не подумай, что намекал насчет еды, когда о рыбке помянул,— засмутился Чужестранец.

Синяя Птица подхватила его под руку.

— Здесь рядышком рыбная харчевня «Курносая вдова»...

— Вблизи, на Канатной улице, должна быть забегаловка «Три фрегата»,— самоуверенно заявил Чужестранец.

У Синей Птицы клюв приоткрылся от такой наглости, она пришла в негодование:

— Ты бесстыдник, о Чужестранец! С таким апломбом о незнакомом городе... Ну, ты даешь, кубарем катаешь! Улица эта — Лереамельстраат, а бистро — под титулом «Стопушечный фрегат».

— Почти попал, прокол небольшой. «Фрегат» все же есть,— удовлетворенно констатировал Чужестранец.

В ресторанчике «Курносая вдова» было тепло, уютно. Бар впечатлял. На полочках выстроились бутылочки. Были тут «Московская», «Столичная», «Петровская», «Смирновская» с «Распутиным». Замыкал ряд водочек сосуд «Горбачев». Шеренгой коньяков командовали француз «Наполеон» и грек «Метакса». Польская, с травкой и с гонором — «Зубровка». Венгерская «Палинка», после которой полагается танцевать чардаш... Приятно радовал плакатик по-русски: «Толко распивачна, нет вынос».

— Пивко здесь знаменитое. Темненькое из Аудемандернааде,— заметила Синяя Птица.— Ударим по кружечке?

— Предпочту стопарик рому. Город портовый, кругом фрегаты...

— Вздрогнем, поморщимся,— согласилась Пернатая.

Закусили пирогом с яйцами, с беконом. Повторили. Ром отменный. Попробовали селедочки свежего пряного посола прямо из бочоночка, стоявшего у стойки бара.

Окно было открыто, доносился уличный гам, отдаленные крики чаек, щебетня воробьев. На стене висела картина. Маслом. Уверенность мазка Франца Гальса, рембрандтовская организация света. Но было что-то и от зимнего пейзажа «бархатного» Брейгеля. Немножко эклектично...

За стойкой динамично шуровала кружками с пивом барменша. Сомнительно, чтобы это была хозяйка, Курносая Вдова. Хотя носик и вздернутый. Такая молодая и уже вдова?.. Проследив за направлением взгляда Чужестранца, Синяя Птица усмехнулась:

— Дочка это, дочка Курносой Вдовы.

— Но тоже из рубенсовской семейки.

— Вполне.

В открытое окно влетел воробей, запрыгал по столу. Знакомая персона, недавно виделись — Воробей Ван Сомерен. Он пропищал:

— Подать сюда хлеба и зрелищ! — Поперхнулся, поправил сам себя: — Хлеба и пива!

Дали Воробью Ван Сомерену хлеба и пива. Похлопав по светлому в пятнышках животу, улетел довольный.

Чужестранец поднялся, прошел в угол, где стоял рояль; осмотрел, тронул клавиатуру. Но убрал руку. Из-за того, что решительно подходил негр. Играть будет.

Попробовали розовый мускат. Перешли к пиву. Негр играл «Body and Soul». Swing и feeling были. Прямо Эрролл Гарнер. Закусили судачком по-флотски. Еще по кружечке темненького.

— Хорошо сидим,— удовлетворенно произнес Чужестранец.— Предчувствую, закорешимся мы с тобой крепенько, Синенькая моя Пташечка.

— Орни... Зовут меня — Орни. Это от греческого слова «орнис», что озна-

чает «птица»,— сказала Синяя Птица.— И, кроме того, значит «примета, предзнаменование». Когда-то гадали о будущем по полету птиц.

— Погадаешь мне, Орни? — спросил Чужестранец.— Будущее мое в тумане сокрыто, может, прояснишь.

— А ты летаешь и погадаешь для меня?

— Куда уж мне! Одного весу... Хотя фамилия моя птичья.

Чужестранец поднялся, церемонно поклонился.

— Позвольте представиться: Вацлав Чижевский. Можешь называть коротко — Чиж.

— Заметано,— кивнула Птица Орни.— Чиж — птица что надо.

Негр заиграл «Take five». Рядом сидели, шлепали картами. Хлопнула дверь, вошла примечательная персона: одет в бархат, кружевной воротник, широкополая шляпа, да еще и с пером. Сразу видно — поэт.

— Он и есть поэт. Это Эмиль Верхарн,— кивнула Орни.

Чужестранец Чиж захохотал.

— Даже трудно поверить! Не паролод, а живой человек.

— Божусь. Его воскресил Святой Антоний. Благочестивый Антоний знает, что он Верхарн,— убежденно проговорила Синяя Птица Орни.— Только издательства и читательские массы об этом и не подозревают. Пока ему приходится ходить под псевдонимом Ван Шельденаар...

Выпили за здоровье Эмиля Верхарна, скрывающегося до поры до времени под псевдонимом. Съели по куску мяса под названием «шатобриан», в сухариках поджаренного, чесночком нашпигованного.

— Всех ты здесь знаешь, в курсе. Можешь ввести в обстановку,— сказал Чужестранец Чиж.— Утречком, когда ты из дома выходила... Из того же подъезда перед тобой одна пташка выпорхнула. Вся в джинсовую фирму запакована...

— Знаю, зовут Елена-Изабелл,— подмигнула Орни.— Глаз положил? Клеить настроился?

— Чисто эстетический интерес,— засмутился Чиж.— Знакома с рубенсовской «Битвой амазонок»? Так она оттуда. Центральный персонаж.

— Вот как? Я и не заметила,— прыснула Синяя Птица Орни.

Чиж постарался переменить тему разговора:

— Сама-то ты из Антверпена? Здесь гнездо?

Орни отрицательно качнула головой:

— Дело здесь. Хочу пробить мемориалку... На доме, из которого я появилась... Из того же, что и Елена-Изабелл... Так вот. На этом здании должна висеть мемориальная досочка: «Здесь Морис Метерлинк создал свою самую великую пьесу “Синяя Птица”».

— Ну и как? Успешно дела продвигаются?

— Куда там! Ни к чьим ушам не протолкнуться. Чиновничьи завихрения. Муниципалитет не разрешает. Говорит: нет документальных данных о факте написания именно в этом доме.

— А ты? Предоставила данные?

— До короля дошла. Он обещал разобраться. Обед в мою честь дал.

— Скажи-ка! Меню-то было королевское?

— Вполне. Шампанское пили. Из-за меня не «Кордон Руж», а «Кордон Ультрамарин». Но окружение королевское поглощало жареных куропаток за милую душу. Это мне не понравилось. Хотела протестовать...

Синяя Птица Орни вдруг согнулась от хохота в три погибели.

— Беспредел в том, что я этих мемориалок в добром десятке городов поразвесила! В Генте, в Париже, в Амстердаме! И даже на Азорских островах!

— Эдак, Пернатая, полный хаос в метерлинковедении привнесешь,— тоже развеселился Чужестранец Чиж.— Только зачем это тебе нужно?

Синяя Птица отвела взгляд, кашлянула, нерешительно проговорила:

— Короли тебя принимают... Доску повесят. Метерлинка помянут в газетах, журналах, по телеящику скажут... Вместе с ним и обо мне упомянут. Что, мол, жива, существуя...

— Что ж, вполне по-человечески... Есть предложение. Махнем в Москву-матушку белокаменную, там на стенке Художественного театра дощечку прищандорим — дескать, здесь Станиславский впервые в России поставил «Сию Птицу» Метерлинка.

— Приглашение принято.

По этому поводу пропустили коньячку в честь Метерлинка и Станиславского. Но это уже было не в «Курносой вдове». Перебрались в «Трефовый туз». Затем последовала «Серебряная звезда». Посидели подольше в «Золотой курочке». Там Чужестранец Чиж попытался исполнить запомнившуюся еще с детства песенку «Мы длинной вереницей идем за Синей Птицей». Так пели в Художественном. Этот вокальный номер вызвал шумное одобрение присутствующих.

— А ты как очутился в Антверпене? — спросила Орни.

— Разве месье Курлыкин, тот шеф журавлиного косяка, господин Журавль Курлыкин не рассказал? Тот, что пролетал здесь намедни, позавчера в семь тридцать...

— Нет, сказал только, чтобы встречала. Спешил он, зима наступала на пятки.

— Я против господина Курлыкина ничего не имею. Господин-товарищ Курлыкин — правильный журавль. Любитель моченого гороха. Выражает возбуждение пляской и прыжками... — Чужестранец Чиж вздохнул. — Все дело в том, что с его косяком журавлей улетел и мой рояль. Марки «Эберг».

— Никогда бы не подумала, что рояли могут летать... — задумчиво проговорила Птица Орни. — Впрочем, когда я слушаю де-мольный концерт для фортепьяно с оркестром Моцарта, мысли о полете возникают...

— Окно веранды было распахнуто. Он взмахнул крышкой несколько раз. И улетел, пристроился к косяку журавлей.

— Зимы испугался, — предположила Синяя Птица.

— Веранда отапливалась. По-видимому, разочаровался во мне. Подумал, что никогда из меня Рихтер не получится. Или Генрих Густавович Нейгауз. Или Стасик Нейгауз.

— Слушала записи, классные музыканты, — кивнула Орни.

— Вот и пустился я вдогонку за своим стариком «Эбергом». Уговорю вернуться... Спонсора нашел, мецената. Он и профинансировал поездку. Верит в меня наш первый русский миллионер посткоммунистического периода господин Кукушкин.

Чужестранец Чиж замолк, раздумывая, не исполнить ли ему зонг «Лети, кушечка, лети, боровая». Или как-то выразить возбуждение пляской и прыжками... Он подошел к роялю, стоящему в углу. Круг замкнулся, они снова очутились в «Курносой вдове». Негра уже не было. Чиж сел, взял несколько аккордов. Сыграем «Body and Soul». Такого свинга и филлинга проникновенного, как у предыдущего коллеги, нам, понятно, не достичь... Подошла Синяя Птица, положила крыло на плечо.

— Найдем твоего «Эберга», Чижик-пыжик. Люди в рояль десятью пальцами тыкают. А у тебя вместо рук — крылья... Крылья! С таким размахом крыльев ты Рихтера за пояс заткнешь!

— Крылья! Скажешь тоже! — завозмущался Чиж. — Издеваешься, да?

— Не кочегарься, а лучше посмотри на себя...

Синяя Птица Орни подвела Чижа к огромному зеркалу за стойкой бара. Чужестранец Чиж уставился, окаменел. Из зеркала на него смотрела Птица. Белая Птица. С клювом, похожим на его человеческий нос. Крылья, грудь были белыми. Еле заметная красная полоска пересекала левое крыло. Щеки белые, ушная область тоже. Середина темени с чуть синеватым оттенком. В зеркале стояли рядышком Синяя Птица Орни и Белая Птица Чиж. Он стоял, покачивался, разглядывал. Бормотал:

— Поддали мы здорово. В драбадан, очевидно. Сначала ром был... Потом пиво. Мускат. Розовое вино местное. Коньяки. Ели можаху... В «Стопушечном фрегате», припоминаю...

В окно влетел Воробей Ван Сомерен, пискливо потребовал:

— Хлеба и пива!

— Кыш! — шуганула его Орни.

Она взяла Белого Чиж за крыло, вывела на улицу.

Над городом плыли облака, но дождя они не предвещали. Только негромко переговаривались. Одно — *alto simulus* — пообещало:

— Хлюп, хлюп...

— Бульк, бульк... — согласилось другое.

На третьем, молчаливом облаке сидели Синяя Птица Орни и Белая Птица Чиж. Орни сказала радостно:

— А ты сомневался. Видишь — сам из породы птиц. Догонишь свой рояль, Белый Чиж Чижевский.

Под облаками проплывал город Антверпен.

— Осмотрим завтра достопримечательности? — попросил Белый Чиж.

Орни указала на разворачивающийся внизу город:

— Вон кафедральный собор, наш *Notre Dame*, ратуша. Стиль флорентийский. Затем конная статуя Леопольда. Вон и фламандский поэт Ван Рисвик. Смотря — статуя Рубенса стоит.

— Сходим и в Художественную галерею. Посмотрим на «Битву амазонок»... — небрежно произнес Белый Чиж.

— Хочешь взглянуть на центрального персонажа? — захохотала Синяя Птица. — Ладно уж, познакомлю тебя с Еленой-Изабелл...

— Уверен, что и Лена-Изабелл тоже птица. Временно в оперенье человека, — кашлянув, сказал Чиж.

— Что ж, летаем небольшой стайкой-треугольником, потусуемя, — согласилась Орни и подмигнула. — Только с ее попкой... Тяжеловата.

Город проплывал внизу, не кончался.

— Слетаем и в Санкт-Петербург. Это город моего детства. Покажу Захарьевскую улицу, дом номер девять, квартира семь. Там я с мамой жил.

— Твоя мама — человек? Или тоже птица?

— Была человеком. Умерла от голода. В славном городе Питере. В сорок втором году.

Помолчали. Синяя Птица тронула чуть заметную розовую полосу на крыле Белого Чиж.

— Скажи, у тебя на родине... не пытались изменить твой цвет?.. Покрасить тебя, скажем, в красный?

Белый Чиж усмехнулся:

— Пытались. Но я даже на красочку «венецианская красная» не был согласен. Нырлял в Неву или в Малую Невку. Или в Финский залив. И отмывался... Кроме того, белые ночи... Они тоже помогли сохранить белый цвет.

Несмотря на сгущающуюся темноту, город Антверпен с высоты птичьего полета был виден удивительно четко. Вон и Елена-Изабелл домой пожаловала. А там по Корабельной улице Эмиль Верхарн идет, пока еще псевдонимом прикрываясь. Памятник Ван Рисвика кивнул ему головой. Воробей Ван Сомерен вокруг харчевни вертится, видимо, все хлеба и пива требует. «Академик Павлов» в море выходит. А это что за новое явление-корабль? Видное судно. Название можно разглядеть — «Морис Метерлинк». А за ним парусник следует. Белый, с синими парусами. Написано у бушприта, на корме, на спасательных кругах — «Синяя Птица».

— Только вот какая мысль стукнула в голову: как же мы друг друга поняли? На каком языке говорили? — задумчиво сказал Белый Чиж.

Синяя Птица Орни ответила сразу же:

— На языке птиц. Находящихся в свободном полете.



Владислав ОТРОШЕНКО

Игра и чудо

ЛИРИЧЕСКИЙ ТРИПТИХ

Два ожерелья

Первая ставка в этой беспримерно азартной игре была достаточно скромной — жемчужное ожерелье. Его поставил на кон царь западных земель Индии Юдхиштхира, принадлежавший к роду пандавов. Юдхиштхиру вызвал на игру в кости его двоюродный брат из рода кауравов, царь Дурьйодхана, владевший восточными землями Индии. Именно вызвал, как вызывают на дуэль. Отказаться от игры в кости, если последовал вызов, в Древней Индии считалось бесчестьем для всякого кшатрия, представителя касты воинов и правителей. Юдхиштхира был истинным кшатрием.

Принимая вызов, он превосходно знал, что в какой бы то ни было игре для него нет более опасного противника, чем Дурьйодхана, потому что Дурьйодхана злобно его ненавидит; Дурьйодхана завидует его несметным богатствам и ослепительной роскоши его чудесных дворцов в Индрапрастхе, столице пандавов (современном Дели); Дурьйодхана считает несправедливым раздел наследственного царства на восточное, доставшееся ста братьям кауравам, и западное, где властвуют всего пять братьев пандавов во главе с Юдхиштхирой. Знал Юдхиштхира и то, что его двоюродный брат Дурьйодхана мечтает владеть безраздельно всем царством. И, наконец, царю пандавов было известно самое главное — что у Дурьйодханы есть дядя по имени Шакуни и что во всей стране Бхаратов — Индии — нельзя найти игрока в кости, равного этому коварному дядюшке, который столь же ловок, сколь и нечист на руку. Играть предстояло именно с ним. Дурьйодхана же будет только делать ставки. Таковы были условия игры. Юдхиштхира согласился на них. И игра пошла.

Она происходила в Хастинапуре, столице кауравов (в ста километрах к северо-востоку от нынешнего Дели), при огромном стечении народа в обширном Дворце собраний, специально построенном для этой игры в XII в. до н. э.

Дурьйодхану ничуть не смущало то обстоятельство, что первая ставка — жемчужное ожерелье — была чересчур умеренной, чтоб назвать ее царской. Ведь и он, Дурьйодхана, знал кое-что сокровенное о своем двоюродном брате, царе Юдхиштхире. Он знал, что мудрый, доблестный и беспорочный царь подвластен лишь одному пороку — дьявольскому азарту, помрачавшему временами его рассудок.

И главная ставка Дурьйодханы — ставка на азарт — сыграла. Уже через минуту-другую, когда ожерелье было выиграно Дурьйодханой благодаря искусному жульничеству дядюшки Шакуни, Юдхиштхира сам предложил противникам сыграть не на мелочь, а «делая тысячные ставки».

И игра пошла на тысячные ставки.

Пошли на кон сто кувшинов — по тысяче золотых монет в каждом. За ними — царская колесница, «победоносная и священная». За колесницей — тысяча боевых слонов «с золотыми подпругами». И все это выиграл в пользу любимого племянника Дурьйодханы ловкий Шакуни. Но Юдхиштхира уже не мог

остановиться. Азарт толкал его в пропасть. Азарт неумолимо втягивал его в великую игру.

И великая игра пошла.

Кости зловеще плясали на мраморном столике. Они останавливались лишь на мгновение в ожидании новой ставки. И головокружительные ставки следовали одна за другой. Сто тысяч рабынь, «юных и дивно-прекрасных», поставленных Юдхиштхирой на кон, уже не принадлежали ему. Уже не был он властелином ста тысяч рабов, «почтительных и благосклонных», взятых с кона одним броском. Уже не он распоряжался бесчисленными колесницами, слонами, конями, воинами и всею казною царства пандавов. Но у царя оставалось то, что мог поставить на кон только царь. И он поставил: город Индрапрастху и всю страну пандавов вместе с ее достоинством и всеми людьми, ее населяющими, исключая брахманов — членов высшей касты, владеющих небесным знанием Вед и никому на Земле не подвластных.

Весть об этой грандиозной ставке повергла в оцепенение многотысячную толпу во Дворце собраний. В глубокой тишине Шакуни бросил кости. И после его броска возглас неистового ликования прокатился по стану кауравов.

— Царство пандавов проиграно! У Юдхиштхиры больше нет ставок! — слышалось отовсюду.

Но тот, кто выкрикивал это, плохо знал Юдхиштхиру — самого азартного игрока в мировой истории. Да, у него не оставалось ставок для великой игры. Но были ставки для роковой. И они были сделаны.

Одного за другим Юдхиштхира поставил на кон своих братьев — царевичей Накулу, Сахадеву, Бхимасену и Арджуну. Когда же он и их проиграл кауравам, каждого превратив в раба, Шакуни невозмутимо спросил у него:

— Скажи, о царь, есть ли у тебя еще богатство, которое не проиграно?

На это Юдхиштхира, не задумываясь, ответил:

— Я сам.

И сыграл на себя самого.

Ставка была проиграна. Царя Юдхиштхиры отныне не существовало — был раб Юдхиштхира. Но и раб еще мог играть.

Последняя ставка этого раба предрешила исход игры.

Рабу предложили вернуть свое царское достоинство.

— Есть ведь еще милая тебе царица, — вкрадчиво напомнил ему Шакуни, — единственная пока еще не проигранная ставка. Поставь Кришну... Ею ты вновь отыграешь себя.

Царицу Кришну, или Драупади, как еще называет эпос «Махабхарата» общую супругу пяти братьев пандавов, Юдхиштхира поставил-таки на кон. Проигранную царицу кауравы насильно привели во Дворец собраний. Ее раздели догола, протащили за волосы через толпы зрителей — царь Дурьйодхана, глумясь, выставлял перед ней свои обнаженные члены... Это было бесчестье, которого не могли простить ни раб, ни царь. Игра должна была продолжиться. И она продолжилась.

Ее последним раундом была жесточайшая братоубийственная битва на Поле Куру, разразившаяся через четырнадцать лет, после того как пандавы вновь обрели право на проигранные царство и свободу. Битва длилась, как повествует эпос, в историчности которого не сомневаются исследователи, восемнадцать дней. В нее были втянуты все народы и царства полуострова Индостан. Из огромного войска кауравов в живых осталось только три человека. В стане пандавов уцелели лишь царица Кришна, царь Юдхиштхира, его четыре брата да еще один воин...

Игра была наконец сыграна.

Ее размах был поистине царским, если не сказать сверхчеловеческим. Сверхчеловеческим — с первой же ставки, которая могла показаться скромной кому угодно: рабам, царям, их долбестным воинам, но только не богам. Во всяком случае, бог времени Кала, несомненно, увидел в ту минуту, когда во Дворце собраний в Хастинапуре была сделана эта первая ставка, сразу два ожерелья: одно из жемчуга, другое из погребальных костров, зажженных после битвы по приказу Юдхиштхиры вокруг Поля Куру.

*Разногласия Матфея и Луки,
или
В защиту чуда*

«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». (Матф. 4, 18—20)

Ну как же так? Они были рыболовы. Они были заняты делом, простым и понятным, весьма полезным и даже, быть может, для них приятным. У них была своя лодка и сети. Была своя тихая, затаенная радость (все рыболовы мирно помешаны) качаться с рассвета и до заката на волнах Галилейского моря — Тивериадского озера. Торговцы, приходившие в полдень к озеру — кто с корзинами, кто с лотками,— бойко кричали им с берега:

— Эй, Симон! Андрей! Хорош ли нынче улов?

Симон с улыбкой вставал в полный рост на корме и гордо показывал самую тучную (брат пододвинул ее ногой), с чешуей, сверкающей ярче динариев кесаря, в два локтя рыбину.

— Не стоит даже ассария!! — кричали торговцы и притворно отворачивались.

Но Симон-то знал, что, как только лодка, полная рыбы, двинется к берегу, торговцы в азарте зайдут по колено в воду и будут выкрикивать наперебой, потрясая звонкими кожаными мешочками:

— Сюда, Симон! Сюда, Андрей!

Впрочем, были у них и дни, когда сеть, извлеченная дважды и трижды, и множество раз из вод Галилейского моря, не натягивалась, не вздрагивала от живой, беспокойной тяжести, когда глаза их, утомленные блеском дремотно-медлительных волн, не ободрялись видом вскипающего серебра и когда Симону нечем было подразнить с кормы лукавых торговцев, ибо в затхлой водичке на дне качающейся лодки сиротливо болталась одна рыбешка длиною в пядень. Но разве в такие дни они предавались унынию, разве они повергались в отчаяние настолько, чтоб бросить и лодку, и сети на берегу Галилейского моря и прочь уйти от него? Нет, они знали, что удача изменчива, а радость жить морем, свободой и собственным делом прочна и постоянна, «ибо они были рыболовы», говорит Матфей.

И вот в такой неудачный для рыболовов Симона и Андрея день проходил близ Галилейского моря Иисус. Он увидел их. Они старательно вымывали сети на берегу, выбирали из них ракушки, водоросли. За ночь они не поймали ничего, да и ветреный пасмурный день не сулил большого улова. Об этом они и говорили между собой, браня погоду и море. Иисус подошел к ним, тронул пальцами за плечи и того, и другого и негромко сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И все. Больше ничего. Они переглянулись, выпустили из рук сети и пошли за Ним, даже не взглянув на свою лодку, переваливавшуюся с боку на бок у берега и капризно скрипевшую уключинами.

Ну как же это могло быть? Взяли и пошли. Все бросили, все забыли и по слову пошли за Ним... Необъяснимо и *необъясняемо*. Истинное чудо...

Так у Матфея, самого простодушного и незатейливого из евангелистов.

Евангелист же Лука мудрено и деловито рассеивает это чудо, к описанию чуда же и прибегая, впрочем, чуда, гораздо более прозаического, театрального, показного, гораздо более, так сказать, нечудесного, чем то, о котором поведал Матфей.

Словом, Лука все *объясняет*.

Согласно Луке, все было не так уж и просто — взяли да и пошли по слову! Нет. Сначала Иисус предложил рыболовам отплыть вместе с Ним на лодке на глубину. Они отплыли на вержение камня или на стадию — туда, где обычно Симон рыбачил с Андреем. Когда же остановились, Он осмотрелся, указал рукою на воду и сказал:

— Вот здесь закиньте сети для лова.

Симон, как видно, даже вспылил, отвечая Иисусу.

— Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали,— обиженно возразил он. Однако, несколько успокоившись, рассудительно добавил, что если Иисусу угодно, то он, Симон, закинет по Его слову сеть. И тут же закинул ее. И что же! Рыбы наловили столько, что ею наполнили две лодки, да так, «что они начали тонуть», восторженно уточняет Лука.

И такое было количество рыбы, повествует евангелист, что бедный Симон припал к коленям Иисуса, умоляя Его уйти немедленно, «Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных».

И вот только после свершения *этого* чуда Иисус сделал то, что чудом уже и не выглядит. После этого Он призвал Симона, сказав ему: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков». Но Он мог бы и не говорить этих возвышенно-таинственных слов, ибо на Симона и Андрея чудесный улов произвел такое впечатление, что они и без всяких дальнейших слов — не по слову, но в силу *вида* совершенного чуда — решились бы на то, на что они и решились: «вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним».

Так у Луки.

Так развенчано пышным чудом великое чудо, скромно и кротко описанное Матфеем, которого Лука, должно быть, не раз упрекал за то, что тот пренебрег изображением чудесного улова.

— Ах, Лука,— отвечал, должно быть, на эти упреки Матфей,— за Ним была Истина, и Он был достаточно ею проникнут, чтоб призвать одним только Словом.

— Нет, Матфей, нет! — возражал Лука.— Чудо должно быть ярким и зримым!

...Разговаривая так, они стояли на том самом месте, где Иисус призвал Симона и Андрея. Время от времени, прерывая спор, евангелисты прохаживались в раздумьях, заложив руки за спину и ничего не замечая вокруг: Лука не замечал, что Матфей расхаживает по воде, как по суше, не замечал этого и сам Матфей...

Партия в счастье: Кречинский против бога Вишну

В начале века литературный критик Сергей Яблоновский высказал в газете «Русское слово» весьма вызывающее суждение о главных героях пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», карточных игрока Кречинском и Расплюеве: «Казалось бы, что в них? Оба мошенники. Один побольше, другой поменьше, что они нам? Почему вы, честный и порядочный человек и в глаза никогда не видевший шулеров, почему вы с таким участием — да, участием, я утверждаю это,— следите за треволнениями Кречинского, почему вы ловите себя на том, что вам хочется, чтобы жульничество Кречинского удалось? Почему Расплюев вам родной? А ведь он, несмотря на всю свою вопиющую пакостность, вам родной?»

Теперь, в конце века, взойдя на некоторую временную (и, разумеется, временную) вершину, этот вопрос — почему? — можно поставить шире. Почему игроки всех масштабов — от скромного карточного шулера Ихарева, любовно выписанного Гоголем в «Игроках», до таких трагических фигур, как пушкинский Германн и лермонтовский Арбенин,— прочно вошли в русскую литературу?

Один из возможных ответов на этот явно философский вопрос состоит в том, что русскую литературу, яростно ценившую всякую искру подлинности, игра привлекала как неизбежная противоположность подлинности, как высшее и крайнее выражение иллюзорности жизни.

«Необоримой майей» называли эту иллюзорность древнеиндийские мудрецы. Они же полагали, что весь мир есть чудотворная и хитросплетенная Игра бога Вишну, который сам является одновременно и Игроком, и Игрой, и Ставкой в Игре. Именно эта трагически величественная Игра, а не игра в картишки, возводилась русскими писателями в «перл создания». Игра,

шагнувшая за пределы рулетки, ломберного столика и лавки ростовщика; игра, проникшая в чувства и побуждения; игра, дающая сильные ощущения, иллюзию подлинных радостей и полноты существования; игра, возведенная в принцип жизни и поставленная в основе всех проявлений бытия. Не случайно Арбенин в лермонтовском «Маскараде» произносит слова, которые будут вечно ласкать и тревожить вездесущий слух бога Вишну:

Что ни толкуй Вольтер или Декарт —
Мир для меня — колода карт,
Жизнь — банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.

Правила игры, примененные к людям, — вот нерв и суть того вселенски драматического и необоримого, как сама майя, явления, которое отразилось в произведениях русской классической литературы об игре. Всепоглощающая Игра. Все прочие игры — с применением фигурок, фишек, костей, жетонов — ее аватары (зримые воплощения), обладающие подчеркнутой яркостью и сообщающие игроку столь же яркие чувства.

— Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества — не знаю, как выразиться, — говорит Алексей Иванович, игрок Достоевского, припоминая ночь своего фантастического выигрыша.

Ослепительное отчаяние, лихорадочная радость, упоение властью над поверженным партнером, а *партнер* — любой человек, с кем вступает игрок в отношения, холод и трепет сердца, прилив и отлив ощущений — все это мимолетно, без прочности и глубины, но сильнее и ярче, чем будничное чувство действительной жизни. Оттого и образ игрока так впечатляет, оттого в его внешности так резко выражаются и страсть, и торжество, и презрение, и оскорбленное самолюбие, и ледяное спокойствие. А власть его над собою и над людьми потому так сильна, что совладать с фиктивными чувствами, несомненно, легче. В этих-то особенных чувствах, искусственно вызванных игрой и потому подчиненных уму, невозмутимому генералу на полигоне переживаний, и упражняется дерзкий старатель:

Тут, тут сквозь душу переходит
Страстей и ощущений тьма,
И часто мысль гигантская заводит
Пружину пылкого ума...
И если победишь противника уменьем,
Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем —
Тогда и сам Наполеон
Тебе покажется и жалок и смешон.

Такие слова изрекает трагически-гордый Арбенин. Но вот уже и «пакостный» Расплюев рассуждает в том же духе о Кречинском, восхищаясь его умом:

— Наполеон, говорю, Наполеон! Великий богатырь, маг и волшебник. Вот объехал так объехал; оболванил человека на веки вечные.

— Нет, ум великая вещь, — уверяет гоголевский Ихарев, — я смотрю на жизнь с совершенно другой точки зрения. Этак прожить и дурак проживет, это не штука; но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель!

— Все — ум, везде — ум! — восклицает Кречинский. — В свете — ум, в любви — ум, в игре — ум! В краже — ум!.. Да, да! вот оно: вот и философия явилась.

Все подвластно уму игрока. Как маг, вызывает он к жизни из пустот, испепеленных игрой, и любовь, и страсть, и вожделиние, не являющиеся таковыми.

Вот пишет Германн к Лизавете любовные письма: «в них выражались и непреклонные его желаний, и беспорядок необузданного воображения». Но «Эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь! Деньги — вот чего алкала его душа!»

— Я весь тут, весь по горло: денег, просто денег, — говорит Кречинский. И тоже пишет письмо к Лидочке. «Надо такое письмо написать, чтобы страсть

была. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, где она? Моя страсть, моя любовь... в истопленной печи дров ишу. А надо, непременно надо... Мой тихий ангел... милый... милый сердцу уголок семьи... нежное созвездие... черт знает какого вздору!..»

«В комедии не чувствуется присутствия женщины»,— сокрушались в XIX веке критики «Свадьбы Кречинского».

Что женщина для игрока! Пролог к заветным трем картам, мелкая ставка семпелем перед крупной игрой ва-банк, фишка на «чет» или «нечет», перед тем как двинуть на «зеро».

— Глупый тур вальса завязывает самое пошлейшее волокитство,— раскидывает Кречинский.— Дело ведено лихо: вчера дано слово, и через десять дней я женат! Делаю, что называется, отличную партию! У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. Да что и говорить! Игра-то какая, игра-то!

О, игроки, игроки! Они мечтают составить себе счастье в Большой Игре по правилам маленьких игр, уповая на некое автономное, не принадлежащее Небесам, самосущее чудо, разлитое, наподобие мировой воли, повсюду, таящееся везде,— хотя бы и в лавке ростовщика, или в раскладе карточных фигур, или в цифрах на колесе рулетки. И весь трагизм положения игроков — в этом противоречии между пылкой жадной жаждой счастья, славы, достоинства и ничтожностью, сверхпризрачностью средств, употребляемых для их достижения. Бредит тремя картами Германн: «Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото...»

Горит, накаленный воображением, блистательный ум Кречинского, и череда лучезарных призраков влечет замороженный взгляд:

— У меня в руках тысяча пятьсот душ — и ведь это полтора миллиона и двести тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть два миллиона! И выиграю, выиграю наверняка; составлю себе дьявольское состояние, и кончено; покой, дом, дура-жена и тихая почетная старость.

Тешит себя безумной верой в эфемерного бога — в «один оборот колеса» рулетки, который «все изменит»,— Алексей Иванович, жаждущий «воскреснуть из мертвых» ценою удачной ставки на «красное» или «черное»:

— У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с пятнадцатью гульденами!.. Что я теперь? Zégo. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока он еще не пропал!

Предается нежным мечтаниям о будущем счастье Ихарев, лаская «Аделаиду Ивановну», крапленую колоду-труженицу:

— Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но зато ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодушка — просто перл!.. Послужи-ка ты мне, душенька... выиграй мне восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю; в Москве закажу.

Но чудо невозможно. Бог отсутствует в фишках маленьких игр и в бурлении искусственных страстей. И рушатся неизбежно сложные построения, возведенные на хрупких опорах. Три карты Германна, крапленая колода Ихарева, фальшивый бриллиант Кречинского... Рокочные атрибуты игры... Причины фатальной гибели сердечно родных нам героев, для которых счастье остается недостижимым. Ибо божественная Игра — и русские классики знали это не хуже древнеиндийских мудрецов — божественно же парадоксальна. Согласно правилам величественной иллюзии и безграничного обмана, и бриллианты, и страсти должны быть до безумия подлинными. Игра не позволяет обманывать Игру. Вишну может обыграть только сам Вишну или разве что Будда, как-то раз обыгравший этого бога под деревом пипала на берегу реки Ниранджара...

А. Ф. ЛОСЕВ

«Любовь на земле есть подвиг...»

Дневник 1914 года (в нем есть несколько записей 1915 года и по одной — 1918-го и 1919-го) в толстой черной коленкоровой тетради был изъят вместе с рукописями А. Ф. Лосева 18 апреля 1930 года при его аресте. Десять лет об этих рукописях никто ничего не знал. Но, когда летом 1995 года я ознакомилась со следственным делом Лосева, мне пришлось обратиться в Центральный архив ФСБ РФ, чтобы узнать о судьбе исчезнувших бумаг. К моему удивлению, 25 июля 1995 года мне были вручены в торжественной обстановке в «Доме Лосева» (Арбат, 33) 2350 страниц научных трудов Алексея Федоровича, среди которых оказалась толстая тетрадь с Дневником. Обращаю внимание читателей на то, что выделенные курсивом строки в записях 1918 года в подлиннике подчеркнуты синим карандашом следователя.

А. А. ТАХО-ГОДИ

Суббота, 4 января 1914 г.

Сегодня уже 4-е, а я еще не начинал своего новогоднего дневника. А за последние дни очень много пережито, и много к тому же надо сводить итоги прошлого года, который открыл мне столько новых чувств и мыслей. Прежде всего начну с итогов. А итоги — с перечисления всех своих «номеров»¹, которые разбросаны по разным местам и трудны для обозрения.

1. Тогда я был классе в четвертом гимназии. У Новосельских в Каменской, стоявших на квартире у наших, была учительница, готовившая детей в реальное училище. Приехавши домой с Рождества, страшно скучал по ней.

2. Звать Катюша. В тот же, кажется, год, что и № 1, и в то же Рождество, одна из занимавшихся вместе с Николаем у № 1. Грузинка. Дочь или крестница Симона Луарсабовича Нацвалова. Видел ее у наших в спальне, где мы трое сидели, так как в столовой и других комнатах было полно народу. Страшно жалел, что не сошелся с нею, и возлагал все надежды на ближайшую Пасху, но исполниться им не удалось. Это было первый и последний раз, когда я видел Катюшу.

3. Фрида Ганзен.

4. Цецилия Ганзен. Обе милые девочки², выступавшие одна на скрипке, другая на рояле. Тогда, в 1906—1907 гг., они были еще детьми. Теперь же (1913) они, наверно, уже артистки и, наверно, где-нибудь за границей.

5—14³.

15. На станции Зверевой, когда гулял по станции во время остановки поезда, шедшего из Каменской в Новочеркасск. Это было в конце лета 1908 г. Миленький цветочек! Она стояла на ступеньках при входе в вокзал. Я прошел мимо нее несколько раз.

16. Встречал несколько раз в Кисловодске летом 1909 г. Смуглая, полная и, наверно, очень молодая девочка. Был страшно удивлен, когда увидел ее в Новочеркасске. Она оказалась даже знакомой Влад<имира> Микша⁴. Фамилия ее, кажется, Прозоровская. Почувствовал довольно сильно, что надо любить и забыть в любви, чтобы быть абсолютно счастливым.

17. Младшая из сестер Поповых (не А. Ф.), которая иногда нахально улыбалась прямо в глаза. Встречал почти каждый день, идя в гимназию.

18. Встречал утром, идя в гимназию. Полтава узнал ее имя и фамилию: Маруся Панкова. Но это, по всей вероятности, его фантазия.

19. Зинаида Попова. Длинная коса. Когда встречала нас с Левшем, то смиренно опускала глазки.

20. Горничная у Микша. Саша. Пасха 1911.

21. Ольга Позднеева: 15 ноября 1909 — 24 марта 1910.

22. Вера Фролова⁵. Апрель и май 1911.

23. Анна Кочеткова. Весна 1911.

24. Вера Знаменская. Конец июня 1911.

25. Дебора Лурье⁶. 18 и 19 декабря 1911.

26. Валентина Алексеева. Лето 1910—1913.

27. 11 июня 1911 г. в поезде от Минер<альных> Вод до Пятигорска (5—8 1/2 час. утра). В дневнике моем значится: «Высадка в Пятигорске. 8 1/2 час. утра. И «глазки» высаживаются. Находим драголя. «Глазки» уезжают на линейке, смотря издали меня с Крысой, сопровождаемые нашими взглядами».

28. 11 июня 1911 г. На пешеходном пути от Провала до Пятигорска. Одна барышня, вероятно, экскурсантка, со студентом. Крыса сказал: «Бывают же такие люди, что сразу узнаешь их светлый и мягкий характер».

29. Щерковская. Встречал 2 года подряд, обгоняя ее, идущую в гимназию. Под ее знаком был написан мой «Апокалипсис».

30. В апреле 1912 г. на трамвае, подъезжая из у<ниверсите>та к Кудрину. Говорили по дороге, разговор сразу обличает начитанность. Девочка лет 16-ти. Проглядывает поразительное для нее знание жизни и какое-то стариковское спокойствие.

31. 29 января 1912 г., когда шел с Матвейкой от Спасских ворот до Театральной площади, видел двух молоденьких барышень, которые, впрочем, «сзади казались лучше, чем спереди». Это нас смешило. Одна была в желтоватом пальто, сзади похожа на японку. Другая — 32 — в черном пальто и белой шапочке.

33. 22 марта 1912 г. в университетской церкви на чтении 12 Евангелий и 23 марта в Великую Пятницу на утрене три гимназистки. Одна маленького роста, в черной шапке с длинными белыми перьями, очень нравилась Матвею, который даже скучал по ней. Вторая — 34 — высокого роста, в серой шляпе; все время разговаривала с 35 — довольно милостивой девочкой.

36. Княгиня Оболенская. Декабрь 1912, январь 1913.

37. «Канцелярская барышня». Апрель, май 1913.

38. Хорватка. Зима 1912—1913.

39. Антонина Андреевна Попова. Понаслышке знали друг друга давно. Познакомились в начале августа 1913 г.

40. Гимназисточка, которую встретил 19 сентября 1913 г., идя домой с Тверского и расставшись с Поповыми.

41. Вера Суханова.

42. Елена Житенева⁷.

Итоги за 1913 год.

Начался год под эгидой Елены. 12 января, день написания характеристики, был прототипом всего последующего романа. На Масленице был у Микша в Петербурге, где написал письмо О. Е. Криндач о подвиге в красоте. Результаты были вдвойне неудачны. Во-первых, Криндач не ответила и я остался с носом; во-вторых, на меня напал Микш, разругал за невыдержанность и назвал письмо искусственным. И вообще посещение мною Микша принесло мне много раздумий над той резкой критикой моего поведения, которую преподнес мне Микш. Но настроение после Криндач несколько дней было все-таки хорошее. Пост прошел в занятиях, рефератах и экзаменах<...>. Люся была далеко от меня во дни Св. Пасхи, но моя душа жила с нею, молилась за нее, жила ею. Прошла Пасха, и начались испытания. Прежде всего стали очень много отнимать времени приехавшие Власовы, так что нельзя было держать экзаменов. А тут Люся опять резко ко мне переменялась, стала холодной. Быть может, она и всегда такой была, да только я все воображал. Как бы то ни было, но уехал домой с расстроенным сердцем и помутившимся умом. В Каменской ждала меня комедия с братцем. Пришлось писать письма Надежде Уваровой почти в том же духе, что и Криндач. Параллельно шли воспоминания при встречах с Алексеевой. Когда уехала Уварова, приехала тетя Женя⁸, с которой до второго приезда Уваровой (в июле) уже успело случиться нечто вроде маленького романа. Милая тетя Женя прельстила меня своей скромностью, и я отдыхал от великосветской козы, причинившей мне майскую трагедию. С Уваровой пришлось дела мало-помалу ликвидировать, тем более что и кузен прямо безумствовал по поводу моих отношений к ней. В Новочеркасске выпала неделя в августе, которую я никогда не забуду. Милые девочки, Мира, Таня, Женя Немечень, заставили забыть на время тяготы и мелкоту нашей жизни. Приехавши в Каменскую и потом в Москву, страшно скучал. В Москве ждали меня сентябрьские экзамены. До 20 октября крепился и не ходил к Житеневым.

20-го пошел — и начались ноябрьские парения. Счастье, музыка, красота без конца в ширину, без измерения в глубину. К концу ноября почувствовалось понижение курса, и весь декабрь все шло прогрессивно на убыль, вплоть до 21 декабря, когда после одного посещения Люси я решил прекратить с ней свои прежние отношения. Новый 1914 г. наступил при отчаянных сопротивлениях постигшим страданиям. А наступившие в январе экзамены и напряженный труд за ними тоже взвизгивали нервы, которые стали успокаиваться только к Масленице (9—16 февраля).

Суббота, 15 февраля 1914 г.

Так прошло уже больше месяца после ликвидации моего московского романа. Перед самой Масленицей, числа с 7 февраля, настроение стало улучшаться. Экзамены немного взвинтили нервы. А тут воспоминания... И на Масленице настроение все время было довольно даже веселое, кроме 13 и 14 февраля. 13-го перед вечером сделалось скучно. Хотелось новую девушку и новых песней. Красивых чувств, чуждых реальности, и беззаботного самозабвения. На лоно этой свежей и нетронутой красоты хотелось склонить усталую голову свою. Пошли было с Манюшкой в Художественный театр, а потом в Большой, но нигде билетов нельзя было достать. Так не удалось прогнать тоску искусством. После нашей неудачи М<анюшка> пошел куда-то к девицам, а я тосковал-тосковал и зашел к декану⁹. Декан был со мной довольно весел. Все время болтал о Бубликах и о Люсе, что мне, разумеется, очень было по сердцу. И вообще нельзя скрыть от себя, что у меня на душе происходят самые благодатные проявления, когда декан с проректором¹⁰ начинают строить какие-нибудь предположения о будущем для А<лексея> Ф<едоровича> и Е<лены> Евд<окимовны>. Они и сами в это будущее не верят. Еще меньше верю я, так как убедился, что такой характер, как у Люси, может принести мне только страдания. Но когда слушаю их мечтания, то я отбрасываю всякую реальность и погружаюсь в одну мечту. Да и зачем мне реальность? Мечта не нуждается в осуществлении. В ней, как и во всех иллюзиях, плохо то, что она может разрушаться. О, если бы жить одной мечтой и избавиться от этого проклятого тела с его желудком и похотью! Вот поэтому-то и нравятся молоденькие, нетронутые создания. В них мало материи, они заставляют забывать действительность, дают отдых.

<...>Был утром у Зимина на «Демоне»¹¹. Странное впечатление, которое было, может быть, не менее действенно, чем сама опера. Прежде всего перед нами с Поповым сидел целый ряд маленьких девочек, один вид которых всегда вызывает во мне экстраординарные чувства. Это раз. Затем какие-то неясные и туманные, но грустные ассоциации связывались с голосом Кошиц¹², певшей Тамару. Потом воспоминание о лермонтовском «Демоне», о гимназии, где я его впервые изучал и где придется его преподавать вот этим девочкам. Таким образом, едва ли было много эстетики в моих переживаниях от «Демона». Было много очень близких сердцу воспоминаний и мечтаний, которые или были неэстетичны, или если эстетичны, то не непосредственно от «Демона», а потому, что и вообще я уже давно привык жить не реальным, а опозитизированными чувствами. Это замечательная вещь. Если здесь и не поэзия, то, во всяком случае, у меня всегда созерцание настроения. Это не просто принятие во внимание того или другого чувства. Это сознательный и бессознательный саморефлекс, который не думает, например, так анализировать чувство, чтобы его разрушить. После такой рефлексии чувство не уничтожается, а увеличивается. Так, чем больше я на этих днях думаю о тете Жене, тем она как будто становится все ближе и ближе. Иногда начинаешь какое-нибудь письмо с холодным сердцем, а после того, как просидишь над ним часа полтора-два, создается настроение, о котором и не думал в начале письма <...>.

Да, без сомнения. Я мало живу реальными чувствами. Такая вот поэтическая грусть и была 13 и 14 февраля вечером. Надо теперь подумать над след<ующими> вопросами:

- 1) Стоит ли культивировать в себе эту поэтизацию мыслей и чувств и какие она несет выгоды и невыгоды поведению, мировоззрению и отношению к людям?
- 2) Все ли мысли и чувства у меня поэтизируются, или есть такие, которые недоступны поэтизации?
- 3) Когда и при каких условиях поэтический саморефлекс развивается быстрее и плодотворнее (с своей точки зрения)?
- 4) То же ли самое этот поэтический саморефлекс со словесным самогипнозом, отмеченным мною уже несколько раз раньше?
- 5) Не стоит ли этот поэтический саморефлекс в связи с общим моим индивидуализмом, и нельзя ли тогда этот последний охарактеризовать как психологический, а не мирозерцательный, индивидуализм настроения, а не философствующей мысли?

Воскресенье, 16 февраля 1914 г.

Нет, все-таки можно забываться от треволнений жизни. Вчера, придя в институт на испытание к Веревкину, я случайно присутствовал при осмотре нашего института психиатрами с Рыбаковым во главе. Целых три часа Георгий Иванович <Челпанов>¹³ водил всех по зданию и объяснял приборы. Целых три часа внимание мое было устремлено на научные открытия и изобретения, и реальная жизнь не вспоминалась совсем. Я вспомнил незабвенные ноябрьские дни, когда я выходил в четыре часа из института после погружения в науку и выходил только для того, чтобы вспомнить свою милую Люсю, свою небесную любовь, столь же далекую от земли, как и функциональная психология. Да, надо жить наукой. Ею можно жить. Не ей одною, это правда. Наука без искусства и без любви — уродство. Но, с другой стороны, что же такое искусство и любовь без науки?

Наука без искусства — созерцание предмета познания издали, «сквозь зеркало, как бы в тумане», по выражению апостола; здесь непобедимая дистанция познающего и познаваемого. Искусство же и любовь без науки — порывание без осознанной цели, утомительный бег на месте. <...>

Воскресенье, 2 марта 1914 г.

Уже несколько дней стоит чудесная солнечная погода, хотя и немного холодно-ватая. Утром было хорошее настроение, когда спешил на уроки к своим ученицам. Хорошие у меня девушки. Чувствуется в них что-то семейное, простое. Как все-таки я люблю спокойную, семейную жизнь, теплый угол с деятельным, энергичным, немного строгим, но любящим отцом и с бесконечно доброй и преданной своему делу матерью... Эх, никогда не придется жить так, спокойно и твердо идя к своей цели. Нет, я чувствую, что мне предназначены вечные скитания по институтам и по театрам с целью найти в них счастье, вечное искание *той* Люси, небесной, вечные порывы и одинокая жизнь. Вот мать на днях пишет, что трудно прожить без женской ласки, но что надо быть менее серьезным и более обходительным... Ах, как все это неприятно звучит! Быть менее серьезным? Что это значит? Отказаться от науки и от музыки и исповедовать все это только на бумаге? Полноте, мама, этого ли вы мне желаете? Вы сами не знаете, какого зла вы мне пожелали. Так вот и все. А мать уж, наверное, любит меня больше других. Что же тогда должны сказать другие?

После урока спешил в Художественный театр на «Николая Ставрогина»¹⁴. <...>

Было несколько моментов, когда я начинал чувствовать эту зияющую пропасть изуродованных человеческих душ, но как-то пугливо старался отделаться от них, чему помогал еще весеннее настроение, которое и победило трагедию, но зато и само к шести часам вечера перешло ни больше ни меньше, как в тоску по Люсе или, может быть, еще по кому-нибудь. Мне так хотелось в эти первые дни новой весны прижать к сердцу чистую, добрую девушку, вдохнуть в себя счастье от нее и быть навеки с ней неразлучным. Почему-то думалось, что это Елена. Даже странно. Нервная, злая, больная девчонка, и...

Стал стареть. Об этом недавно писал, между прочим, тете Жене. Стал стареть, конечно, не в смысле упадка сил — я чувствую в себе никогда не прекращающуюся энергию и с большой неохотой ложусь спать, покоряясь необходимости; конечно, и не в смысле упадка чувства — роман с Еленой перевернул всю мою душу, а весна и теперь захватывает не менее прошлогоднего. Но стал уже, несомненно, стареть *для девиц*. Я и никогда не был для них ровней. А теперь и вовсе первая встречающая до последней смотрят на меня, как на старшего, как на дяденьку или на учителя. Да я ведь и правда-то только и знал все время, что проповедовал. А кому это приятно? Да, уже не всякая назовет Алешей. Нет, тот, у кого усы и борода и кто любит Бетховена и Вагнера, тот уже не Алеша, а Алексей Федорович, несмотря на то, что этот А. Ф. в двадцать лет стал чувствовать более ребенком и более стал непосредственен, чем в пятнадцать лет. <...>

Последние две-три недели увлекался Байроном. Странное совпадение и — à propos — совершенно случайное. Мой вновь открытый пессимизм и увлечение Байроном. Если бы кто читал мой дневник, пожалуй, подумал бы, что я увлекаюсь байроновской разочарованностью, его безотрадней пессимистической трактовкой всего мирового и человеческого. О нет, не этим увлекает меня Байрон. Я если и разочарован в чем (что еще может вызывать сомнения), то не *в том*, в чем он, и *не так*, как он. Не в том — так как я полон надежд, и не так — потому что мой Бог ближе ко мне, чем его к нему. Увлекает меня этот культ безграничной, свободной, красивой, титанической человеческой личности. Увлекает меня этот опьяняющий пафос его пламенных речей против мещанства. Увлекает меня этот бурный океан, имя которому гений, который волнуется и свищет на своем собственном просторе, эта клубящаяся

туманность, от века подвижная, от века величественная в своем грандиозном движении и вращениях. Вот что такое Байрон. Поистине, нет гения без свободы и красоты. Свобода есть условие силы, а красота — условие ее нежности. Бетховен, Вагнер — вот еще два мира, в которых мне пришлось почувствовать этот гигантский, титанический порыв в вечности. Порыв и прорыв в нее. Мне даже кажется, что в этом и состоит жизнь гения. Все время при мысли о волнуемом океане гения вспоминаю слова Мандеса¹⁵ о посещении им Вагнера. Да, гений всегда гений. И, несмотря на свою особенную божественную печать, он все-таки цель для нас, а уж подавно учитель.

Как это для меня понятно. Не знаю, были ли эти мысли о гении у меня раньше. Если и были, то теперь они имеют у меня новое содержание, новое после Вагнера и Байрона.

Счастливые вы, избранники человечества! Скорей ли вы нашего идете к боже-ству или вы уже раньше нашего двинулись в этот путь, двинулись где-нибудь на Марсе или на Сириусе, но вы наша гордость, и только в вас успокоение тем, которые, как вы, одиноки в своих мыслях, но которые слабее вас, боги, пророки.

Забиться бы в ваших творениях — и сбросить бы с себя пошлость для Божьей жизни, для небесной.

Наверно, бледно и наивно. Но, Господи! Как это ново и как это чувствуется!

Среда, 12 марта 1914 г.

Теоретически всегда я относился очень радужно к тому взгляду, что любовь, или то, что так называется, очень полезна для философии. Но фактически в настроении эта мысль приобретает новое содержание, и вся она вообще кажется новой, хотя теоретически я всегда ее исповедовал. Так, напр<имер>, вчера и после вчера, то есть 10 и 11 марта, я вновь восчувствовал... любовь?.. Разве я люблю Люсю? Люблю?.. Странное слово. Но положим, что это любовь, хотя, разумеется, это будет произвольная предпосылка для дальнейших размышлений. Ну, положим, что это так (ведь не для семинария же Щербины я пишу этот дневник). Если это так, то вот именно 10 и 11 марта были отмечены особенно высоким повышением самонаблюдения, так что если не для философии, то, во всяком случае, для психологии любовь дает не оцененные блага. Прежде всего отмечу *происхождение* чувствований 10 и 11 марта. Дело в том, что еще составляет очень большой вопрос, что имеет большее значение для происхождения чувства, — внешние ли обстоятельства или психическое нарастание чувства под влиянием хотя бы представлений. Если я начинаю думать больше о Люсе, тем больше я начинаю чувствовать. Внешним образом ничего не изменилось, Елена так же далека от меня, как и всегда. А вот пришел Базилевич, рассказал о своем субботнем посещении Житеневых, и поднялись во мне старые эмоции, заставивши вновь пережить всю эту трагикомедию. <...>

Приходится сознаться, что к этим чувствам присоединилось еще одно, которое для меня представляет, кажется, загадку, но которое очень действительно. Я уже писал об поэтизированных чувствах. Все они не только не доставляют страдания, но, кажется, даже приятны. Кажется? Во всяком случае, большая доля приятности тут есть. Но горе в том, что бывают и неопэтизированные чувства страдания, и вот тогда-то уж действительно не до поэзии. Ближайший прежний раз этого страдания без поэзии был, конечно, 20 и 21 декабря 1913 г., когда пришлось ликвидировать свой полуторамесячный обман. А потом — это случилось как раз 10 и 11 марта. Дело в том, что в понедельник 10 марта, вечером, был у меня Базилевич. В конце концов он позвонил к Елене. В телефонной будке стоял и я. Когда Елена услышала, что кто-то есть в будке, то, конечно, спросила, кто это. Базилевич выпалил. В ту же секунду Елена сказала: «Ну, пока, до свидания». Этого никто не заметил, то есть того, что Елена это мне утирала нос, но я почувствовал очень сильно. Я к ней не обращался с января месяца. Но ей все-таки и в этом случае, то есть когда я к ней не обращаюсь, удалось утереть нос мне, что, дескать, не нужен ты мне, все равно мне, что ты такое. Ну, скажите, что это было у меня за чувство? Самолюбие, друзья мои, самое настоящее уколотое самолюбие!.. Раньше я скрывал все это от себя. Но зачем старался это делать — не знаю. И если сознаться, то, несмотря на разные мои идеальные (скажем) порывы, а с другой стороны, правда, несмотря на все видимое «равнодушие» Елены, наши отношения все время состояли в том, что мы старались утереть друг другу нос и показать, что каждый из нас самостоятелен и независим от другого. <...>

И вот возникает вопрос: если это действительно самолюбие, то как его согласовать с идеальностью? Или это может быть не самолюбие, или какое-нибудь особое самолюбие, гордость, что ли, какая-нибудь? Раньше я все время эти мучения приписывал всецело идеальному характеру своих устремлений; но теперь благоразумие и справедливость заставляют сознаваться. <...>

Факты таковы: после каждой моей неудачи у Елены, после каждого «укола» у меня всегда гордое стремление уйти от Елены, уйти от ее общества и, даже больше того, отойти вообще от человеческого общества, закопаться в себе. Как квалифицировать эти факты? С другой стороны, желание закопаться в себе, уйти от общества (а в этом и можно только видеть действие самолюбия) бывает у меня и от других причин. И в них есть столкновение с людьми, но здесь уже не только то имеет значение, что люди тебя не понимают, а то, что один в поле не воин, что перед тобой стоит стена, которую не пробьешь даже ценою своей головы. Так, получивши один раз неприятные известия о наших семейных событиях в Каменской, я, тогда зубривший сравнительную грамматику, нарочито закапывался в нее, чтобы не думать о своих несчастьях, чтобы заслониться от них печатной книжкой. Что, тут тоже самолюбие?

Вопрос о самолюбии и гордости — основной вопрос моей натуры. Не стоит ли он в связи с индивидуализмом или, лучше сказать, с эгоцентризмом? Ведь раз личность прежде всего, то на первом плане, конечно, и переживания ее. А раз хоть немного личность становится в конфликт с обществом, то, значит, и гордых страданий в ней должно быть много. Не знаю, впрочем, чем вызываются во мне эти мысли: 1) стремлением ли к самооправданию, 2) привычкой мыслить или, лучше сказать, так плохо мыслить или 3) действительным положением дела?

Потом к этой же области принадлежит и вопрос о восприимчивости, о впечатлительности, который, впрочем, очень трудно отделить от мнительности.

Так, посмотревши недавно у Базилевича на великолепно исполненный портрет Байрона, который представлен там редким красавцем, я так заинтересовался им, что, несмотря на свои многочисленные занятия, стал его читать и изучать пособия о нем. Когда узнал, что Дьяков получил медаль, я целый день сожалел о том, что мне этого до сих пор не удалось сделать. И т. д. и т. п. И Базилевич своими как будто бы простыми рассказами об Елене и о субботе 8 марта возбудил во мне такие эмоции, что от 18 часов вечера 10 марта до 6 часов вечера 11 марта, то есть целых 20 часов (ночь была беспокойная), эмоции наполняли всю мою душу. Что это, нервная впечатлительность, мнительность или тонкая чувствительность?

Суббота, 12 апреля 1914 г.

Нет, трудно писать дневник. Пишешь ведь тогда, когда не живешь. Вагнер удивительно хорошо говорит о своем искусстве, которое бы он променял все целиком лишь на один-единственный день *жизни*. Ведь это когда нет простора для жизни, углубляешься в себя, копаешься там, далеко, и пишешь об этом копании. А разве до писания, до анализа, когда ты живешь, когда у тебя зарождается, развивается и падает чувство *само собой*, автономно, непосредственно? Вот не писал в дневник целый месяц. И твердо знаю, почему. Было чем жить, помимо дневника.

А теперь, значит, нечем?.. <...>

Четверг, 17 апреля 1914 г.

И теперь все каждый день несет переживания. На чем? От Вундта, Штумпфа, Марбе. Было так хорошо, так радостно на душе. Увидал-таки Введенского¹⁶. Массивная стройная фигура. Ни одного седого волоса. К нему надо присмотреться, чтобы увидеть пожилого человека. Я вертелся все время около него, разглядывая этого любопытного человека. На другой день — показывание института. Опять почти целый день в институте. На третий день, 25 марта, опять показывание института. Так прошло три дня, посвященных целиком психологии и Психологическому институту¹⁷. И вся эта неделя, половина пятой и половина шестой, была как в чаду. Ведь по сравнению с этой обыденщиной и мещанством всякая наука и искусство — чад. Теперь мы видим все в зеркале, как бы в тумане. Будет время, когда увидим все лицом к лицу.

И что можно тут описать этими жалкими словами!

Целый век пишешь и читаешь, а ведь нет врага больше, как язык и слово. Что такое слово? Тургенев сказал: «Нет ничего сильнее и бессильнее слова». Что слово сильно — да. Но что оно и бессильно — в этом трагедия всего моего писательства. <...>

Потом наступила Страстная неделя — время, которое в особенности бывает богато у меня переживаниями. Стоит отметить еще (до Страстной) мое посещение Житневых в Вербное воскресенье. В этом году был у Житневых: 2 января, 9 февраля и вот 30 марта. Видал наконец и Елену. Она пополнила и похорошела. На душе был *нуль*, то есть ощущение нуля. А больше, слава Богу, ничего. А то ведь Бог знает что могло быть.

Говенье началось обычно. Университетская церковь¹⁸. На душе довольно покойно. В четверг должна была приехать мать. Ожидание ее было довольно сложно.

Во-первых, ждал мать; во-вторых, ждал обыденщину, которая вторгнется в говенью и разрушит его. Так и вышло. Дождался и того, и другого. Милая, добрая мама и — такова уж судьба — плохое настроение на Пасхальной заутрене. Идя к заутрене, мать очень устала и была недовольна. Ее плохое и капризное настроение расстроило меня, и впечатление от заутрени пропало почти целиком. Дивный момент появления крестного хода в храме при пении «И судим во гробах...» только и напомнил о той святости и безмятежности, которыми должна бы быть полна душа да которой и была полна в прошлом году. В этом году не получилось. И досадовал на это ужасно. Тем более что, придя домой, почти не разговлялись, так как не было самовара. Пасха Христова — и самовар! Ну разве же это не наказание Божие? Совершенно пропало всякое настроение, и ничего не осталось, кроме досады не то на обстоятельства, не то на отсутствие у себя самого выдержки и твердости. Потом я писал тете Жене письмо, в котором выражал те немногие минуты во время Пасхальной заутрени, когда и у меня на душе был светлый праздник, когда раз и я чуть не заплакал. Но... я писал ей только это. Я не писал милой тете Жене о самоваре...

Первый день Пасхи до двух часов дня вполне соответствовал этому «самоварному» настроению. Шел дождь и снег, и только порой пробивалось солнце, правда, уже довольно теплое. <...>

Да! Забыл еще упомянуть об утрене в Успенском соборе, которую мы отстояли с мамашей в пятницу под субботу. Пение Синодального хора вызвало сложные ощущения. «Непорочные», которые я за три часа до того слушал еще в университете, в исполнении Синодального хора оказались глубиной никак не меньшей, чем тот знаменитый лейтмотив Зигфрида¹⁹. Не хотелось анализировать. Вспоминаешь — и только. Любопытно еще и то, что при воспоминании эта утренняя производила гораздо большее впечатление, чем при слушании. Это было и с операми Вагнера. <...>

Понедельник, 21 апреля 1914 г.

«Что имеем, не храним; потерявши, плачем...» Ужасные слова! В них кроется один из пунктов моей трагедии. На эту тему думал вчера, лежа в постели после доклада Столпнера, и сегодня, когда доставал билет на Тангейзера²⁰. Попов натолкнул на эти мысли. «Избаловали вас женщины, — сказал он. — К вам они так и льнут, а вы на них нуль внимания. Когда же с вами случится что-нибудь подобное, а женщина к вам не очень, то вы уж Бог знает какую трагедию строите». Что, если верно?

Нет, едва ли верно. Когда же ко мне льнули так женщины? Во-первых, с ними это случается не часто. Во-вторых, если льнуть, значит, иногда построить глазки, то ведь не об этом же речь. А что они дали мне, кроме глазок? Мечты? Ах, позвольте, позвольте! Ведь прежде же всего постоянно слышишь, что мечты — это только игра моей фантазии, только нечто психологическое, не имеющее объективного основания. Моя фантазия? Значит, мое творчество. Где же тут заслуга женщины с вашей даже точки зрения, господра скептики? А затем, сколько разрушали женщины мои мечты, которые возникали благодаря их же собственному появлению? Нет, в моих мечтах женщины повинны гораздо менее, чем мое, ну, если хотите, творческое «я», а если не хотите, то весь уклад моей натуры. Что же остается на долю женщин, встреченных мною на жизненном пути, помимо страданий, доставленных мне ими, и помимо тех пустопорожностей, каковыми они меня награждали? Остаются немногие минуты сладких иллюзий, а если не иллюзий, то пусть настоящего счастья, однако не проверенного и не выдержавшего еще жизненный искуc. Да. Вот что и значит твое, Александр Федорович, «льнули». Но вот еще что главное. «Льнуть». Разве это существенно для той любви, которой я добиваюсь? Пусть они даже льнули, и пусть они всегда льнули ко мне. Разве этим измеряются взаимная симпатия и ответное чувство? И разве я (а ведь про меня же он говорит, что я строю себе трагедию в случае неуспеха), разве я-то льну? Существенно *понимание* души человека. Вот этого-то понимания... — нет, куда там уж понимания? — этого-то *желания* понять я встречал очень мало. А сам вот всегда лезу на рожон, все хочу понимать чужую душу. Ну, вот тебе полез на рожна и напоролся на Еленку.

Впрочем, здесь, в дневнике, кажется, вышло гораздо смелее и определеннее, чем я на самом деле думаю. Кажется, я не совсем уверен в несправедливости Попова...

Кажется... Эх, пирронист^{20*} поневоле! Все тебе только «кажется»!..

Тетя Женя писала: любовь небесная и любовь земная. Что она понимала под последней — для меня неясно. Но о первой мы, кажется, согласны. Конечно, земная любовь есть и для меня. Но я признаю ее как известное отражение *той* — в условиях нашей действительности. Попытаюсь формулировать эти две любви.

Тезисы практической гинекозофии²¹

(Исповедь журавля в небе, не довольного синицей в руках и не желающего стать таковой в чужих руках.)

I

ЛЮБОВЬ есть взаимная диффузия двух душ, познавших смысл вселенского всеединства и свою взаимную предназначенность к оному.

II

ДУШИ соединяются в любви для взаимодействия, взаимосозерцания, взаимоблаженства.

III

ОБЪЕКТИВНОЕ основание этого взаимосращения душ есть ипостасность Божества. Ипостасный Бог, являющий своим ипостасным единством идею всеединой вселенной, которая объемлетя в понятии синтеза свободы и взаимодействия, взаимодиффундирующих материально, есть в то же время и предвечный образ единения душ как в смысле гармонизации формальной неоднородности, так и в смысле материально действенной и усвояемой абсолютной индивидуальности.

IV

СТРЕМЛЕНИЕ к любви есть стремление к утраченному единству, почему оно и есть космический процесс.

V

Определяемое материально, космическое в любви есть восстановление творения и твари, стенающей по тому абсолютному счастью и ведению, утратой которого поражен по крайней мере тот уголок вселенной, который приютил нас. Абсолютное же счастье есть вечная жизнь и радость о Духе Святе.

VI

Единство формальных и материальных признаков космического начала в любви заключается в победе над смертью и ограниченностью человеческого рассудка, достигаемого гармонизацией женского и мужского начала, предвечно данной в ипостасном единстве Божества и еще раз материально, специально для нас, детей праха, подчеркнутой в союзе небесных Жениха и Невесты, Христа и Церкви.

VII

Всякая и всяческая частица земного бытия таит в себе два момента: 1) динамический, поскольку она живет приближением к миру иному, которое проявляется в бесконечных формах и масштабах и 2) статический, поскольку каждая такая частица, несмотря на связь с мирами иными, относительно довлеет себе и имеет самостоятельную ценность в своей неизменной устремленности к Божеству. И в любви есть свои динамика и статика.

VIII

В человечески-психологической транскрипции божественно-логической динамики любви центральное место занимают порыв и томление духа по абсолютной жизни. Статический же элемент вносит компенсирующее усвоение земной действительности, противопоставляя порыву в вечность сознание временности этого мира и возможности созерцательного, хотя и любовного, прохода через него, презревшего тоску о нем, но очищающего себя от грехов его.

IX

Не много тех, которым ясна тайна любви от начала. Еще меньше тех, у которых эта тайна осознана. Но еще и еще меньше тех, кому эта тайна открывается чисто человеческим способом: путем проникания в глубину своего эмоционального опыта и вглядывания в мистическую мглу своей души. Однако последний способ, как чисто

человеческий, доступнее нашему анализирующему веку, чем подготовка себя к непосредственному озарению свыше. Для этого последнего, то есть для трансцендентного откровения, мы слишком мало подготовлены. Но имманентное откровение, психологически транскрибируемое как самонаблюдательное узрение объективно-конститутивных моментов переживания, — удел гораздо большего числа, чем думают.

X

Анализируя конкретное переживание, мы должны прежде всего выделить все побочные элементы, как в логике мы выделяем все, что не относится к переживанию смысла, или в эстетике — что не относится к специфически-художественному восприятию. Так, мы выделяем элементы самолюбия, элементы, имеющие лишь случайную связь с объектом, элементы чисто и внешне эстетические и прочее. Остается то зерно любви, которое, может быть, и не встречается в чистом виде, но без которого нет вообще никакой любви. Это зерно и есть то, что в своем динамическом аспекте есть порыв к единству, побеждающему смерть, неведение и несчастье; а в статическом — созерцательное отношение к миру, через который мы проходим, отношение тоскующее, но удовлетворенное.

XI

Узревший тайну любви в идее всеединства знает, что такое он, человек, и куда он идет. Неслиянное и неразлучное существование мужского и женского начала становится для него пределом, его же не преидеши. Это не есть его абсолютный произвол (то есть утверждение в любви как единстве), так как не он это установил. Но это так же мало, как и абсолютная покорность. Для произвола это самоутверждение слишком соответствует воле Божества; для покорности — слишком воле человечества.

XII

Но человек, пришедший в мир, в мир, который во зле лежит, не может быть причастным насквозь этой небесной любви, частично ощенной им в глубине своей души. Человеческая душа тоскует по своей небесной родине, но она в путях зла. Отсюда любовь на земле есть подвиг.

XIII

Любовь есть подвиг, ибо

- 1) она есть познание себя и чужой души; и перегородки между познающим «я» и познаваемыми «я», как своим, так и чужим, бесконечны;
- 2) она есть алтарь, на который приносятся в жертву все эгоистические расчеты, а они почти всегда победители и очень редко жертвы;
- 3) она вообще зовет к совлечению греха, ибо цель ее — безгрешная и бессмертная индивидуальность; а кому не известен аромат греха?

XIV

Узревший тайну любви не может не знать, не может не *принять* этой тайны, не захочет не принять ее. Но принять ее — значит стать подвижником. В этом — трагедия наших вздыханий о горнем мире. И избавиться от нее можно только двумя путями: 1) когда одна душа нашла *свою* душу и земные условия, то сопротивляясь этому, то способствуя, на деле только возвышают этот союз и 2) когда человек отказался от лицемерия настоящей тайны любви и предался тому, что составляет только ее земную оболочку. Так как первый путь бывает редко, а второй есть отказ вообще от любви, то трагедия остается.

XV

Душа, идущая в мир, несет в себе бесчисленные потенции, которые при известной комбинации могут оказаться родственными другой душе. Только сродные души и могут срастись, то есть обрести себя в любви.

XVI

Найти *свою*, родственную, душу трудно²² в условиях нашего земного неведения и нашей связанности материальными узами. С другой стороны, ошибиться в найден-

ной душе, то есть признать ее за свою, в то время как вовсе не твоя, опасно уже потому, что совершенные на основании этих ошибочных мнений поступки могут в своих последствиях помешать потом и новым исканиям *своей души*, и вообще новым молитвам к Богу. Отсюда — осторожность прежде всего, если бы только этот термин не был отягощен различными ассоциациями о мещанстве.

XVII

Но и эта осторожность таит в себе глубины сатанинские. Ведь можно совершенно вытравить в себе то, что выше было названо тайной любви, если она была достигнута (впрочем, это означало бы только неполное достижение); можно не культивировать это в себе, если его нет. Тогда действительно будем осторожны. Но не это есть осторожность. Это есть отказ вообще от действия в любви, это есть отсутствие внутренней жизни этой любовью.

XVIII

Истинная осторожность есть полнота (возможная, конечно, ибо абсолютная возможна только при исключительных условиях), есть полнота переживаний любви, но полнота, не пытающаяся строить объективного моста между небом и землей при первой встрече с женщиной, а остающаяся при своем созерцании и чающая жизни будущего века.

XIX

Неизбежно поэтому личность, узревшая тайну любви, останется мечтательной, и для нее многое будет противоположно, чем непосвященным. Неизбежно это будет человек настроения. Неизбежно он будет символист и в жизни, так как явления ее будут только символами высшей жизни (а, конечно, женщины прежде всего), и в искусстве по той же причине.

XX (XXV)

Для него мечта реальнее жизни.

XXI (XXIII)

Мечта не нуждается в осуществлении.

XXII (XXIV)

Женщина, как и все в жизни, издали кажется лучше. Поэтому будем смотреть на нее издали.

XXIII

Мечта не нуждается в осуществлении, так как осуществление ее наполнило бы всю жизнь, а результат был бы все равно меньше, чем в мечте неосуществленной.

XXIV

Издали женщина лучше. Ибо вблизи несущественные подробности разрушают впечатление от общего. И как бывает часто, что не видишь за деревьями леса!

XXV

Мечта реальнее жизни, ибо она ощутимее, чем серость жизни. Ведь в жизни мы гораздо чаще ощущаем пустоту, чем содержание. Мечта же по существу своему есть содержание, так как мечтать о *ничто* значит не мечтать вовсе.

XXVI

Мечта не только реальнее жизни, но и правдоподобнее ее, так как она несравненно лучше отражает высший мир, к которому мы стремимся, чем отражает его эта наша земная юдоль.

XXVII

Любовь есть искусство при каждом новом объекте чувствовать себя так, как будто бы это первая любовь.

XXVIII

Любовь при множестве объектов может нарушаться только временными промужутками, самое же это множество объектов не нарушает единой любви.

XXIX

Любовь есть стремление. Стремление есть познание. Значит, любовь там, где есть что познавать. Если объект исчерпан для тебя, то не надо притягивать познание за волосы. Любовь к тому объекту, в котором уже все исчерпано для тебя, есть или привычка, или неспособность иметь самую обыкновенную фантазию.

XXX

Идеализация в любви и даже те мимолетные грезы, которые слетают к нам при встрече с прекрасной девушкой, едва ли есть просто идеализация, то есть простое выдумывание. Не есть ли это откровение мира иного? Может быть, идеализирующий-то и увидел вещи в их настоящем бытии, которое недоступно всем прочим людям с их привязанностью к житейской прозе и неспособностью к этой «идеализации».

4 мая 1914 г.

Жаркий день. Утром был у учениц. Хорошие девочки. Водили меня гулять в сад, где было много тюльпанов и зелени. Женя Гайдамович была все время очень любезна. Ласковая и добрая она девушка, но мне не ее хочется... После урока поехал туда, чтобы узреть то, чего мне действительно хочется. Люси мне хочется? Увы, да. Вообще с ней дело что-то затянулось. Пора бы уж и со сцены. Правда, никто так быстро не сходил со сцены, как К. Ш. Но этого я и не хочу. А сошла бы просто поскорее. Надежда Ув<арова>, правда, еще не совсем сошла, но хоть бы так уж была Елена, как сейчас Надежда Ув<арова>.

Так или иначе, а сегодня шел с вполне сознательным желанием увидеть свой предмет. И что же вы думаете? Прихожу — нет никого дома, кроме Нины. Нина — это такой икс, который требует очень многих уравнений для своего решения. Сначала разговор не клеился, но потом кое-как наладился. Говорили об «Елене Евдокимовне», почему она перестала быть для меня «Люсей», говорили о моей прошлогодней характеристике, к которой Елене угодно было так грубо отнестись; говорил я о загадочности натуры Нины, об ее глазах и прочем. Разговор перебила тетка Маша, которая пришла с детьми из зоологического сада. Обедали. Потом я ушел. Грустно на душе. Теперь ведь Елену не увижу уже до осени. Легко сказать — «страданье в разлуке есть та же любовь»...

Не понимаю, чего надо этой моей бессознательной темной бездне. Я вот скучаю по Елене, хочу ее видеть. Можно сказать, это страданье. Но ведь сколько же раз было так, что девушка к тебе со всей душой, а ты... ты опять страдаешь, но страдаешь уже не от любви, а от скуки. Неужели красота любви только в искании ее, только в процессе преодоления препятствий?

Из своего опыта приходится выводить, что любовь обуславливается почти исключительно чисто психологическими причинами. Неужели она диктуется только известной душевной организацией?

Грустно все-таки. «И будете два в плоть едину...» Нет. Наша жизнь — сон, и во сне-то мы все рвемся, все никак не можем успокоиться. Ведь опасно успокаиваться-то. Не значит ли это умереть?

27 мая 1914 г.

<...> В шесть тридцать урок у учениц. Последний урок. Я-то думал еще после занятий устроить как-нибудь одно заседание, чтобы проститься с ними. Но они, вероятно, в этом не ощутили потребности. Расстались вчера довольно холодно. Хотя и любезно. Все дело в том, что можно быть любезным к человеку и все-таки не перекреститься, когда узнаешь о его смерти.

После учениц — симфонический концерт в Сокольниках. Первая и вторая симфонии Скрябина и третья соната. Вторая симфония меня очаровала. Это невероятная сложность. Хотя и чувствуются какие-то сверхъестественные нервы, какие-то потуги, нервные порывы. Это не бетховенский порыв и не вагнеровский. Для первого — у Скрябина не хватает созерцательной сгущенности, для второго — определенной волевой целенаправленности. Дух человеческий витает в творениях Скрябина или, лучше сказать, мечется по поднебесью, и, кажется, он еще не на небесах²³. За-

ключение второй симфонии говорит о каком-то примирении, это какой-то гимн, торжественный, законченный по своей устремленности к прославляемому предмету, но дух попадает в эту просветленную и титанически-примиренную сферу как бы случайно. Он и сам об этом не думал. Посмотрите, как в последней части плачет флейта. Вот как будто все человеческое существо уже направилось к небу, вот оно его достигло, но если бы не эта флейта! Она звучит на тон ниже устремившегося целиком оркестра. Опять нет ни бетховенского созерцания, ни вагнеровской воли. Есть скрябинский мятущийся дух, который мечется по поднебесью, который порой, кажется, на своих нервах взлетает куда-то выше небес, но опять это все-таки не небеса, и со страданием узнаешь, что быть выше неба значит быть ниже его. Скрябин весь мечется, порой любитесь своим смятением, но чаще воюет решительно со всей вселенной, упиваясь борьбой, наслаждаясь головоломными скачками через препятствия, он весь — гроза, вулкан, бунтующее море, непрерывная прихоть обваливающегося скал. Два ли для такого духа есть Бог и небеса. Нет, стремясь к Богу вечно, стремясь так головоломно, стремясь с таким всеразрушающим экстазом и с такими невероятными электрическими токами во всем своем существе, он уничтожает Бога-Успокоения, Бога-Промыслителя. В конце концов узнаешь этого бога. Его приходится писать с маленькой буквы. Этот бог — человеческое «я», человеческий дух, для которого вихрь его переживаний есть алтарь, а жертва — его связь с космосом и жизнью.

У Бетховена нет бога, у него есть Бог. Он его утверждает своим созерцанием, в котором могучие порывы духа гармонизированы слитостью с Божеством. У Вагнера есть Бог. Он Его утверждает грандиозностью и величием духовного подвига, духовного прорыва в небеса. Мы не видим, сливается ли у Вагнера человек во едино с Божеством, но мы видим, что ради этого Божества дух человека способен на всяческий подвиг. Дух человека у Вагнера самостоятельной, чем у Бетховена. У Скрябина нет Бога. У него есть дух и вселенная, где этот дух мечется. <...>

30 мая 1914 г., 11 часов вечера

Нет, мне не суждено достигнуть той любви, к которой воздыхает душа моя. Нет, земная действительность против всего этого. И остается мне идти в учителя, учителя женской гимназии, и нести туда святой огонь вдохновения, нести завет истинной любви и братства. Ведь жениться мне... Жениться? Нет, этому никогда не быть! Нет, брак может быть только романтическим. На другой я не способен. Порой мне кажется, что в будущем как-нибудь представится возможность оправдать женитьбу на не-идеальной девушке. Но стоит только задать себе вопрос, *как* этот теоретический компромисс возможен и *как* он произойдет, совершенно ничего не понимаю.

Пойду я куда-нибудь в глухую провинцию, в какую-нибудь захолустную гимназию, женскую гимназию, и буду там всю жизнь, всю свою жизнь, большую или небольшую; буду разделять с милыми девушками то, чего достиг мой дух в своем уединении, буду говорить о правде, о красоте — и вот будет мое счастье и мое земное дело. Воспитать новых людей, впитать в себя их душу и вдохнуть в них свою, жить одною жизнью с ними, идти к красоте, к красоте уже действия, а не только созерцания, идти вместе с молодыми, нетронутыми душами, у которых нет прошлого, у которых все в будущем. Кажется мне, что не для науки я создан, я создан для важного дела воспитания и перевоспитания человека. Пусть через несколько тысяч, сотен, а может быть, и просто через несколько лет разрушится наш клочок в безграничной вселенной, пусть погибнет и культура, ради которой я, как это может показаться, и хочу работать в качестве учителя, пусть. Но не для видимых благ, не для материальной культуры я хочу работать. Я хочу и буду работать для того, что неразрушимо, что дает жизнь о Духе Святе и что заставляет нас с воодушевлением восклицать: «Горе, имеем сердца!» Вот эту-то искру заронить в сердца, и вот тут-то поработать... Господи, даже голова кружится от той бездны дела, которая меня ждет. Прочь от всяких условностей, прочь от мнения толпы, и туда, туда, к этим невинным сердцам, молящим о защите, туда, к этим далеким, провинциальным гимназисткам, к этим забытым культурою жизням. Видал я этих гимназисток во всех концах России: в Новочеркасске, в Москве, в Златоусте, в Минске — все они одинаковые, одинаково-наивные, и все еще светлые души. Надо иметь мужество и умение не потеряться в своих суждениях об их отдельных качествах, надо взглянуть на них сверху, издали, чтобы сравнить с другими людьми, посмотреть на них так, как смотрим мы на исторические эпохи, и они представляются в самых чистых и добрых сердцах. К этим же душам. Туда, туда. Только бы Бог помог.

Берлин. 11 июля (28 июня) 1914 г.

Сейчас пришел в библиотеку²⁴, а на душе вовсе не наука. Сидя в трамвае, видел сейчас такую красоту, какой уже давно не приходилось созерцать моему утомившемуся взору. Чудная, дивная женщина... Она дождалась вместе со мной трамвая на Mittenbergplatz. Мы сели в вагон вместе. Красота была недалеко от меня. Повернувши голову, я мог спокойно видеть эту женскую фигуру, эту классическую строгость лица. Несколько раз я посмотрел на нее. Она была строга, горда, прекрасна. Что может быть лучше для женщины, чем строгость и гордость? Несколько раз посмотрела на меня и она... Но один раз... один раз я был пронизан ее взглядом, как электрическим током. Я до сих пор ощущаю эти глаза. Это была сила, прямо физическая. Я замер, буквально замер. Захолонуло, что называется. Все куда-то исчезло: и трамвай, и мои бумаги, и мостовая, на которую я стал бессмысленно смотреть. Забыл окончательно все, а был как будто погружен в какую-то невиданную атмосферу, в какие-то пронизывающие токи. Да, это вагнеровская красота. Это не красота наивных девочек, которых я тоже очень люблю. У милых девочек все так просто, невинно, поэтично. И с ними я люблю мечтать, люблю созерцать их простые души, прозрачные, детские души, не знающие ужасов и трагедий нашей жизни. Но сегодняшняя моя красота — другая. На красоте моих девочек и моих чувств к ним трудно построить жизнь. Строить жизненный корабль для житейского моря нельзя такими нежными, поэтическими ручками. Ими, этими невинными ручками, этими девственными грудями, этими милыми личиками, можно упиваться, можно через них видеть подлинную красоту, красоту горнего мира, и мне, искателю жемчуга, конечно, это наиболее доступно и наиболее просто. Это тоже, конечно, трудно, так как и здесь, у этих милых девочек, уже иссякает красота, уже и они в наше время начинают мешански жить так рано и так безвозвратно. Сегодняшняя моя красота — другая. Сегодняшняя моя красота — красота Вагнера, красота, в которой мир спасается любовью и Бринхильда добровольно и подвижнически возвращает кольцо Нибелунга Дочерям Рейна. Это красота подвига, это красота знания жизни, это та античная красота, которой не хватает только этих сегодняшних глаз, вырвавших меня из этой жизни, чтобы покорить каждого из смертных. Отчего я не сошел с трамвая и не пошел за этой красотой? Отчего я теперь никогда не увижу это воплощение вагнеровской мечты? Приди ко мне ты, неизвестная, ты, прекрасная! Освободи меня от плесени жизненной. Твои электрические глаза способны на какой угодно подвиг; мы с тобой вспыхнем яркой двойной звездой и осветим окружающую тьму. Прожить несколько мгновений вместе, полюбить до внутреннего прозрения красоты, полюбить и умереть вместе, умереть красивой смертью, умереть с дорогим именем на устах. Господи, голова кружится от того счастья, которое может быть. Мы явились бы перед нашим Божеством с твердым знанием того, что мы преодолели жизненный гнет, мы разорвали гнет предрассудков, гнет индивидуальных слабостей; что мы исполнили заповедь Христа и проповедь апостола о любви Христа и Церкви²⁵. Дивная, неповторимая красота... Жить хочу, любить, бороться, страдать, ярко пылать жарким огнем. Ах, любви, любви, подвига!

Берлин. 17 (4) июля 1914 г.

Многое затирается и замазывается жизнью. И мое трамвайное видение уже сглаживается. Теперь думаю, что способствовало тому, чтобы осталось такое сильное впечатление. Во-первых, эта девушка (или дама) была одета в костюм, совершенно ничем не выделяющийся, не кричащий. Это было белое платье, с нехитрыми складками. Шея была оголена, но немного. Безусловно, оказали свое впечатление и белые туфли с белыми же чулками. В этом однообразии иногда, как здесь, таится свой стиль. Затем — на голове убор, мало того что не кричащий, но как раз из тех, что мне нравятся. Это не шляпа, не солома, не перья. Это что-то вроде чалмы, с околышем из глянцевого материи. У Валентины Поповой я видал нечто вроде этого. Такой фасон головного убора придает какую-то энергию всей фигуре. Здесь чувствуется что-то вроде сцены, но не в смысле игры и потому неискренности, но в смысле незаурядности и напоминания о героичности, что, разумеется, видишь на сцене чаще, чем в жизни. Может быть, это по новости так кажется, так как эти уборы гораздо реже обыкновенных шляп, и, может быть, новизна и есть разгадка этой героичности. Может быть... Я говорю лишь о том, что чувствую. И вот моя красота оказалась с ног до головы, потому что середина тоже не кричала о себе; ничего, кроме чуть-чуть заметной подвижности форм.<...>

Надо отметить еще вот что. Когда она сошла с трамвая и направилась за угол, я смотрел за ней, пока позволял трамвай. На углу она упустила из рук какую-то связку. Быстро наклонилась и быстро подняла. Потом пошла дальше... Все это трудно

передать, но это вот почему важно. У меня получилась мысль (осознал ее я уже потом), что вот есть красота, которая освещает твой мир. Но не думай, что это красота для тебя только. Она живет своей собственной жизнью. Вот она здесь, вот она двинулась дальше; ты остался, а красота сама собой движется и существует. Некоторая эпичность получилась.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять²⁶.

Берлин. 26 (13) июля 1914 г.

Жизнь души и жизнь сознания — это удивительная вещь. Ощувивший эту жизнь ну разве удержится от того, чтобы заклеить всех этих людишек страшным словом «мещанство». Уже давно собираюсь записать сюда одну вещь, которую я упустил в прошлый раз. Это о возбуждении жажды к жизни в те необычные для меня дни, когда «трамвайная красота», с одной стороны, инцидент с г-ном и г-жой фон Бреннер — с другой, заставили меня приобщиться к той жизни, которой я лишен благодаря науке. Боже, как торжествовал бы Илья Яковлевич, если бы он прочел эти строки! Увы, бедный дядя Илюша! Это было бы Вашей ошибкой, так как от этой жизни я взял опять-таки не то или не только то, чего Вы вообще ждете от подобных случаев. Именно в один из тех дней (было воскресенье) я вышел на улицу с твердым намерением всматриваться в человеческие лица, в человеческие фигуры; что таят они и что кроется под этими летними сюртуками, белыми платьями, под этими тирольками и дамскими шляпками? Вышел с этим намерением, которое, кажется, еще никогда не было пережито так сильно. На Tauentzienstrasse набрел на какую-то фотографию. С жадностью стал рассматривать вывешенные карточки, ища в них обобщений, ища то дурное и то хорошее, что так плохо изучено психологией и к чему не чувствует позыва научная совесть наших официальных ученых. Какая интересная вещь физиогномика! Надо в Москве пробраться к Россолимо²⁷ и поучиться у него.<...>

Человеческая жизнь! Что может быть интереснее, глубже, содержательней? Даже мещанство, и эту штуку, кажется мне, я мог бы изучать, мог бы вмешиваться в нее. Что мешает?..

Мешает прежде всего трусость. Да, самая простая, элементарная трусость. Под сознанием, там, в глубине, не всегда доступной для анализирующей мысли, копошатся мысли: а что если ввяжешься в какую-нибудь историю; а что если общество осудит; а что если нарушится спокойная жизнь? Это раз. Но есть и два. Это то, что Лосский, очевидно, тоже хорошо почувствовал, создавая свой интуитивизм и помещая свое Предисловие, в котором говорится об ограниченности человеческого познания, о том, что нельзя в одно время в Москве слушать Шаляпина, в Петербурге смотреть Парсифаля²⁸, в Берлине присутствовать в клиниках. Да! Ведь предаться этой жизни — это же значит забросить науку. Возможно ли это? Приходит на ум Вагнер, Гете.

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна²⁹.

Да, только поэты и философы способны причаститься к подлинному бытию, совмещающему в себе все сущее. Мы же, бедные пасынки природы, мы только должны вслушиваться в звуки этих созерцаний Гете и Вагнера, и куда там нам до жизни! Червяки — и жизнь!

Каменская³⁰. Среда, 23 июля 1914 г.

Однообразен я. По крайней мере кажется, что здесь, в дневнике, все довольно-таки однообразные чувства. Сейчас я в Каменской. После пережитых волнений и после такой невозвратимой потери я опять в Каменской. Вот уже третий год приезжаю я в Каменскую усталый, оборванный, нервный, без любви, без удачи в науке.<...>

Кандидатская работа³¹ исчезла вместе с множеством ссылок, выписок, переводов, заметок, уже написанного текста, списков литературы и прочее и прочее. Можно сказать, что эта работа была целью жизни этих студенческих лет. И вот эта цель оказалась неугодной природе.

Судить не мне. Значит, так Богу угодно. Запишу сюда, как шли эти злосчастные дни перед отъездом из Берлина и как прошел сам отъезд.

25 (12) вечером пришел ко мне хозяин и сообщил, что между Сербией и Австрией прерваны дипломатические сношения и что Россия тоже, вероятно, вмешается в войну. В воскресенье, 13-го, и понедельник, 14-го, пришлось быть свидетелем нео-

бычайного возбуждения на улицах Берлина, вызванного войной, и злостных манифестаций против России и Сербии. Жить становилось уже трудно. Кроме того, в случае войны мое положение в Берлине, без денег, без знакомых, было бы не очень завидно. В понедельник, 14-го, я был на Friedrichstrasse и купил свой злосчастный костюм, верхнюю сорочку и еще кое-что. Все было уложено в небольшой чемоданчик, куда я сунул и папку с рукописями. В пять часов дня я еще думал, что поеду 15-го, но в полшестого я уже спешил на поезд, чтобы выехать из Берлина в семь часов вечера. Опрометью прискакал домой, и тут начались денежные испытания, приведшие меня к полному краху. Во-первых, хозяева взяли с меня одиннадцать марок вместо предполагаемых мною пяти-шести. Уложивши кое-как книги и платяишко, сел на автомобиль, чтобы заехать в библиотеку отдать русские книги, а оттуда на Friedrichsbahnhof. Народе оказалась тьма. Носильщиков найти не было никакой возможности. В результате метался почти целый час по вокзалу, рискуя, что украдут вещи, которые ведь нельзя же мне таскать за собой, и окликающая каждого проходящего чернорабочего. Наконец нашелся какой-то, но было поздно, поезд ушел. Пришлось остаться до полдвенадцатого ночи, когда шел еще один поезд на русскую границу. Пошел бродить по Берлину, прощаясь с Friedrichstrasse и со всем городом. Наконец наступил одиннадцатый час. Носильщиков опять никого. Попался какой-то молодой человек, русский, который тоже искал носильщика. Мы решили с ним сами взобраться на платформу. Но при входе на платформу нашелся какой-то хулиганчик, который и втащил на плац наши чемоданы, а потом и в вагон. Еще одна минута — и моего чемоданчика с новым костюмом и с рукописями не стало. Где я его оставил — я знаю великолепно, несмотря на то, что мне говорили сочувствовавшие мне пассажиры. И не видел я своего чемоданчика не больше, как только одну минуту. Впрочем, была такая суматоха и такие нервы, что можно удивляться, как голова осталась целой на плечах. Целую ночь искал по вагонам, волновался, но...

Попытался призвать на помощь философию. Ведь и в самом деле. Что такое настроение? Все это зависит от нас. Начни себя утешать; смотришь, и в самом деле утешился. Эх, душонка! Как можно владеть тобой! И как ты бессильна! Вот и говорят, что никакой трансцендентальной стороны в нашем «я» нет. Глупцы, дети, мешане!

17 июля 1914 г.

<...>На что надеюсь и чего я жду? Без любви, неудачный ни в науке, ни в капитале, рассорившийся с родными и ненавидимый ими, безумно любящий Вагнера... Вагнер? А, да, да! Вагнер. Вот мое утешение... Но... Но что такое Вагнер? Ведь это все та же будущая жизнь, в которую я привык верить с детства, ведь это же опять все не здесь, не здесь, не на земле, не в России, не в Москве, не в Каменской. Вагнер — ведь это же только средство забываться. Ведь это же еще не жизнь, это только предчувствие жизни, только порыв в нее, но доступна ли она нам, эта настоящая, подлинная, истинная жизнь?<...>

У Фламариона³² заход солнца — преддверие ночных звездных откровений. Это при заходе солнца сошлись Георг Сперо и Иклеа; это при заходе солнца наслаждались истинной жизнью и поэзией Рафаэль и Стелла³³. Счастливы вы, Рафаэль и Стелла. Как я хотел бы быть таким, как ты, Рафаэль, жить такой жадной к истине и такой жадной к любви. Истина и любовь... Как обыденны и незначачи эти слова для тех, кто не пережил ни того, ни другого, и как полны они значения для того, кто хоть чуть-чуть их почувствовал. А Фламарион живет этим. Господи, как сделать, чтобы передать свои настроения и свои чувства также и другим людям, чтобы если уж суждено жить одним созерцанием, то передавать это созерцание и другим, не самому только жить им.

Заход солнца! Какие чудеса кругом нас и как мы не обращаем на них внимания! Заход солнца. Какая-нибудь станция, вроде Старожилово. Недалеко от станции дача. На даче живет она. Она, святая, чистая, непорочная девушка. Она выходит вечером гулять на берег реки и смотрит на заход солнца. Милая, родная девушка. Ведь я смотрю вместе с тобой на этот заход солнца. На нем встречаются наши взоры. Хочешь ли быть моею, хочешь ли дать мне свою красоту и возродить меня к жизни иной? Возьми меня к себе, умрем вместе, будем подвижниками...

Устал жить один. Один, один, *один*. Может быть, так и надо? Я верую в Бога. И Он меня спасет. Он не даст погибнуть мне. Господи, помоги.

Суббота, 11 октября 1914 г.

Сегодня закончился, наверно, последний этап в сношениях с Евг<енией> Ант<оной>. Я ничего не писал в дневнике за этот месяц, но случилось очень многое, и притом со многими довольно необычными компонентами.<...>

Свел нас Вагнер 13 декабря 1913 г. на «Золоте Рейна». Сначала я не обратил на нее почти никакого внимания.<...>

В те дни я был занят своим поэтическим романом с Еленой и как-то слабо и ту-по воспринимал милую Женю. В конце концов стал с ней сближаться. И еще больше убеждался в ее необыкновенных свойствах. Ее любовь к поэзии, ее проникновение в Вагнера, ее сердечность, соединяющаяся с образованностью (филологичка, говорит по-немецки и по-французски, играет на рояле),— все это обвораживало меня. Она внимательно вслушивалась в мои парадоксы и философию и отвечала на все это с наименьшей парадоксальностью и философичностью.<...>

Так шло время. Наступил май. В мае я несколько раз гулял с ней по Кремлю. Иногда чувствовалось нечто вроде скуки. Нельзя же вдвоем в продолжение трех-четырёх часов говорить одними афоризмами. В результате пришлось послать ей листиков в десять письмо, где трактовалось на тему о красоте как ощущении и красоте как подвиге. Первую я считал языческой, другую — христианской. Первую приписывал ей, вторую — себе. «Вы добры, но добры ко всем...» Основная пружина этого письма была та, что Женя, такая милая и умная, мила и умна для многих, может быть, для всех. Я только из числа этих многих. Попов смеялся, прочитав это письмо: «Что же это, А. Ф., огонек-то, а?» А я писал, что в вас, мол, Евг<ения> Ант<оновна>, блеснул для меня огонек, да вот-де красота-то языческая ваша мешает мне. На самом же деле под этими словами крылась просто все та же жажда моя светлой и чистой женской души, жажда насытиться этой нетронутостью и в то же время сложностью. То и другое, безусловно, в сильной мере было именно у Евг<ении> Ант<оновны>. Даже теперь, когда я с ней поссорился, я признаю за ней эти исключительные особенности, образованность, простоту, поэтичность и сложность переживания. Так прошел весь май.<...>

Такая грусть, такая тоска и такая жажда по чистому счастью... Вот как раз и здесь, в моем милом общежитии, которое я так люблю и к которому привязался больше, чем к университету.³⁴ А войдешь после вечернего чаю к себе наверх — там заход солнца, великолепный и прекрасный, опять воспоминания, смутные и сладкие, о Рафаэле и Стелле, о Георге Сперо и Иклее, о чудных звуках, которые в Каменской были для меня целым откровением: «Заря потухает, звезды мерцают на синеве небес. В порыве страсти, грусти, молчанья, о милый друг, приди, приди!» Сладко и грустно, тоскливо и радостно на душе. Какой-то легкий зуд по свежей весне, *настоящей* весне, по любви и правде о Господе Иисусе. Тут бы обнял сейчас Женю, отдал бы ей всю душу, взял бы себе ее душу, соединился бы «союзом любви» для славы Христовой, для Имени Господа. Но не было ни такой Жени, ни такой совершенной жизни, ни я сам, наверно, не был как следует подготовлен к этой подлинной, истинной жизни.<...>

Да, проходила весна, а Женя была язычницей... Милая, добрая, сердечная, но... милая и добрая ко всем, решительно ко всем, и в результате... в результате я опять одинок. Опять весна и опять одинок.<...>

Относительно Жени к концу мая пришлось прийти к выводу, что эта чудная, необыкновенная девушка вовсе не для меня и я не для нее, ибо тысячи препятствий к тому и у нее, и у меня, как внутренних, так и внешних. А 28 мая я вновь почувствовал свежесть, повеявшую еще с непочатого источника — Сони. И вот на другой день, прощаясь по телефону с Евг<енией> Антоновой, я ей сказал, что хотя она и поэтичней Софьи Александровны, но Софья Александровна добрее, ласковее и потому ближе. А на вопрос «Ну что вы скажете мне на прощание?» я строго сказал: «Ничего». — «Ничего?» — «Ничего». Разговор прекратился. Я уехал за границу злой и с досадой на душе, что не мог жить этой красотой Жени и не мог Женю приобщить к той красоте, которую сам привык проповедовать.<...>

Воскресенье, 12 октября 1914 г.

<...>Лето прошло бурно. Мало вспоминал об Евг<ении> Ант<оновне>, но когда вспоминал, то по-вагнеровски, с нежностью и с «мотивами спасения». Приехал в Москву.<...>

Как всегда, конечно, не удержался и позвонил первый. Еще раньше этого от Александра Позднеева узнал, что она выдержала экзамен на сестру милосердия и дежурит где-то в лазарете. Разумеется, от нее можно было ждать именно чего-нибудь такого. Милая девушка, идейный человек, она не могла отнестись спокойно к тем мировым событиям, которые сейчас разворачиваются по почину Вильгельма II. Звоню. Опять пахнуло майской свежестью, и опять пережил несколько святых мгновений. Помню, и тогда, весной, было несколько таких вечеров, когда мы говорили по телефону по полтора часа, испытывая сладкий зуд от взаимного соприкосновения

душ, от примеривания, не окажутся ли они родными... Именно как сказано у Платона о философской любви, эросе, что она зуд...<...>

Письмо 7 октября, посланное 28 октября (запись от 28 октября)

Опять к Вам, но уже не с тем. Да, не с тем, Женя. Не удалось. Единственный раз думал о жизни я так реально и так близко к тем формам, которые случаются у людей постоянно, хоть и редко когда с хорошим содержанием. И вот чувствуется, что не для меня эта реальность, что не в силах я устроить ее, устроить в жизни, в этой вот временной и пространственной жизни, в Москве. Последние разговоры мои и письма, полные самого отчаянного символизма, показали мне, что не стоит быть таким символюстом для реальных форм жизни, не стоит тратить время и душу на символизацию того, чему все равно не суждено произойти.<...>

Делать жизнь так, как все, не читая *вместе* Фета, Гете, Шиллера, Вагнера, не вдохновляясь *вместе* Бетховеном, не *исповедуясь* вместе перед одним священником, не любя *вместе* православной Древней Руси, которая еще теплится в Чудовом³⁵, в Успенском, у Иверской, не уметь *вместе* совместить Вагнера и славянофилов... Нет, скучно будет жить с таким человеком, скучно и жутко думать о таком *вместе*; тогда и в одиночку я сделаю больше, чем *вдвоем*... Я даже и не знаю, чего это я последние три недели так захотел *вместе* идти к своим целям. Ведь для такой любви нужен же с той стороны подвиг, а не ощущение, нужна жертва, а не спектакль, нужно «иго Христово» и «бремя Его». Нужно ощущение легкости этого бремени. О, нет! Если не отнимет Господь разума, ни за какие блага не свяжу свою жизнь с чужой без этих родных, святых целей. Они мне родные, это к ним я стремился мальчишкой четвертого класса гимназии, когда плакал над Лизой Калитиной, когда снились мне чудные образы Рафаэля и Стеллы из Фламариона. Это они привлекли меня к философии в университете, к покрову Пречистой, покрывающей нас, немногих, одиноких, верных, сходящихся под праздник в кремлевские соборы. Это они заставляют искать и находить в Древней Руси порывания к Невидимому Граду, в женщине — одеяние духовного брака, в музыке — то первобытно-единое, которое, по слову Вагнера, существовало бы и тогда, если бы даже не было самого мира. Нет, для этих целей надо быть одному. Надо выстрадать свой жребий, ибо в нем же и спасение. Простите, Женя, меня. Отныне Вы не услышите от меня манящих символов и слов, зовущих в голубую даль *совместного* несения креста. Нет! Мы будем такими, как были *тогда*, в марте, в апреле, будем с нашим словопрением, шутками и парадоксами; будем жить каждый по-своему, я — знаете как, Вы же... Вы? Впрочем, не спрашиваю о Вас. У меня нет на этот вопрос права. Будьте счастливы. Пигмалиону не только не следовало бы ехать в Сицилию, не следовало бы даже и оживлять свою статую. Правда, у него не было Христа, и ему трудно было бы жить одной мечтой. Но нам не трудно. «Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много есть». Веруем, веруем в Твою обитель, где не будем одиноки и где воссоединимся с женским, что есть наше духовное восполнение, воссоединимся по завету Христа и Церкви, Небесного Жениха и Невесты. Не нам, не нам, но Имени Твоему! Ваш, Женя, Ваш А. Лосев.

27 октября 1914 г.

Нет, Женя, не могу. Крепился целые сутки, не писал. Сейчас пришел в голову какой-то странный вопрос: да почему это, собственно, не писать, для какой цели? И ответом на этот вопрос было движение рукой, чтобы открыть стол и взять почтовой бумаги... <...>

Я теперь уже не заспорю, что у нас нет общей цели. Но все эти сутки, как и вообще в минуты наибольшего ощущения Вашей близости, мне все как-то не верится своим глазам, все кажется, что это сон и что мне суждено целую жизнь быть одиноким. Да неужели же это правда, что я не один? Неужели это правда, что родственные души есть тут, на земле, да не только на земле, а в России, в Москве, у Красных Ворот?.. Это же ведь чудо, это немыслимо, непостижимо. Смотрю все это время и не верю своим глазам. Неужели это обман зрения?..

Женя, милая, родная! Чувствуете ли Вы, что я перестаю смотреть на Вас как только на мечту? Чувствуете ли Вы, что с каждым днем что-то в нас усиливается, что-то воздвигается, незаметно, медленно, но непрестанно? Вот она где, разгадка того относительного спокойствия, которым сопровождаются все мои чувства к Вам, начиная с 1 декабря 1913 г. Вы посмотрите мои дневники: Вы найдете там за несколько лет десятка четыре женщин, по которым я вздыхал и которые вызывали во мне высокие и красивые фейерверки, горевшие ярко, но мгновенно. Из этих четырех десятков женщин, согревших мое сердце, не больше десятка знали о том, что во мне

фейерверк, и уже совсем не знаю, понимал ли из этого десятка кто-нибудь вечную тоску мою по «Ewig weibliches»*. <...>

Женя! Целый день сегодня наполнен Вами; Вы везде, и на лекции, и дома у меня, и в библиотеке... Или нет: Вас нет, не думаю о Вас, но я полон Вами, полон нашим вчерашним свиданием, когда вдруг почувствовалось опять, что я же привык к Вам, что мы даже ругаемся и уже не обижаемся, как будто и правда свои люди... Милая Женя, простите меня, что «меня трудно заставить верить». Не трудно, не трудно, так как уже верю, уже знаю.

Мы живем с Вами на земле — в этом вся суть. Тысячами нитей связаны мы с Вами с материальными условиями, с нравств<енными> условиями среды, где мы воспитались и жили и где живем. Все это надо побороть. После вчерашнего вечера мне показалось, что уничтожение символов совпадает как раз с этой нашей свободой ото всего, что нас сейчас разъединяет и делает пока несамостоятельными подмостками.

Женя, поручаю себя Вам. Вы сами знаете или узнаете, когда наступит пора отмены символов и когда... Святая, чудная девушка, ты ли поможешь мне нести крест мой, ты ли будешь той для Моряка — Скитальца по океану наук без любви и искусства без сочувствия?

Женя, молись, молись!

Заступница усердная, Мати Господа Вышнего! За всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего и всем твориши спастися в державный Твой покров прибегающим: всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя избавлению всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси божественный покров рабом Твоим.

Я молился за нас, когда писал эту молитву Казанской, которую мы слушали с тобой в церкви 22 октября. Была ли ты в церкви? Твой А. Л.

Понедельник, 22 декабря 1914 г.

<...> Несколько дней назад я прочел «Тристана и Изольду» Вагнера³⁶, и это сыграло странную роль в моих настроениях. Неужели наша жизнь или нет, не наша, а наступающая, немецкая, одна только осмысленная и достойная человека, неужели она будет этим обречением себя на смерть, этим отказом, самозабвенным отказом от всего земного и жизнерадостного и погружением себя в какой-то сладкий мрак, «и невыразимо-тоскливый», и «благовонный»? А после нескольких телефонных разговоров с Женей я чувствовал именно эту дионисийскую стихию мира и в ней уже не раз начинал сходиться с обыкновенного ума. Да... ведь сойти с ума так просто... У сошедшего с ума ведь главное то, что он действует как бы бессознательно; не отдает себе отчета в своих действиях и поступках. Ну, а у меня?.. Я же ведь тоже теряюсь... Опять эта проклятая мысль о сумасшествии, как и в прошлом году. Это ведь так легко и просто... <...>

Когда сел сегодня за дневник, то хотел писать «о Вере Николаевне» и о добрых душах». Но во время писания пришла мысль: не обдумать ли *для печати* что-нибудь из моих теперешних настроений? Наконец в последнюю минуту захотелось писать о моих сношениях с Евгенией Антоновной. Не знаю, куда деться и с чего начать. Пока же воспользуюсь наиболее простым выводом: ничего не буду писать. А похожу-ка по комнате да подумую.

Понедельник, 29 декабря 1914 г.

И все-таки я люблю тебя, Женя, люблю всем своим нутром, люблю как-то незаметно, спокойно, тихо. Вчера много занимался Гуссерлем³⁷, и вдруг около двух часов ночи, оторвавшись от Гуссерля, я как-то сразу почувствовал свою любовь к Жене, почувствовал ее мягкую женственность, ее ласку, ее милое, доброе сердце. <...>

Если бы мы действительно захотели пожениться, к этому создались бы бесчисленные препятствия. Я совершенно не обеспечен материально; необходимый кусок придется зарабатывать самому, не рассчитываю абсолютно ни на чью помощь. А жить в Москве, жить с семьей да еще при моей библиомании и меломании — разве возможно на какие-нибудь две тысячи рублей? Но этого мало. Ведь жениться на ней — значит оторвать ее от родной почвы, значит навязать ей, еще, в сущности, ребенку, жизненный подвиг, значит лишить ее радостей девической жизни. Посмотрите, как она танцевала 25 декабря и как забавлялась, подавая руку грубому солдату, распевая песни вместе с этими ранеными и радуясь всей своей детской силой непосредственности танцам, елке и празднику. Взять ее отсюда, оторвать от почвы, вскормившей

* «Вечная женственность» (нем.).

ее, увести на тяжелый и тернистый путь жизненной борьбы и жизненного подвига, заставить ее делить со мной мою суровую философию и одиночество, когда ей теперь так сладко и приветливо, так мило и уютно живет под крылышком любящих и лелеющих ее родителей, вправе ли я делать все это, могу ли решиться на такое дело, и не будет ли это страшным преступлением? Обо всем этом думалось всю вчерашнюю ночь, и, думая так, я опять повторял: и все-таки люблю вас, милая Женя, люблю всем своим существом. И еще много препятствий обдумал я вчера, и не становилось почему-то тяжело, хотя обыкновенно эти-то мысли о препятствиях к полной любви и заставляют предаваться вагнеровскому дионисизму.

Не знаю, может быть, в глубине души я убежден, что Женя уже моя, что рано или поздно мы соединимся союзом во Христе для вечной любви? И, может быть, поэтому-то я и не беспокоюсь за будущее?

Не знаю. Но почему-то легким представлялось мне то наше свидание, которое в мае месяце будет последним и после которого я уеду в провинцию, чтобы никогда, вероятно, уже не появляться в Москве. <...>

Я скажу, как устал от одиночества и от женщин-мещанок, как в мае прошлого года промелькнул во мне образ чистой и нетронутой Жени и как захотелось связать свою судьбу с ее. Я скажу, как ее девическая и даже детская наивность мешали мне сказать ей правду о ней и о себе, как осенью этого года я стал опять верить в возможность нашего земного союза перед Церковью, как потом опять много раз приходилось убеждаться в невероятной величине тех жертв, которые нужно было бы принести нам обоим, если бы мы захотели пожениться. Наконец, я скажу ей, что ее красота и женственность не могут еще создать рабочие руки для постройки жизни, что, несмотря на нашу чистую и святую любовь, мы должны расстаться и строить свою жизнь каждый по-своему. Впрочем, прибавлю ей: милая Женя! Память о Вас не умрет в моем сердце, где бы я ни был и что бы ни делал. Жить наукой и остаться живым человеком может только тот, у кого есть жизненная, дающая энергию любовь; не имея такой жизненной любви, то есть не соединившись с Вами узами брака, я теряю и вообще возможность получить поддержку для своей науки со стороны женщины. <...>

Но, уходя от Вас, я сохраняю свою любовь к Вам. Живя и работая в провинции, что для меня, одинокого, легче, чем тяжелый научный путь, я никогда не изменю Вам и останусь чист перед Вами до конца дней моих. Нельзя же вообразить, чтобы я нашел среди окружающего мещанства еще одну идеальную девушку, которая была бы выше Вас и сильнее меня и которая смогла бы создать со мной красивую, христианскую жизнь. Ведь это же было бы чудо, которого все равно не видать таким грешникам, как я. <...>

Среда, 31 декабря 1914 г.

Во всякой женщине, если она не мещанка, есть свой стиль, в то время как мужчина-немешанин далеко не всегда выявляет собою какой-нибудь определенный стиль. Любопытно то, что этот стиль проявляется у женщины в пустяках настолько же, как и в главном. <...>

Я много раз думал о том, какую бы это выдумать классификацию женских стилей, чтобы можно было легко обозреть все многообразие и разнообразие ощущаемых мною женщин как в жизни, так и в искусстве. И всегда мысль моя колебалась относительно принципа классификации; я не знал, что важнее и шире в женском стиле, тот ли эротизм, которым так бесстрашно и жестоко наделяет Вейнингер³⁸ каждую женщину и который, во всяком случае, допускает бесконечное разнообразие стилей, начиная от проявления животных инстинктов и кончая высшими, утонченными, поистине *стильными* формами любовных чувств, или же ограничиться здесь общеэстетическими мерками, применивши хотя бы мои понятия аполлинизма и дионисизма с их последующими разделениями. <...>

Объект моего внимания довольно необычный. Мой декан вечно откапывает какие-нибудь штуки. Сегодня он откопал два портрета великой княжны Ольги Николаевны³⁹, которые оказались настолько содержательными и *стильными*, что я не замедлил их отобрать у него, чтобы подробнее всмотреться в это удивительное лицо и посвятить княгине одну-две странички моего дневника. Это было около шести часов вечера, когда я впервые увидал Ольгу Николаевну. И после этого времени, вплоть до того момента, когда сел писать эти строки, ощущал в себе странные приливы дионисизма, в котором *эротизм* и *стильность* буквально отрывали меня от Гуссерля и заставляли ходить по комнате и думать об этом удивительном видении. <...>

Это женщина, которая никогда не может остановиться на полдороге, быть неопределяемой, чего-нибудь недоговорить, недоделать. Она не знает *больше*, или *меньше*, или *немного*, или *много*. Она знает только одно: *есть* и *нет*. Она никогда не знает того, что мещане называют *мерой*; для нее не существует никаких законов,

кроме нее самой. И вся эта удивительная энергия, удивительная полнота и цельность, которую Ольга Николаевна может при случае проявить, — все это подчиняется какой-то одной страсти, самозабвенной и роковой. Для многих страсть есть удовольствие; для Ольги Николаевны страсть есть прежде всего страдание; это какое-то мучительное наслаждение страстью, какой-то сладкий мрак, покрывающий очи и отдающий все ее существо самозабвенному мигу переживания. Ее цельность и отсутствие *меры*, о которой выше было сказано, есть следствие этой страсти. Она отдается ей вся; неудержимо она тянет за собой каждого, кто хоть немного вкусил от этого темного, млеющего яства мучительных наслаждений. Она не отдается этому наслаждению только когда-нибудь, в порывах страсти и во время внезапных вспышек своих инстинктов. Огонь страсти горит в ней *постоянно*, горит *неизменно*. <...>

Его трудно заметить издали, ибо чуть-чуть заметное изменение в цвете от накалывания вовсе не выделяет этот горящий предмет от других предметов. Но попробуйте подойти поближе и попробуйте прикоснуться к этому предмету — вы с ужасом от неожиданного электрического тока, с криком внезапного страха отдернете руку, и вам трудно будет потом залечить ожог. Такова Ольга Николаевна. Это непылающее, незаметное горение, но в нем такие сладкие муки и такие мучительные наслаждения, такой ожигающий электрический ток, что нельзя быть около нее и остаться невредимым.

Она вас тянет к себе невидимой и неведомой силой. Если вы раз претерпели на себе прикосновение ее руки, которую она так спокойно и властно держит у себя на первом портрете у колена; если вы хоть раз взглянули на это гордое и уверенное в своем поведении лицо, слегка приподнятое на втором портрете; если вы, наконец, всмотритесь в этот первый портрет, где она сидит как бы в промежутке между samotданиями своему жизненному назначению и где легкое, обвисящее платье так отчетливо рисует сладострастные плечи и отсутствие девственных грудей; если, говоря, всмотритесь вы во все это — вы почувствуете себя как раз в этом тумане мучительного и тоскливого наслаждения, в этих сладких электрических токах, которые и доставляют вам невыразимую боль и сильнейшее наслаждение.

В обоих портретах нет ни тени колебания и сомнения. Это поразительно усиливается еще необычайным спокойствием лица и фигуры и там, и здесь. Вот портрет, где она сидит. Если мы сначала обратим внимание на общую фигуру, то она неотделима чисто психологически от того платья, которое на редкость поразительно ярко гармонирует со всей Ольгой Николаевной. Легкость и воздушность платья выше пояса, равно как строгость и прямолинейность его ниже пояса, одинаково резко характеризуют общие контуры этого *женственного*, хотя и выносливого, быть может, даже поэтому и грубоватого тела. Это тело, чуть-чуть прикрытое таким воздушным (до пояса) платьем, постоянно зовет к себе, неуклонно манит к своему тоскливому наслаждению; или нет, оно не зовет и не манит, оно само собой, без вашего согласия тянет к себе, влечет к этим откровенным плечам, к этим изящным оголенным рукам, к этой сильной шее, имеющей такой наклон по отношению ко всей верхней фигуре, который у двадцатилетних может быть или от непрестанной работы мысли, или от сложной и мучающей страстности. Очень показателен в психологическом отношении тот характер этого платья Ольги Николаевны, который заставляет его виснуть, скатываться свободными и ничем не наполненными формами, так что остается большой промежуток между самими телесными формами и этим платьем. Выгодно обрисовываются при таких платьях, конечно, только плечи, потому что чем тоньше и воздушнее фасон платья, тем, разумеется, виднее и формы, к которым это платье непосредственно и вплотную прилегает. Но там, где оно вплотную не прилегает, там и вовсе становится трудно судить о формах, если они не замечательны каким-нибудь выдающимся свойством. О плечах уже было сказано, что в них много сладострастия и мления. Это и вообще характерная черта Ольги Николаевны. Она музыка Скрябина, с его бесконечным экстатическим и диссонирующим мнением, с его темно-красным, мрачным и мучительно-сладким горением страсти. Но еще выразительнее, может быть, эта самая грудь, которой, собственно говоря, даже не видно и вместо которой имеем только нависающие складки платья. Я сказал, что если платье не вплотную прилегает к телесным формам, то о них нельзя судить определенно, *если в них не скрыто каких-нибудь замечательных особенностей*. Все дело в том, что у Ольги Николаевны как раз скрыты эти замечательные особенности передней части фигуры и платье, нависающее и не вплотную к ней прилегающее, только еще больше усиливает общий дионисийский эротизм этого млеющего, но сильного тела. В чем состоят эти замечательные особенности, помогает узнать второй портрет. Когда присмотришься к этому последнему, ясно, что поверхность, собственно, *матта* начинается очень низко — это раз; во-вторых, сама *матта* не может иметь девической

упругости и пышности. Первое свидетельствует о том, что Ольга Николаевна и от природы назначена к длительной и мрачно-млеющей страсти; второе — о том, что этим природным склонностям не было поставлено никаких преград, так как у женщины после первого же физиологического акта *tatta* теряет упругость, становится мягкой и получает своеобразную округлость, как бы наполненную какой-то жидкостью, что и позволяет даже без помощи осязания, одним взглядом отличить девственность от тронутости.

Вообще говоря, формы женских грудей можно делить на эпические, лирические и драматические, причем в зависимости от преобладания логичности или экзатичности в каждом из этих трех родов можно получить целых шесть видов женских грудей. Какие груди у Ольги Николаевны? Безусловно, тут мало лирики, так как в лирике всегда есть созерцание собственного настроения, а это если и налично в том портрете, где она сидит, то только созерцание в промежутках между самозабвенными экстазами. Это груди, говоря вообще и неопределенно, драматические, говоря же точнее, это груди трагически-роковые, это трагедия без действия, трагедия без сознательной воли, это трагедия рока, покоряющего всего человека, возбуждая его страсти и неуклонно ведя в эту бездну наслаждений. Ольга Николаевна редко бывает веселой. Она никогда не хохочет и едва ли когда-нибудь смеется. Она только иногда улыбается, и улыбка ее настолько же печальна, насколько и кратковременна. И все это благодаря тому серьезному и сложному содержанию страсти, которое наполняет всю ее душу и возбуждает все ее тело. Страсть — это ее рок, это ее трагедия. И вот груди Ольги Николаевны, так незаметно и низко начинаясь и будучи такими неупругими (что видно еще и от некоторой смещенности их в стороны от центра), как раз и говорят об этой трагической предназначенности ее к страсти и об ее покорном и серьезном выполнении этого рока.

Каждый из двух этих портретов по-своему характеризует особенности лица Ольги Николаевны. Там, где она сидит, лицо оставляет с первого взгляда довольно невыгодное впечатление. И только когда увидишь другой портрет, только тогда лицо на первом портрете приобретает совершенно иную окраску, выявляя массу совершенно неожиданных черт. Иначе же про первое лицо только и можно сказать, что оно много всяких видов видело. Поэтому всмотримся сначала во второе лицо.

Если бы это было лицо человека восточного происхождения или если бы вы не знали, что Ольге Николаевне двадцать лет, то, может быть, ничего особенно замечательного вы и не нашли бы. Но надо все время помнить, что это русская девушка и что ей всего двадцать лет. А помня это, мы открываем массу любопытных черт. К сожалению, очень плохо виден лоб. Но, насколько можно судить, это довольно энергичный, мыслящий лоб, на что указывает некоторое углубление в центре, как это можно при некотором усилии заметить на второй фотографии. Если так, то ясно, что страстность Ольги Николаевны не мешает ее уму, а, наоборот, способствует ему, хотя, разумеется, *только* в своих целях. Одно можно заметить довольно хорошо: этот лоб довольно высокий, хотя и кажется, будто он низкий, так как спущенные волосы сильно скрадывают расстояние от корней волос до бровей. По всей вероятности, Ольге Николаевне не чужды некоторые познания в науках, и, если бы не страсть, которая отнимает у нее время и внимание, мы, пожалуй, были бы вправе ожидать довольно мыслящий рассудок, может быть, даже имеющий значение в науке, и, главное, *холодный* рассудок. Впрочем, его и теперь можно характеризовать как холодный, так как в нем нет самостоятельной самородной инициативы; он холодный слуга и угодник страсти. Глаза довольно тяжелые, едва ли подвижные. Мягкость и какая-то нежная дряблость мест между веками и ресницами, а также и области, непосредственно прилегающей к глазу со стороны виска и ниже, — все это, вместе с начинающими образовываться кругами под глазами, все это надо отнести опять же к той же характеристике многих бурных ночей и изысканных наслаждений, к которым предназначена Ольга Николаевна. Сюда же относятся и очень худые для двадцатилетней девушки щеки, свидетельствующие об отсутствии нежных чувств и успокоительных аффектов. Бурные переживания и роковой гнет страсти делают лицо испытанным, придают ему затаенную и лишь с трудом улавливаемую невероятную силу страсти. Худые щеки переходят в нижней своей части в довольно развитые челюсти, что в особенности видно, если посмотреть на правую линию, очерчивающую лицевой овал (правую — со стороны нас). Здесь в особенности ярко выделяются некоторая хищность натуры Ольги Николаевны, некоторое коварство и нравственная неразборчивость, что, впрочем, развилось в Ольге Николаевне не самостоятельно, а под влиянием все той же основной черты ее натуры. К сожалению, не виден нос в профиль. Что же касается *en face* носа, то о нем трудно сказать что-нибудь положительное, если не считать некоторого довольно иррационального перехода боковой по-

верхности носа в темный круг под глазом. Можно с уверенностью сказать, что эта часть лица, если смотреть на Ольгу Ник<олаевну> в натуре, *лоснится*, что в совокупности с указанной иррациональностью указывает или на долгую бессонницу, или о твердой решительности к повиновению своему року. У Ольги Николаевны может быть и то, и другое.

18 января 1915 г.

Какую массу писать, Боже мой, какую надо массу писать в этот постоянно забываемый мною дневник? Не знаю, что описать, свой ли так стремительно подвинувшийся роман с Евгенией Антоновной или о музыке, об этом Боге, который лечит меня и от жизненных треволнений и дает новые откровения высшего мира. <...>

Как уже было писано, целое Рождество Евгения Антоновна пропадала из Москвы, и о себе, конечно, ни звука. Софья Алекс<еевна> довольно прозрачно намекала на то, как она провела праздник. Живя все время один своими иллюзиями и не получая малейшей поддержки для этих иллюзий со стороны Евгении Антоновны, я, в сущности, все время мучился, будучи поставлен в полную неизвестность относительно своего предмета и вращаясь в кругу своих же собственных иллюзий и мыслей. <...>

Наконец 10-го сам позвонил ей, ибо ждать ее (а я именно ждал) было уже бесполезно. В начале разговора холодна. То есть не то чтобы именно *холодна*, то есть намеренно холодна. <...>

Несмотря на мои униженные и почти слезные просьбы сказать мне, что именно ее ждет,— абсолютно никакого ответа: «Я не смею этого сказать». А главное то, что она подняла в шуточной форме вопрос о *нашей дружбе*, есть ли она или ее нет; при этом беззаботность и незаинтересованность (в моем смысле) была настолько очевидна, что нужно было быть слепым, чтобы не видеть ее подлинного отношения ко мне. Так как во время такого равнодушия ко мне, никогда очевидно не переходившего в подлинно любовное отношение ко мне, я пережил Бог его знает какие чувства и понастроил всевозможных теорий о браке с ней, любви и прочее и прочее, и так как мучиться и ждать было уже не по силам, то я сейчас же после телефона сел и написал такое письмо, каких я еще никогда не писал. Главное в нем то, что я прямо, без символов говорил о браке и о любви, которые рисовались моему воспаленному воображению. <...>

Просил вернуть письма и фотографии. Писал искренно, с глубоким душевным подъемом, с страданием в возбужденной душе. И после этого 10, 11, 12, 13, 14 января чувствовал себя совершенно по-новому. <...>

Так как единым взмахом я свалил с себя ношу, тяготевшую надо мною целых полгода (если не считать еще прошлогодней весны), то было и какое-то облегчение, как будто бы вся мука и все страдания, исполнявшие раньше *всю* душу, стугились, собрались в одну непроницаемую кучу, отделившись от прочих областей души и освободивши их. В груди чувствовалось какое-то место, где этот стугивший шар страданий находится; а прочая душа, кажется, возрождалась к новым переживаниям, освободившись от гнета любви и постоянных мучений, невысказанных, неразделенных. Нужно было, таким образом, удалить этот шар, и тогда я был бы совсем свободен.

К своей полной неожиданности я избавился и от этого *шара* 15 января, да избавился еще так радикально, что раньше и предполагать не мог. Именно к полной своей неожиданности получил ответ от Евгении Антоновны. Пишет, что она вовсе не выходит замуж, что она и не воображала о такой определенности моих мыслей и настроений, о моем намерении назвать ее своей женой и прочее. Пишет, что и она меня любит, что, может быть, будет не только *ваше*, но и *наше* счастье и так далее. Не понравилось мне это письмо. Литературно, обдуманно, а главное — писалось оно целых три дня; это верный признак неискренности и *опосредованности*. Да, кроме того, оно и противоречило многочисленным фактам, о которых не хочется писать тут подробно. Ни слова не сказано о том, что она понимала под *раскрытием символов*; не говорится о тех надеждах, которые она могла подавать только при мысли о браке; не опровергаются фактически слухи об ее замужестве; и уже ни слова не сказано о *нем*. И так далее. И так далее. Вот что я ей написал.

«Опять извиваешься и ползешь ко мне, как змея, чтобы я пригрел тебя на своей груди и чтобы ты снова ужалила меня в эту грудь. Несчастливая, целых три дня думала и потом вдруг разрешилась своими литературными нежностями. Не обращая внимания на мои теперешние страдания, ты все еще хочешь иметь меня в запасе. Слушай, если ты еще будешь лезть ко мне со своими нежностями, я лучше пойду в Сибирь, я тебя, проклятую сатану, застрелю в той самой комнате, где ты являлась мне ангелом. Когда ты перестанешь меня мучить? Когда ты перестанешь меня мучить?»

На это уж едва ли что-нибудь она ответит. Так вот это ее *признание в любви*, моя оценка этого признания, ее длинное письмо и мой ответ на него — все это вырвало у меня из души тот клубок страданий, о котором я выше говорил. Чувствую сейчас необычайное облегчение. Евгения Антоновна как будто виделась во сне, в театре. И весь роман мой, такой необычный, представляется мне какой-то пьесой, которую я только что прочел. Сегодня даже звонил 74-00, а до того времени ведь боялся каких-то расспросов. Ничего не боюсь теперь. Не прочь *поощушать* милых, невинных девушек. Это тоже показатель того, как я отохожу от реальности, от желания воплотить свои грезы в реальную действительность, которое в первый раз так сильно ощутилось в отношениях к Евгении Антоновне. Возвращаюсь опять к прежним оптимистическим и аполлинийским созерцаниям и чувствую здесь свои родные места. Опять дело попроще и поэтичней. С Евгенией Антоновной все было чрезвычайно сложно, и Вагнер мой был близок к осуществлению. Нет, это не мой удел. Мне только быть таким, каким я был, например, в восьмом классе гимназии или на первом курсе университета, когда целые вечера уходили на то, чтобы писать десятки страниц Кочетковой, Лурье, Алексеевой и прочим. Мечты, прекрасные, возвышенные мечты, а не тяжелое выполнение их в жизни. В жизни, в реальной жизни — труд, как это было у меня всегда. Все остальное в мечте. «Мечта», скажу я опять, «не нуждается в осуществлении». Господи, благодарю Тебя за благополучное перенесение ниспосланного Тобой испытания.

А Евгения Антоновна! Боже мой, какой она кажется далекой! Ну, просто это в романе я о ней прочел. Разве она была в действительности?!

Удивительная жизнь, и роскошны ее эксперименты! Я благодарю судьбу за этот эксперимент. Вчера, лежа, думал, как под влиянием романа с Евгенией Антоновной я опять начинаю интересоваться этической проблемой, заброшенной после гимназии вследствие психологии и университетских формальностей. Да. Жизнь есть школа.

22 марта 1915 г.

Светлое Христово Воскресение

Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах: и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить.

Переживши мировую трагедию Страстной недели и встретивши светлое Христово Воскресение, не имеем слов высказать многострунную песнь души нашей. Мы даже не радуемся, как и не скорбим; мы уже коснулись тамошнего мира, мы уже вкусили от божественной трапезы. Вышая степень радости уже перестает быть радостью, ибо она растворяет в себе, погружает в до-мирный океан божественного естества, от коего отпал мир. Нельзя радость нашу о Христе Иисусе называть радостью, ибо это так мало звучит и так мирски обворовывает. Не радуемся мы Твоему преславному Воскресению, Христе Спасе, но соучаствуем Тебе и через Тебя зрим свет неприступный, за который Ты пострадал. Нет ни одного человеческого чувства, с которым бы можно было сравнить радость нашу. Нет ни одного смутного и ясного движения души нашей, из которого можно было бы составить радость о воскресшем Спасителе. Больше того. Вслушиваясь в эти далекие и близкие звуки, возвещающие нам бытие высочайшее, мы чуем всю основу, наиболее глубинную и сокровенную основу и всех прочих наших воздыханий к горнему миру. Мы чуем религиозную основу высших художественных созерцаний. Мы чуем религиозный смысл нашей нравственной деятельности. Мы чуем религиозный поток наших чувств к любви и к единению душ. Это же и есть та религия, та святая жизнь о Господе Иисусе, которая зацветает в православной церкви столь грандиозными и величественными символами Страстной недели. И все это не есть только радость. Все это есть основа всей нашей вообще разумной жизни, не просто радость, которая предполагает и свою противоположность — страдание, а то всемирное радование, которое онтологически характеризует собою бытие высочайшее, бытие вселенское, и потому не допускающее себе никакой реальной антитезы.

Наблюдаемая нами природа являет тайные знаки своего отпадения от первоначального цельного Естества. Мир разорванного пространства, мир опространственного времени, мир разъединенных душ — ты ли хочешь быть самостоятельным и вечным. О, как заблуждаются те, которые чтут под наблюдаемыми непреложными *законами природы* подлинное выражение сущности природы, как не видят их очи и уши не слышат тайного голоса природы, стенающего по своей прежней жизни и стремящегося к обожению! Воскрес Христос — и чувствуем этот разодранный и злой мир. Воскрес Христос — и чувствуем жизнь бытия, высочайшего, от которого отпали. Воскрес Христос — и чувствуем основу всех наших горних воздыханий. Такова радость наша и такова воля на земли чистым сердцем Тебе славить.

11 июня 1915 г.

(запись от 2 июля 1915 г.)

Сижу в халате, на больничном дворе⁴⁰, а в душе волнуются неясные звуки, вдруг возникшие и вдруг напомнившие о счастье и о прекрасной, полной жизни. В жизни нет более тонкого наслаждения, как то, которое создается радостью взаимного проникновения душ, и даже не проникновения, а только намеков на него, только одного устремления к нему; все равно — осознанного или неосознанного. А на этих днях судьба мне вновь послала пережить эту радость и это ощущение высшей жизни, к которой в обыкновенное время только стремишься. Ольга Эмануиловна — вот имя той красоты и девственности, которые явились мне в этот приезд в Новочеркасск. Опять ощутился этот зуд счастья, это щекотание, которое испытывает душа, созерцая другую душу, и опять хочется счастья, хочется отдать свою душу этой другой душе, а ее вобрать в себя, слиться с ней. Такая нежная и простая душа, такой здравый смысл и такая в то же время девственность и женственность — как все это находится подле такого неяркого и бледного по душе человека, как ее муж! А она была так откровенна, что чуть ли не в первое наше свидание сказала мне, совершенно незнакомому ей человеку, всю правду о своем *счастье*. Она была так проста и откровенна, что я мог совершенно свободно заметить все, что только может быть для нее характерным. Милая Олечка! Вы не замужем, нет! Вы еще нетронутая, чистая девушка; ваше сердце еще ждет любви, еще ждет красоты, которая откроет вам глаза на всю глубину жизни и мысли. С вашей нежной душой может быть вблизи только такая же нежная и простая душа, *и не вашему мужу дано быть вашим мужем и перед Богом*. Чем дальше вы живете, тем более вы узнаете свое одиночество и тем более жаждете настоящей любви и истинного счастья. Ваш муж понимает ваше превосходство над ним, и ради этого он дает вам большую свободу. Это единственно, чем ценен для вас муж, живущий сейчас с вами. Не будь же его, вы оставались бы чистой и прекрасной девушкой — и к вам даже сейчас трудно отнестись иначе, как к девушке, такой же милой, невинной и очаровательной, как и ваши две сестры. Иначе бы я говорил с вами, если бы вы не были замужем, и другие бы песни полились из моей помолодевшей души навстречу к вашему чистому, нетронутому сердцу. Но теперь мы с вами далеки один от другого, и препятствия, хотя и чисто внешние, но все же такие, которые мы с вами едва ли сумеем одолеть, мешают нашим душам породниться больше и узнать то сокровенное ядро в них, которое, как я верю, тождественно и в вас, и во мне. Мы расстанемся с вами и, может быть, уже никогда не увидимся. «А счастье было так близко, так возможно...» Прощайте, милая, добрая Олечка, и не поминайте лихом «профессора», который был близок к тому, чтобы полюбить вас и связать свою одинокую науку с вашей нежной помощью.

25 июня 1915 г.

Нет, надо купить Вейнингера и опять его перечесть. Женщина — это сама сексуальность. У нее постоянно чешется, щекочется, зудит. Это я по поводу Ольги Эмануиловны. Умна, в высшей степени сознательна, часто далека от мещанства, даже, можно сказать, много страдает и терпит от жизни, но... никогда она не перестает быть женщиной, той самой женщиной, которую так гениально изобразил Вейнигер. Раньше я писал дифирамбы Ольге Эмануиловне. Не отказываясь от них, теперь буду писать то, что надо добавить на основании фактов. Прежде всего укажу на факты из ее жизни, которые она мне с странной откровенностью, граничащей с мольбой о пощаде, сообщила несколько дней тому назад в Алекс<андровском> саду. Ее молоденькая фигурка, сознательное и потому пренебрежительное отношение к *супружеским обязанностям* и многие другие признаки заставили меня тогда в госпитале написать о ней несколько вдохновенных строк. Впрочем, это было в значительной мере и просто реакцией на больничную животную жизнь. За исключением этих реактивных элементов было многое от чистого сердца. Вот к этому-то я и делаю сейчас добавления. Операция, про которую она имела смелость мне сказать, оттолкнула меня от нее, хотя бессознательно она рассчитывала на жалость. И оттолкнула прежде всего тем, что тут мне представилось во всей наготу это проклятое **Ж**, которому посвящено много верных мыслей у Вейнингера. Да, и она, этот в высшей степени сознательный человек и даже причастный к страданию очищающему, и она — увы! — *женщина* в той же мере, что и все прочие, и она хочет удовлетворения похоти, не желая иметь детей. Этот развал и ужас, который захватывает наши семьи, — в создании его участвует и эта женщина; и она не могла удержаться от этой щекотки, от этого *непрерывного щекотания*, по терминологии Вейнингера. <...>

17 декабря 1918 г.

I. Одно из двух: или все сыты, все равны, все одинаково счастливы — и тогда полная справедливость, абсолютная; или не все сыты, а некоторые, не все равны, и счастлива только часть, и притом, как вообще, небольшая, и тогда — нет *справедливости*, тогда неравенство и деспотизм.

II. А главное — вот что еще одно из двух: или *справедливость* — и тогда никто ничего не станет делать, все будут делать только для себя, и прости-прощай тогда вся хваленая, изысканная культура; или пусть будет культура, пусть будет электричество и пар, трамвай и аэропланы — и тогда прости-прощай справедливость.

1. *Социалисты ошибаются. Никакого человека не заставишь выполнять черную работу, если у тебя не будет в руках пулемета или вешалки. Дай всем свободу — все откажутся и от трамваев, и от железных дорог, все заведут натуральное хозяйство, и культуры не станет в несколько десятилетий.*

2. *Но социалисты правы. Ибо социализм только и возможен при монархизме. Помилуйте, в стране жуликов и нищих какой же социализм будет без пулемета? Коммунисты думают: «Ага, вы не хотите быть социалистами, ну так мы пулеметом вас!» Ну, конечно, все сразу делается социалистами. Вот и скажите мне теперь по совести: это ли не монархизм? Все дело, господа, в одном: кто у кого на шее сидит. А уж сидение на шее — это, извините, это религия и онтология. Социалисты правы!*

2 января 1919 г. нового стиля

Артист.

Великое, священное слово. В Артисте — красота, сошедшая на землю осветить наши тоскующие пути. Красота игры, божественная сладость отрыва от всего полезного и утилитарного, святая незаинтересованность, наслаждение в океане Жизни, идущей высь, идущей долу, стонущая и ликующая Стрась Мира, неизреченная полнота восторга и существенная красота Хаоса — все, все в Артисте, и Хаос, и Радуга, и Мятеж, и Успокоение. Струны натягиваются, звенят. Волшебник ликует, он прорвался, и Мировая Воля, страстно волнуемая и мятежно наслаждающаяся, широким морем, без берегов, без горизонтов, все заливаает и сравнивает, весь Мир погружает в дрему, в сон, в грезы. Как бы оглушенный стоит недвижим раб судьбы. К мировой артерии, к мировой магистрали прильнул я, страстный и пьяный, сонный и безумный, и услышал биение Жизни, Той, что за всем. Артисту — моление наше, восторг, Артисту — все, он — Бог и Творец, он — Пророк и Царь.

Концерт Листа (ф-п.) Es-dur. Кампанелла — его же.

Какая-то манящая, ласкающая нежность. Какая-то утонченная, интеллигентная красота, умная и изящная грусть. Это именно искусство, и притом верх его. Вагнер — уже не искусство. Это что-то выше искусства, выше творца и творцов. А Лист все еще Артист, все еще художник, все еще погружен в любование звуками и переживаниями их. Воспевший сладость тонкой грусти, в простоте познавший наслаждение от познания Мира, таящий в себе чуткое, наивное, близкое-близкое и родное, что-то детское, из далеких воспоминаний сотканное, что-то интимное, теплое, умное и красивое, не от презыбтка животных сил красивое и сильное, но от тонкой, интеллигентной усталости и чуть заметной грустной дымки красивое и нежное, — к тебе, великому Артисту, слезы мои, к тебе вся радость и тоска моя. Возьми у меня мою последнюю рубаху, мой последний кусочек хлеба. Я все отдам и все оставлю. Только бы слушать тебя, только бы быть с тобой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Автор дневника вспоминает девушек-гимназисток, к которым питал нежные чувства (о чем они часто даже и не подозревали). Здесь вспоминаются Вера Фролова, дочь директора гимназии Федора Карповича Фролова, Ольга Позднеева, сестра друзей Алексея Федоровича по гимназии Александра и Матвея Позднеевых, впоследствии известных профессоров.

² Фрида и Цецилия были сестры, дочери инженера-немца. Алексей Федорович знал их еще совсем девочками в Каменской. Услышав игру на скрипке Цецилии, он решил заниматься музыкой и поступил в частную школу лауреата Флорентийской музыкальной академии Ф. А. Стаджи, которую окончил по классу скрипки. На выпускном вечере играл «Чакону» Баха. Ганзены действительно уехали за границу. Цецилия (р. в 1897 г.) стала известной скрипачкой, окончила Петербургскую консерваторию по классу Л. Ауэра. Дебютировала в 1910 г. в Петербурге. С 1921 г. за границей, где много гастролировала. В Гейдельберге стала профессором Высшей музыкальной школы.

³ Молодой Лосев обозначал номерами девушек, не только знакомых, но и незнакомых, которые произвели на него большое впечатление или вызвали глубокий интерес.

⁴ Владимир Микш — друг и товарищ Лосева по гимназии, сын И. А. Микша, преподавателя древних языков, с семьей которого Лосев был близок еще в Новочеркасске.

⁵ Характерен рассказ Алексея Федоровича о том, как он писал письма Вере и носил их в кармане, стесняясь их передать, хотя и посещал дом отца Веры, директора гимназии.

⁶ Портрет Доры Лурье доказывает хорошую зрительную память Лосева. В нашем архиве есть ее фотография, хотя сведений о переписке ее и Лосева не сохранилось.

⁷ Евдоким Петрович Житенев — состоятельный человек, инженер, член правления, товарищ (заместитель) директора-распорядителя льнопрядильных и полотняных фабрик Грибановской мануфактуры. Семья его, жена и три дочери, жила на Остоженке. Алексей Федорович был близок к этой семье, питал нежные чувства к старшей дочери, Люсе.

⁸ Тетя Женя — так шутливо именует Лосев Евгению Антонову Гайдамович.

⁹ Леонид Илларионович Базилевич — друг Лосева с университетских лет. Имел прозвище «Декаан». Стал известным профессором-языковедом и, кстати сказать, был одно время заведующим кафедрой и деканом. Базилевич — страстный любитель оперы, близкий Антонине Васильевне Неждановой, живой, остроумный, неизменно подшучивал над Алексеем Федоровичем, когда бывал у нас в гостях на Арбате, о каких-то таинственных отношениях Лосева и Неждановой, о чем Антонина Васильевна и Алексей Федорович оба умалчивали.

¹⁰ «Проректор» — шутливое прозвище одного из друзей Лосева по гимназии А. Ф. Попова.

¹¹ С. И. Зимин (1875—1942) — театральный деятель и меценат. В 1904 г. основал частный оперный театр, в который приглашал известных певцов и дирижеров. Романтичным «Демоном» А. Рубинштейна (1829—1894) Лосев увлекался в молодости.

¹² Н. П. Кошиц (1894—1965) — русская певица сопрано. В 1913 г. дебютировала в Оперном театре С. И. Зимина. В 1921 г. уехала за границу.

¹³ Ф. Е. Рыбаков — профессор, известный психиатр. В 20-х гг. женился на художнице Л. И. Чулковой, сестре поэта Г. И. Чулкова. После кончины Рыбакова Л. И. вышла замуж за известного искусствоведа Н. М. Тарабукина. А. Ф. Лосев всю жизнь дружил с Тарабукиными. У Л. И. от Рыбакова был сын, Слава, художник: оформлял книги Лосева 20-х гг., умер совсем юным. Г. И. Челпанов (1852—1936) — философ, психолог. Основатель и директор Московского психологического института (1912) при Университете.

¹⁴ Пьеса по роману Ф. М. Достоевского «Бесы».

¹⁵ Катюль Мандес (1841—1909) — французский писатель, близкий к группе поэтов «Парнас», тонкий эстет, автор новелл и романов, изысканно-психологических.

¹⁶ Вильгельм Вундт (1832—1920) — знаменитый немецкий философ, психолог, фольклорист, мифолог. Автор десятилетнего труда «Психология народов» с огромными материалами по истории языка, мифологии, обычаев; Карл Штумпф (1848—1936) — немецкий философ и психолог, основатель Психологического института при Берлинском университете; Карл Марбе — немецкий психолог и философ, один из деятелей Вюрцбургской психологической школы; А. И. Введенский (1856—1925) — неокантианец, профессор Петербургского университета.

¹⁷ Психологический институт был открыт и оснащен на деньги известного московского мецената С. И. Шукина (1854—1936) с условием, что институт будет носить имя покойной его супруги Лидии Шукиной. Основан институт был в 1912 г., но торжественное открытие происходило в 1914 г. В 1994 г. по случаю 80-летия Психологического института его директор академик В. В. Рубцов восстановил упраздненную в революцию доску с именем Л. Г. Шукиной.

¹⁸ Университетская церковь в память Св. мученицы Татианы находилась в т. н. «новом здании» на Моховой. Домовая гимназическая церковь в память Св. равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия была особенно любима Лосевым. В гимназии день их памяти, 24 мая, торжественно отмечался ежегодно. Именно в этот день, 24 мая 1988 г., скончался А. Ф. Лосев.

¹⁹ Зигфрид — герой опер Р. Вагнера «Зигфрид» и «Гибель богов» (тетралогия «Кольцо нибелунга»), замысел которой созрел в 1848 г., но первая постановка в Байрейте относится к 1876 г.).

²⁰ «Тангейзер» — опера Р. Вагнера (полное наименование «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге», 1843—1845 гг.).

^{20*} Пиррон из Элиды (IV—III вв. до н. э.) — древнегреческий философ. Основатель скептицизма.

²¹ Термин, изобретенный молодым Лосевым, переводится непросто. Е. А. Тахо-Годи предложила передать его по-русски как «женомудрие» или «женопознание». В этих тезисах несомненно влияние Платона и его диалога «Пир» об Эросе как вечном стремлении к красоте и высшему Благу. Не случайно Лосев назвал свою первую статью «Эрос у Платона» (впервые в Юбилейном сборнике проф. Г. И. Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. М., 1916. См. также: А. Ф. Лосев. Бытие. Имя. Космос. М., 1993).

В этих тезисах заметно влияние и теории всеединства Вл. Соловьева, и его статьи «Смысл любви». Однако очень сильна здесь христианско-православная идея восстановления творения и твари, станающей по своей небесной родине, по абсолютному счастью, которое мыслится как вечная жизнь и радость о Духе Святе. Характерно, что для личности, узревшей тайну любви, «мечта реальнее жизни», «мечта не нуждается в осуществлении». Тезис, важный Лосеву-символисту, который видит в явлениях обыденной жизни только символы высшего бытия.

Эти 30 тезисов оказались для их автора действительно «практической гинекософией», воплотившись не только в его мировоззренческих принципах, но и в его личной жизни, подтверждая слова «любовь на земле есть подвиг».

²² Идея внезапного появления и такого же исчезновения родственной прекрасной души была неизменно близка А. Ф. Лосеву. Ему принадлежит повесть «Метеор», написанная вскоре

после возвращения из лагеря на Беломорканале (1933); опубликована в «Новом журнале» (Нью-Йорк), 1993, №№ 192—193.

²³ Лосев в 1921 г. написал статью о Скрябине «Мировоззрение Скрябина» (как теперь выяснилось по найденному рукописному титульному листу, она называлась «Философское мировоззрение Скрябина»); напечатана в книгах: А. Ф. Лосев. Страсть к диалектике. М., 1990, и Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. В этой статье есть мысли, созвучные дневниковым записям о духе, который мечется во вселенной без Бога. Однако статья Лосева, любившего Скрябина, все-таки выносит композитору суровый приговор с позиций христианской мистики. Таких, как Скрябин, заключает Лосев статью, надо анафемствовать.

²⁴ А. Ф. Лосев был послан в Германию для совершенствования в знаниях. Война прервала эту поездку. Однако он успел поработать в Королевской библиотеке и послушать тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга», которая по завещанию Вагнера как раз в это время могла идти в других оперных театрах, а не только в Байрейте.

²⁵ Идея монастыря постоянно жила в Лосеве. 3 июня 1929 г. он вместе с супругой принял монашеский постриг от афонского архимандрита Давида. В дальнейшем жизнь Лосева можно назвать «монастырем в миру».

²⁶ Последняя строфа из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

²⁷ Г. И. Россолимо — известный русский психиатр.

²⁸ «Парсифаль» — опера-мистерия Р. Вагнера (1877—1882), в основу которой легла поэма средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха.

²⁹ Лосев приводит стихи Е. Баратынского «На смерть Гете» (1832), пропустив три-четыре строки. Приведем их целиком.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел трепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

³⁰ А. Ф. Лосев ежегодно проводил лето у своих родственников в уездном городе Области Войска Донского станице Каменской, у тетки Марфы Алексеевны и ее мужа протоиерея о. Стефана Власова. Мать Алексея Федоровича, Наталья Алексеевна (дочь о. Алексея Полякова, настоятеля храма Михаила Архангела), продала собственный дом в Новочеркасске и переехала к сестре в Каменскую. Деньги были необходимы для учебы сына в университете.

³¹ А. Ф. Лосев писал в это время у профессора Н. И. Новосадского работу «О мироощущении Эсхила». В ней в самом начале устанавливается различие между мировоззрением и мироощущением. См. А. Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.

³² А. Ф. Лосев увлеклся в юности романами известного французского астронома Камилла Фламариона (1842—1925). Его роман «Урания» не раз вспоминается Лосевым.

³³ Герои романов К. Фламариона.

³⁴ А. Ф. Лосев в начале 60-х гг. посетил со мной дом, где было когда-то студенческое общежитие им. императора Николая II. Дом на Большой Грузинской, неподалеку от зоопарка, конечно, был весь переделан внутри. Но мы поднялись на второй этаж, и Алексей Федорович показал мне комнату, где он жил. По его рассказам, это было привилегированное общежитие, где каждый имел свою комнату, где были служители-мужчины, зал для музыкальных занятий, читальня, библиотека. Доступ женщинам в комнаты был закрыт, и Лосев виделся с матерью в приемной. Плата по тем временам была большая — в месяц 15—20 руб. Студент жил на полном обеспечении, как в хорошем пансионе.

³⁵ Чудов монастырь в Кремле, где покоились мощи Святителя московского митрополита Алексея, именем которого был назван Лосев (день ангела 18 октября — память Святителей московских).

³⁶ Опера «Тристан и Изольда» поставлена в 1865 г. Вагнер сам писал тексты к своим операм. Они издавались с указанием лейтмотивов и приложением соответствующих нотных записей. В библиотеке Лосева сохранился один из таких томиков, с которым он ходил слушать оперы Вагнера.

³⁷ Э. Гуссерль (1859—1938) — знаменитый немецкий философ, основатель феноменологической школы, профессор в Геттингене и Фрейбурге. Феноменология — «чистая теория познания», «беспредпосылочная» наука, изучающая и нейтрально описывающая «чистое сознание» в виде «эйдосов», «чистых сущностей» как они есть без всяких привнесенных толкований.

³⁸ А. Вейнинггер (1880—1903) — автор известного сочинения «Пол и характер» (1903), где характеризуются мужской и женский типы и законы полового притяжения. После выхода в свет книги (она стала необыкновенно популярной) Вейнинггер покончил с собой.

³⁹ Великая княжна Ольга Николаевна — старшая дочь (род. в 1895 г.) императора Николая II. Была художественно одарена, любила музыку, писала стихи. Погибла вместе со всей семьей в Екатеринбурге (1918).

⁴⁰ А. Ф. Лосев получил отсрочку военной службы в казачьих войсках. По правилам он должен был лечь в больницу (у себя на родине) для обследования здоровья и особенно глаз, т. к. страдал сильной близорукостью. Кроме того, Лосева оставили в университете для подготовки к профессорскому званию.

Публикация, подготовка текста и примечания А. А. ТАХО-ГОДИ.

Александр ТАРАСОВ

Черная кошка на красном фоне

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Эти заметки были вызваны к жизни неожиданным для меня стечением обстоятельств. В сферу моих профессиональных интересов как социолога входит ювенологическая проблематика. В то же время в сферу моих интересов как политолога входит политический радикализм — в том числе и левый. В прошлом году у меня вышла книга на эту тему¹. Я полагал, что знаю проблему, и уверенно писал, что немногочисленные (обычно по несколько десятков человек) леворадикальные (анархистские, троцкистские) группы у нас в стране будущего не имеют. Менее очевидным казалось будущее «новых левых» — групп, ориентирующихся на опыт западных «новых левых» 60-х годов, — но и их перспективы выглядели не блестяще.

Но вот недавно мне (вместе с моими товарищами по Центру новой социологии и изучения практической политики «Феникс») пришлось принять участие в масштабном социологическом обследовании в ряде регионов России. Эта работа заставила меня скорректировать свои взгляды. Поскольку обследование действительно было масштабным, массив полученных данных велик, и его обработка потребует много времени, пока еще невозможно приводить точные цифры. В силу этого я вынужден в основном опираться на непосредственные впечатления (своего рода социологический эксперимент «с погрешением») и предшествующее знание предмета. Например, среди обследованной нами молодежи число тех, кто активно интересуется политикой, можно пока привести лишь с грубым приближением — около 20 процентов. Но уже сейчас очевидно, что эта цифра невалидна и порождена в ответах на вопросы анкет самоидеализацией, свойственной молодежи. Глубинное интервьюирование показало, что в действительности число активно интересующихся политикой среди провинциальной городской молодежи не достигает и 12 процентов, а тех, кто имеет твердые политические убеждения, оказывающие влияние на поведение, — и вовсе чуть больше 4-х. Причем подавляющее большинство из этих 4 процентов придерживается радикальных взглядов — правых или левых (при этом правых радикалов — националистов, фашистов — несколько больше).

Организованные левацкие группы в большинстве своем малочисленны и, строго говоря, не опасны. Но вот число молодых людей в провинции, которые ни в какие группы пока не объединены, но думают точно так же, ненавидят рыночную систему, капитализм, Америку, богатых, преклоняются перед Че Геварой и готовы, если что, перейти к насильственным методам борьбы, достаточно велико. И это показало обследование, проведенное нашим Центром. Важно отметить, что эти настроения вовсе не инспирированы «коммунистической пропагандой» (к существующим в стране компартиям — всем — эта молодежь относится с откровенным презрением). Власть сама, своими руками готовит будущие революционные кадры — деиндустриализируя страну, загоняя целые регионы за черту бедности, наглядно демонстрируя молодым провинциалам, что в будущем у них никаких перспектив нет — потому, что ни у них, ни у их родителей **нет денег**. А **знания и талант** сегодня в российской провинции — товар бросовый. Парадоксально, но спустя 30 лет после пресловутого 1968 года, ставшего символом молодежного протеста, идеи «новых левых» находят для себя благодатную почву в России. В

¹ А. Н. Тарасов, Г. Ю. Черкасов, Т. В. Шавшукова. *Левые в России: от умеренных до экстремистов*. Издательство «Институт экспериментальной социологии». М., 1997.

провинции возникают и растут молодежные организации «новых левых», состоящие преимущественно из студентов.

На страницы центральных российских газет, занятых отслеживанием малейших телодвижений политической элиты, информация о российских «новых левых» практически не попадает. Столичные журналисты ведут себя, как страусы: прячут головы в песок в тщетной надежде, что если не писать о российских «новых левых», то те сами собой исчезнут. Едва ли. А «новые левые» и не стремятся к рекламе на страницах ведущих газет: они их попросту не читают.

Они не смотрят и предлагаемые из Москвы телепередачи. Вместо этого «новые левые» создали разветвленную сеть перезаписи и производства собственной видеопродукции. Они создают фильмы о самих себе и о положении в стране, смотрят на видео, обмениваются этими фильмами, пересылают за рубеж. Получают такую же видеопродукцию с Запада. Фильмы, которые смотрели их духовные отцы — западные «новые левые» 60-х: фильмы Годара, Пазолини, братьев Тавиани, Росселини, Бертолуччи, Коста-Гавраса, «Китайка», «Волосы», «Беспечный ездох», «Забриски-Пойнт» и «Вудсток» — культовые в этой среде. Модных сегодня Гринуэя и Тарантино называют «буржуазным дерьмом».

Когда я приехал в Омскую область (где наш Центр проводил социологическое обследование), я понял, почему так получается. Промышленность стоит. Денег нет. Реклама по TV бесит. Видеомагнитофон, если он есть, один на 20—25 семей. Денег на кассеты нет. Поэтому покупают самое-самое нужное. Не комедии какие-нибудь. Тем более что эти комедии не имеют никакого отношения к реальной жизни. Ну не будут эти ребята из семей безработных инженеров и младших научных сотрудников смотреть «Pretty woman»! Ну не верят они в сладкую сказку о том, как мультимиллионер встретил на улице пятидолларовую проститутку, востылил к ней неземным чувством, подарил бриллиантовое кольцо и вообще проникся любовью к рядовым труженикам. А проститутка, натурально, тут же перевоспиталась и стала леди из высшего общества.

Зато «Китайка» Жана-Люка Годара, рассказывающая о том, как самоорганизовалась из студентов маоистская группа, создала коммуну, самообучилась, проштудировала литературу и перешла к революционным действиям, — это их фильм. У них у самих такая судьба. Они сбиваются в кружки, изучают соответствующую литературу и затем начинают кто создавать «революционный театр» («Красная крыша» в Самаре), кто — «революционную рок-группу» (по всей стране — уже навалом). А купить пистолет в провинции — левое дело. Рассказывают, одному иркутскому анархисту как-то предлагали всего за 12 миллионов рублей (старыми) ракету «земля — воздух». Он уже было решил купить и бросился по знакомым и друзьям деньги занимать, но потом оказалось, что это не стингер, как он предполагал, а стационарная установка на тягаче с платформой. Эге, такую хранить негде! — сообразил анархист и покупать ракету не стал.

Голодные, злые и, что самое важное, хорошо образованные, они с ненавистью говорили мне и моим коллегам в Омске, Новосибирске, Красноярске и Краснодаре: «Вы там за наш счет жируете!» Москва и провинция — это даже не две разные страны, это две разные планеты. В Красноярском крае мы обнаружили, что у многих нет телевизора. То есть телевизор есть, но он давно сломался. А денег починить (а тем более купить новый) нет. Так официальные власти утратили последний канал пропаганды — потому что центральные газеты давно уже никто не выписывает и не читает. Если какие газеты читают — то местные: чтобы узнать, повысят ли цены на газ и когда и на сколько дней закроют мост через, например, Енисей (тогда в другую половину Красноярска не попадешь!).

А вот в поселке Памяти 13 Борцов под Красноярском нам рассказали удивительную историю. У одного молодого человека (поклонника Че Гевары и Фиделя Кастро) родители постоянно ругались из-за недостатка денег. А денег не было из-за того, что единственное в поселке предприятие простаивает. Мать пилила отца: какой ты, мол, мужик. Но папаша как-то смекнул, что каждый скандал начинается после рекламного блока на TV, где то стиральную машину предлагают купить, то «мерседес». И однажды, когда пошла по TV очередная реклама и жена готова была уже «взбухать», он схватил молоток и кинул прямо в экран! Телевизор взорвался. Скандал был страшный... Зато потом в семье наступили мир и взаимопонимание.

Сидят они теперь вместе на кухне, пьют чай без сахара с сухарями (а больше есть нечего) и дружно кроют капитализм. Сын уже даже никакой «революционной пропагандой» среди родителей не занимается. Раньше он им про Че Гевару да про революцию, а они ему — что он оболтус и допрыгается со своей революцией до тюрьмы. А теперь только он про революцию да про партизан заикнется, отец отвечает: «Не учи ученого. Я в отличие от тебя экзамен по научному коммунизму в институте сдавал. Понял? И ты в армии не служил, а я был в десанте. Умею стрелять из всего, включая безоткатное орудие. Понял?»

Наши «новые левые» не слушают «техно» и не посещают рэив-парти. Они слушают Джанис Джоплин, раннего Дилана, «Дорз», «Джетро Талл», «Пинк Флойд», «Кинг Кримзон», «Генри Коу», Фила Окса и Виктора Хару. Все, как у западных «новых левых» 60-х.

А если они слушают наших — то тоже не «Иванушек интернэшнл». А такие группы, как «ЧеДанс», «Mental Depression», «АК-47» и еще кучу других, никогда не появляющихся в хит-парадах по причине откровенно подрывного содержания своих песен. Последнее понятно: ни один психически здоровый диск-жокей не пустит в эфир песни, например, группы «Ильич Рамирес Санчес»¹, содержащие угрозы физической расправы в адрес президента и членов правительства.

Впрочем, достается не только властям, но и парламентской оппозиции. Вот, например, «Зюг-рок».

Зюган Зюганович Зюганов —
 Вождь климактерических хулиганов.
 Он охмуряет рабочий класс.
 Зюганов — лидер не для нас!

Но популярнее всех — Александр Непомнящий, рок-певец и одновременно один из лидеров «новой левой» организации Фиолетовый Интернационал, выпускник филфака Ивановского университета и руководитель рок-бард-студии Оскольского рок-фестиваля (есть такой «экстремистский» фестиваль, «большая пресса» не любит о нем рассказывать). Непомнящий — уникальное явление. Десятки тысяч подростков (и не только подростков) по всей стране знают наизусть его песни — песни, ни разу не звучавшие ни на TV, ни на радио!

Непомнящий по-настоящему талантлив. Подобно Башлачеву, он сочетает в своей музыке русскую национальную традицию с традицией западного рока. На одной акустической гитаре он исполняет такие блюзы («Песня Юных Дружников»), что куда там Би Би Кингу! Непомнящий — единственный из наших рокеров, кто исполняет подлинный, неупрошенный реггей — на стихи на русском языке («Все, Кто Любит Вавилон», «Джа Нас Не Оставит»).

Но что действительно поражает своей открытой агрессией — это тексты. Вот, например, «Убей янки»:

Деловой пиджачок, дорогие очки,
 Баксы в дипломате. Но явились мы.
 Ножик под ребро. Голову — на кол.
 Доллары — на пиво и рок-н-ролл.
 Убей янки!
 И всех, кто любит янки!

Звездно-полосатый флаг затолкали в толчок.
 Будущего нет — есть русский панк-рок.
 Накорми мажора кашей «Педигри-пал» —
 И добавь чуть-чуть свинца, чтобы не убежал!
 Убей янки!
 И всех, кто любит янки!

Может показаться, что это пропаганда вульгарного национализма. Но это не так. Критерий, по которому врага, «чужого» («янки»), отличают от «своего», не национальность, а принадлежность к определенной культуре. «Янки» — это тот, кто включен в западную буржуазную культуру, конформен ей. А вот неконформисты (без различия национальности) — «свои», «русские»:

Джелли Биафра — русский, родом с Москвы,
 Курт Кобейн — тоже русский, тоже родом с Москвы,
 Джим Моррисон — русский, и родом с Москвы,
 Джими Хендрикс — русский, родом с Москвы.
 Убей янки!

Между прочим, текст этой песни напечатан сразу в нескольких газетах «новых левых» и даже в газете радикальных комсомольцев «Бумбараш-2017».

А газета воронежских «новых левых» «Массовые беспорядки» напечатала текст другой песни Непомнящего — «Все, Кто Любит Вавилон». Там есть такие примечательные слова:

¹ Ильич Рамирес Санчес — самый известный левый международный террорист по кличке «Карлос». Прославился захватом министров стран ОПЕК в Вене в 1975 г. Отбывает пожизненный срок во французской тюрьме.

Покупайте тампоны «Тампакс»,
Жуйте жевачку «Сперминт»,
Жрите батончик «Сникерс»,
Пейте напиток «Херши» —
Все равно на вас найдется пуля.
Все равно на вас найдется пуля...

Живите в бетонных тюрьмах,
Рубите для них деревья,
Скопите побольше денег
На длинную, сытую старость —
Все равно на вас найдется пуля.

Непомнящий, «ЧеДанс» и Ник Рок-н-Ролл заменили новой поросли недовольных Макаревича, Гребенщикова и Кинчева, которых молодые бунтари презирают и иначе, как «отожравшими толстые будки проститутками», не называют. Особенно достается Макаревичу за телепрограмму «Смак». Вот слова одной пятнадцатилетней девчонки (отличницы, кстати — единственной на весь класс!) из города Калачинск Омской области: «Это все равно как если бы Иисус Христос слез с креста, чтобы рекламировать женские лифчики и трусики. Вы что думаете, после этого на Земле остался бы хоть один христианин?»

Любимец «новых левых» Александр Непомнящий, как выражается молодежь, «мощно приложил» героев и ведущих хит-парадов и всяких музыкальных передач песней «Конец Русского Рок-н-Ролла»:

Немного грустная история — сплошное стебало².
Немного смертей — гораздо больше скандалов...
Короче, раз тонула в Волге желтая подводная лодка³.
«Пива и зрелищ!» — орал Третий Рим,
Летели чепчики и лифчики, но Рим был глухим.
«Давай на бис, на бис!» — и так, пока не изошла кровью глотка...

Изготовление «винта»⁴ в домашних условиях,
Схождение с ума «товарища Цикория»,
Эйсид-хай-лайф⁵ — жизнь от укола и до укола,
На Берлин идут «свиньею» русские панки,
Джонни Роттену⁶ с Москвы нужен счет в ихнем банке.
«Дело Троицкого⁷, или Конец русского рок-н-ролла»...

И никто и не заметил по пути в гастроном,
Что так давно уже пахнет вином
Наш крутой протест в промежутках попойки.
И мы споем лихую песнь про «андеграунд»,
Хотя никто здесь не выйдет на последний раунд:
Нам и так хорошо на нашей рок-н-рольной помойке!
Мы споем еще на бис на нашей рок-н-рольной помойке!

Примерами для подражания у наших «новых левых» являются «Студенты за демократическое общество» (СДО), «Черные пантеры», «Йиппи»⁸, «Уэзермены»⁹ в США, «Движение 22 марта» и Даниель Кон-Бендит¹⁰ во Франции, «Социалистический союз немецких студентов» и «Роте Армее Фракцион» (РАФ) в Германии, «Красные бригады» в Италии. Общее знамя — Эрнесто Че Гевара. Мельчайшие подробности жизни Че, лидера западногерманских «новых левых» Руди Дучке или теоретика «йиппи» Эбби Хоффмана знают наизусть.

² Издевательский розыгрыш.

³ «Yellow Submarine» — название известных песни, диска и выдержанного в традиции психоделического рисунка мультфильма группы «Битлз». Здесь — символ контркультуры.

⁴ Самодельный очень грязный наркотик, приготовляющийся из эфедрино-содержащих лекарственных препаратов.

⁵ От англ. acid — кислота (то есть ЛСД) и high [society] life — жизнь «высшего общества», «сладкая жизнь».

⁶ Лидер панк-рок-группы «Секс пистолз», культовая фигура у панков.

⁷ Имеется в виду Артемий К. Троицкий, известный специалист по русскому року.

⁸ Члены «Международной Молодежной Партии» (IYP) — леворадикальной организации в США в 60 — 70-е гг.

⁹ Леворадикальная террористическая группа в США в 60 — 70-е гг.

¹⁰ «Движение 22 марта» — анархистская группа, сыгравшая заметную роль в событиях мая 1968 года в Париже. Д. Кон-Бендит — лидер «Движения 22 марта».

В крупнейшей организации российских «новых левых» — пятнадцатитысячном профсоюзе «Студенческая защита» — в некоторых провинциальных группах считают обязательным изучать историю, идеологию и опыт СДО. Относятся к этому серьезно. Не дай Бог перепутать цитату из Стокли Кармайка с цитатой из Тома Хейдена¹¹! Страшнее этого может быть только одно: спутать на групповом фото «Черных пантер» Элдриджа Кливера с Хью Ньютоном.

Книги идеологов «новой левой» штудируются. «Одномерный человек» Герберта Маркузе стал прямо-таки библией отечественных «новых левых». Дело доходит до того, что знание или незнание «Одномерного человека» становится аргументом в дискуссиях о «стратегии движения». Лидер «новой левой» радикально-экологистской организации «Хранители Радуги» Сергей Фомичев, споря с теми «новыми левыми», кто склонен рассматривать панков как «новый революционный класс», пишет на страницах нижегородского журнала «Третий путь»: панки не могут быть революционным классом, поскольку он, Фомичев, до сих пор не встретил ни одного панка, который бы прочитал «Одномерного человека» Маркузе!

Впрочем, наблюдается и *couleur locale*. Кубанские «новые левые», например, очень уважают и активно пропагандируют на страницах своего издания «Автоном» теорию «молодежи как нового угнетенного класса» Джона и Маргарет Раунтри. Камчатские «новые левые», объединенные в Партию социалистов-революционеров, очень уважают Франца Фанона¹², изучают и пропагандируют его наследие. Активисты Практико-революционной организации Воронежя (ПРОВО) штудируют теоретика «Красных бригад» Тони Негри, ростовские активисты «Студенческой защиты» изучают историю «Уэзерменов» и даже внешне стараются походить на лидеров «Уэзерменов» Марка Радда и Бернардин Дорн (девушки специально красятся в рыжий цвет). В программном документе Революционного молодежного союза «Смерть буржуям!» — Манифесте «Убей буржуя!» — написано просто и прямо: «Мы отомстим классу сытых и довольных «гуманистов» за всех наших друзей, которых они пытали, распинали и уничтожали, — за Че Гевару, за Ульрику Майнхоф¹³, за «Красных бригад»¹⁴»

Свобода выезда за границу неожиданно сыграла дурную шутку. Сотни молодых людей съездили из России в США и вернулись оттуда врагами капитализма вообще и American Way of Life в частности. Активист «Студенческой защиты» «товарищ Мрак» вспоминает: «Когда я учился в школе — как раз была перестройка. Нам талдычили, что в Америке все прекрасно, что это образец. Я прожил в этом «образце» три месяца и знаю, что это не образец, а дерьмо. Тупее людей, чем американцы, нет. Всех лучших людей Америки Америка уничтожила. Всех — и Джона Кеннеди, и Малькольма Икса, и Мартина Лютера Кинга, и «Черных пантер», и Джима Моррисона, и Джими Хендрикса, и Джона Леннона, и Джима Джонса (хотя тот и сбежал в Гайану) — всех убили цэрэушники. Остались одни недоумки. Они даже два на два умножают на калькуляторе! Если бы у них не было атомной бомбы и наших ученых-эмигрантов — Фидель бы их за три дня завоевал! США обречены. Это паразитическое общество. Они ничего не производят, а только потребляют то, что производят во всем остальном мире. Они скоро ходить разучатся. Я ехал на поезде из Фриско¹⁵ в Лос-Анджелес. По дороге увидел испано-американцев. Сидят у каких-то хибар бледные, истощенные дети. Смотрят на проходящий поезд. Никаких других развлечений у них нет. А через пару миль — такие же чиканос¹⁶ горбятся на плантациях, вручную клубнику собирают. Тоже мне, богатейшая страна мира! Я привез оттуда два чемодана левацкой литературы 60-х годов и фильм о «Пантерах». Им это не надо, они свой исторический шанс упустили. Мы не упустим. Мы им сделаем «много Вьетнамов», как учил товарищ Че Гевара!»

Завязав контакты с западными леваками, российские «новые левые» общаются с ними по Интернету. (Откуда у нищих Интернет? Джордж Сорос вложил большие деньги в программу подключения провинциальных университетов России к всемирной информационной сети. Едва ли не самыми первыми, кто стал активно поль-

¹¹ Лидеры СДО в 60-е гг.

¹² Теоретик антиколониальной революции, один из идеологов Фронта национального освобождения Алжира.

¹³ Лидер западногерманской организации «городских партизан» «Фракция Красной Армии» (РАФ). Погибла в 1976 г. в тюрьме.

¹⁴ Так в тексте документа — с ошибкой в падеже!

¹⁵ Сан-Франциско.

¹⁶ Граждане США латиноамериканского происхождения.

зваться плодами этой программы, оказались наши «новые левые».) То, что отечественные ТВ и газеты ничего не сообщают о партизанской войне в Колумбии, акциях индейцев сенека в штате Нью-Йорк или победе партизан Рабочей партии Курдистана над турецкой армией в Иракском Курдистане, наших «новых левых» не смущает. Они все это узнают по Интернету. Они следят и за литературными новинками. На выход в свет в прошлом году в издательстве «The Free Press» книги «Radical Son», принадлежащей перу видного когда-то «нового левого», перешедшего в «новые консерваторы», Дэвида Горовица, наши бунтари откликнулись ехидным комментарием: «Иуда пайку отработывает!»

«Студенческая защита» творчески использует опыт своих духовных отцов. За последние пять лет она дважды организовывала массовые студенческие беспорядки в Москве, один раз – в Твери, один раз — в Краснодаре, один — в Ульяновске. Российская mass media эти беспорядки старательно замолчала. Сделали вид, что ничего не произошло. Значит, надо ждать следующих беспорядков.

А вот еще пример — краснодарский. Видел сам. Местные злобные левацки настроенные студенты решили сорвать «рэйв парти» «золотой молодежи» в рэйв-клубе. Делалось так. Большими группами студенты у входа в клуб отлавливали детей местной элиты и начинали «ра-ра» (разъяснительную работу): «Ты знаешь, сука, что у нас почти все предприятия стоят? Ты знаешь, что у нас в больницах люди умирают оттого, что лекарств нет? Ты знаешь, что у нас в семьях жрать нечего? Ты знаешь, что у нас дети собой торгуют? А ты пятьдесят баксов только за вход выкладываешь? Откуда баксы — ты же не работаешь? Ты знаешь, как это называется? Пир во время чумы! Ты въезжаешь, что так нельзя, или тебе зубы выбить?» Пойманные рэйверы единодушно соглашались, что «так нельзя», и сматывались. В клуб не попал ни один человек! Вечер был сорван. Потом приехала милиция и «повинтила» всех «разъяснителей». В отделении милиции бунтари вежливо спрашивали: «А за что? Мы что, кого-то били? Есть побои? Мы же никого пальцем не тронули! Мы же вели разъяснительную работу, что нехорошо выбрасывать пачками доллары, когда кругом люди голодают. Аморально это. Не по-нашему это, не по-русски, не по-казацки».

Милиционеры, кстати, и сами подолгу зарплату не получали. И понятно, кому почувствовали. Взять с бедных студентов было нечего. С документами у всех было все в порядке. В общем, всех отпустили...

Если вы увидите в Липецке демонстрацию молодых людей под флагом с Че Геварой, в Воронеже — под флагом с черной кошкой на красном фоне¹⁷ и в любом российском городе — под черно-красным флагом или под транспарантом с надписью «Капитализм — дерьмо!», знайте: это «новые левые». Новое поколение, пепси-коле предпочитающее Маркузе.

Совсем не случайно то, что почти поголовно эти юные «революционеры» и «борцы за дело рабочего класса» — студенты и (обычно) выходцы не из рабочих, а из интеллигентских семей. Необразованные, не любящие и не умеющие учиться подростки в сегодняшней провинции либо спиваются, либо «салятся на иглу», либо становятся «быками» в преступных группировках. Образованные, талантливые, трудо- и самолюбивые либо нацелены на то, чтобы получить образование «под американский стандарт» — и сразу «слинять на Запад»; либо впадают в разного рода мистицизм (в Сибири, во всяком случае, это очень распространенное явление; причем чем экзотичнее секта — тем больше в ней активной образованной молодежи; православие среди такой молодежи не котируется, православие — удел конформистски настроенных, «забитых», сереньких девушек); либо становятся новобранцами фашистских и левацких группировок (сегодня в провинции это единственные быстро растущие политические организации, причем исключительно молодежные по своему составу). Итак, «карьеристы» уедут, «мистики» окончательно выпадут из реальности, конформистское большинство будет воровать, пить и «колотся». Невольно задумаешься вопросом — что же нас ждет? Кровавая схватка между отечественными фашистами и отечественными леваками? Неужели о нуждах и будущем России станут беспокоиться только те, кого принято называть экстремистами: правые радикалы, левые или те и другие? Такое самоубийственное невнимание к молодежной политике со стороны власти нельзя назвать даже близорукостью.



¹⁷ Символ стихийных революционных действий (от американской идиомы wild cat strike — дикая (т. е. несанкционированная) забастовка).

Голубиное слово

НЕЖНАЯ ДЕТСКАЯ

*«Давай договоримся на всю жизнь,
что я буду командиром тебя»*

Вхожу в детскую посмотреть, как спит мой Тема (внук, друг, собеседник), поправляю одеяло. Что-то странное попадаете мне под руку. Поднимаю одеяло — у ребенка под боком лежат три танка и большой экскаватор с ковшом. Я отказалась прилечь к нему на краешек перед сном, ушла печатать на машинке, а он заплакал и звал меня: «Вот мы посплям, и ты пойдешь печатать». Я сказала, что мне некогда, и он заменил меня техникой. Совсем не может засыпать один...

Это я вынула эпизод из дневника, который веду со дня рождения мальчика. Сейчас ему восемь лет, и в дневнике — сотни бесед с ним и разных сценок. Вот я читаю ему, шестилетнему, «Руслана и Людмилу»: «...Рогдая Тех вод русалка молодая На хладны перси приняла». Показываю, как русалка обнимает богатыря. Тема внимательно смотрит и явно обдумывает, ЗАЧЕМ понадобилось укладывать юношу к себе на грудь. Осторожный вопрос нежнейшим голосом: «Она его... съела?»

Вот Тема шепчет мне на ухо: «Давай договоримся на всю жизнь, что я буду командиром тебя».

Вот я пою ему на ночь «Летят утки и два гуся», а он шепотом поправляет меня: «гусев». Тоже шепотом спрашиваю, почему «гусев». «Потому что их два», — говорит.

И так с утра до ночи, изо дня в день восемь лет. Его вопросами типа «Синица — это женщина воробья?» можно забить все рубрики «юмора в коротких штанишках». И дело вовсе не в его особых способностях, а в том, что я пишу за ним ежедневно, а у большинства не хватает терпения или просто «не слышат» ребенка. А ведь его реплики и вопросы — способ познания мира. Дитя ТАК узнает, кто мы и кто он сам в среде людей и предметов еще задолго до школы.

И потому я рассыпаю свои записки, сделанные по дням жизни ребенка, и называю их на иные шампуры: учимся говорить; учимся думать; люди и вещи вокруг; ищу Слово к предмету и явлению; одиночество; сны и страхи; зачем я играю; живое рядом и т. п. Далее пойдут телевизор как «окно», числа, небо, будущее, книги, искусство, Бог...

Начать можно с чего угодно. Но сперва — один случай, так и оставшийся ТАЙНОЙ для нас. Не поняли. Не разгадали.

...Мы готовились наряжать елку и потому разложили на тахте десятки шаров, канитель и прочую сверкающую мишуру. Теме не было входа в эту комнату раньше времени. Но кто-то его, семимесячного, вдруг внес на руках. Мы замерли: что-то будет с ребенком, когда он увидит... Да у него глаза на лоб полезут! Но произошло такое, от чего мы потеряли дар речи: ребенок не заметил игрушек. Он уста-

вился на пустую елку в углу. Потом, скользнув взглядом по разноцветным шарам и канители (будто тахта пустая), уставился на меня. Снова — на елку. На свою маму Лену (мою дочь). На елку. На меня. На Лену. «Он не верит своим глазам,— сказала я.— Такой красоты не бывает» (пытаюсь фальшиво оправдать его равнодушные к красоте в чистом виде). Сажаем его в кроватку напротив той сказочной тахты и надеемся, что он сейчас увидит, разглядит! И будет молча лежать, глядя на шары сквозь прутья кроватки. Но мальчик немедленно начинает ползать и перебирать свои погремушки. На сверкающую гору — ноль внимания. И так прошел весь день! Почему? Мы были смущены, разочарованы, и даже как-то не хотелось обсуждать это. Тупой он, что ли? Дальтоник, что ли? Но на другой день Лена высказала версию: «Может быть, у них зрение особое, у грудничков? А вдруг у них ВСЕ ПРЕДМЕТЫ СВЕРКАЮТ и переливаются всеми цветами радуги? А если они видят ауру людей? Представь, вокруг наших голов — цветные короны, которые искрятся и меняют оттенки. И тогда эти золотые шары и серебряная канитель — НОРМА для младенца! А вот пустая елка его заинтриговала, ведь она „живая“, с густым запахом». Я обрадовалась гипотезе и не возражала. Кто скажет, что такого не может быть? Почему бы младенцу не видеть мир таким, каким его сотворил Создатель (и подумал: «Это хорошо»)? А потом ребенок забудет напрочь, начисто все, что видел в первые три-четыре года. Почему? Будто Ангел запечатывает его память в некий день, в назначенный срок... Будто людям не положено то же зрелище, что и Небожителю, и невинному младенцу. И тусклые краски мира — тоже наказание, как и тяжкий труд... Не знаем.

...Ну вот так и пойдет моя работа. Листаю дневник, выбираю эпизоды на нужную тему. Пишу. Восемь утра. Входит Тема в длинной ночной рубашке, сшитой прабабушкой Риммой, сразу влезает на гору подушек, сложенных в кресле, и принимает спокойную «лежачую» позу: «Я похож на Акелу?» Не отвечаю, хотя он точно повторил иллюстрацию к «Маугли» и так же держит голову, как вождь волчьей стаи. Я вообще не всегда ему отвечаю. Детский лепет похож на птичий щебет («щелканье вида»,— сказал Пастернак). Но надо вслушиваться, чтобы поймать существенное.

Стоит сказать о том, как Тема появился на свет. Моя дочь Елена лет с шести начала проявлять интерес (причем неистовый) ко всем видам инвалидного состояния. Увидев мальчика с проволокой на зубах, она потребовала поставить ей такую же. Получив отказ, сама (шестилетняя!) разыскала поликлинику на Садовом кольце, вошла в кабинет и попросила проверить ее прикус. Врач сказала: «Прикус у тебя очаровательный» — и выгнала из кабинета. В первом классе завидовала мальчику в очках и подъезжала ко мне, что плохо видит и вообще ничего не видит. Во втором классе умоляла положить ей гипс на руку, как у одной девочки. Через год просила ей купить костыли на всякий случай. Жаловалась на отложение солей, как у меня, чтобы ходить на массаж. Сильным потрясением для нее было появление девочки в корсете. Перелом позвоночника стал ее вождельной мечтой в четвертом классе. Еще раньше она зафиксировала в сознании беременную женщину как интересное явление и стала выпрашивать, как и что для этого требуется. Однажды прибегает с улицы: «Я видела женщину во-от с таким животом, а ребенка там нет!» «Откуда ты знаешь, что ребенка там нет?» — «Да потому что она его за руку ведет!» Задолго до этого пугала нас своими планами: «У меня будет десять детей. Деда сказал, что за питими углядит. А ты, мама, за питими углядишь?» Отвечаю ехидно: «Я-то угляжу, а что ты будешь делать?» Светлые бровки ползут вверх: «У меня будут другие дела. Ведь я тогда уже девушка буду. Мне будет лет четырнадцать или сорок». Вечером того же дня: «Все девочки у меня будут Кориными, все мальчики — Павликами». «Как же ты будешь их различать?» «Как, как! По фамилиям». (Так их «различали» в детском саду: «Воронова, выйди из лужи! Климов, отдай совок Мухиной!») Года два спустя вкрадчиво интересуется: «Девушка сперва выходит замуж, а потом у нее ребенок рождается? Или сперва — ребенок, потом — муж?» Отвечаю, заикаясь, не как есть, а как надо. Девочка в досаде пристает: а как выглядит процедура выхода замуж? Узнав, что это «пе-

чать на бумажке», спрашивает, «громко или тихо ставят эту печать». Я не понимаю вопроса. Она — плачущим голосом: «Ну как ребенок-то узнает, что печать поставили и уже можно родиться?!»

В связи с этой чертой ее характера — безграничным любопытством — я опасалась, что она родит при первой возможности. И была счастлива, что она все же дотянула до девятнадцати лет. Я умоляла ее не выходить замуж, зная, как быстро она теряет интерес к тайне, которая стала фактом. Кому нужны эти детские браки?

Так все и вышло. Едва Елена закончила школу и год отработала, как в квартире у нас поселился кандидат в ее женихи, такой же инфантильный абитуриент, как и она. Год спустя, уже будучи студенткой, Елена объявила, что ждет ребенка. К тому времени ее личная жизнь состояла из ссор, уходов-приходов и даже одной драки с избранником, который как раз был в отлучке после ссоры, да так и не вернулся. А в конце мая, сразу после сессии, Елена разрешилась мальчиком, которого записала Артемом, на что ее бабушка, моя свекровь, заметила: «Разве это имя? Это какая-то партийная кличка. Есть имя Артемий...» — но было уже поздно, на бумажке стояла печать.

Слышу голос Темы из детской: «Какого цвета брови у мыши?» Не знаю, что ответить. Вспоминаю, что час назад он уже приставал ко мне: «Какого цвета ежики?» Я сказала: темно-серые. А он возразил: «Да не иголки, а они сами?» — чем вверх меня в прострацию. Лишь теперь догадалась, иду к нему и вижу книжку-раскраску. Сколько я их уже выбросила, а гости несут и несут с уличных лотков, даже не перелистав. Чумовой «художник», видимо, спьяну, предлагает раскрасить мышь величиной во всю страницу, на обороте — слон (а серый фломастер еще на мыши иссяк), далее — стая воробьев, и вот он — ежик в натуральную величину (вверху — чуть-чуть иголок, остальное — он «сам»; в пору с ума сойти, глядя на него). А в конце подарок — во всю белую страницу снеговик с метлой. Тема быстро красит морковку оранжевым, и я уношу макулатуру в мусорное ведро.

«Жук голый или на нем что-нибудь надето?»

Тема вздрогнул во сне, когда стая голубей, захлопав крыльями, слетела с дерева на землю. Смешно: спит в коляске посреди Страстного бульвара, машины несутся мимо, урчат, сигналият — он спит. И вдруг хлопанье птичьих крыльев услышал во сне.

Этот случай я часто буду вспоминать. Когда внушаешь ребенку так называемые «элементарные вещи», или «простые правила», а он решительно тебя не понимает, вспомни (кричу я себе мысленно и опускаю руку, уже поднятую для легкого шлепана): у нас с ним еще разные миры и непохожие словари, я говорю на языке тех машин, а он — на том голубином.

...Пишу это, а ко мне входит пятилетний Тема и садится у телевизора. На экране вертолеты сбрасывают груз над лесом и улетают, голос за кадром объясняет, что именно так американцам доставляли продовольствие на вьетнамской войне. Слово «продовольствие» ничего не говорит Теме. «Что они бросают?» — спрашивает он. «Еду», — отвечаю я. Думает минуту-другую. Тихий вопрос: «Уже сваренную?» Теперь я задумалась: а какую же, сырую, что ли? «Да», — отвечаю. Тема еще минуту думает. Осторожный вопрос: «Но, ведь пока она летит, она... остынет». Мне нечего сказать. Он часто загоняет меня в тупики: коротко не ответишь, а длинно не хочется. Ребенок смотрит и думает, я пишу дальше...

Однажды я нечаянно поставила опыт, как в лаборатории физиолога Павлова. Надо было чем-то отвлечь годовалого Тему, и я положила на стул половинку яичной скорлупы, то есть чуть ниже уровня его глаз. Смотрит, а взять не решается — вещь необычная и неизвестная да еще чуть покачивается. Жду, что он

станет делать. И вдруг вижу ряд действий, строго мотивированных: сперва выяснил, не «живая» ли эта вещь, потрогав стул «рядом» со скорлупой (вдруг упадет или кинется убежать?); одним пальцем трогает «совсем рядом»; провел рукой «над» предметом; еще раз — «над», слегка задев его... И в следующее мгновение схватил его рукой! Почему не взял, а схватил? Потому что первым касанием выяснил, что «это» холодное (то есть неживое) и твердое, то есть неопасное. Инстинкт, врожденные рефлексy плюс работа ума, умишки, анализ и синтез и еще Бог знает что... Оглядываюсь, вижу тысячи предметов, еще не освоенных малышом как живое и неживое, опасное и нет, и впервые оцениваю масштаб РАБОТЫ, которой он постоянно занят. Откуда ему знать, кусается лимон или нет, не бродит ли кресло по квартире ночью, о чем бормочут настольные часы, почему шевелится скатерть на сквозняке... Это же космос для него. И он ощупает и возьмет на зубок все, до чего дотянется рукой.

Вот он (двухлетний) гоняет по полу пластмассовый шар. Прошу его «пожалеть Лакерников» (нижних соседей). Садится на корточки и разглядывает паркет: «Там Лакейники? Там они? Какие ма-аленькие!» — имеет в виду мусорок в щелях паркета. Гладит его пальцем: «Лакейники...» Откуда знать крохе, как сложен дом и что наш «пол» — это «потолок» у неведомых Лакерников?

В мою комнату Теме долго не было хода. Но однажды забыли закрыть дверь, и он (полторагодовалый) вошел. Увидел, какое богатство вокруг, растерялся, с чего начать: книжка в желтой обложке, медная джезва, турецкий стаканчик с кофе, часы, ножницы, скотч, колода карт для пасьянса, сигареты, зажигалка, красный телефонный аппарат. Переводит взгляд с одного на другое, и вдруг — «через» кучу незнакомых предметов тянется к телефону... Опять сработал инстинкт: начну со знакомого (проверено, не опасно). Через мгновение он бросил бы трубку и схватил стаканчик со скрепками, но его уже уносят из этой пещеры Али-Бабы. Уплывая на руках, грустно смотрит на колоду карт.

Три года спустя он войдет ко мне с упреком: «Почему у меня можно играть в мяч, а у тебя нельзя?» «Ты же видишь, комната набита». «Почему твоя набита, а моя пустая?» «С годами и твоя набьется». «А давай ее сейчас набьем! Отнеси ко мне компьютер, кресло, зеркало и все эти книги... — Смотрит на стол. Неуверенно: — ...И пепельницу».

У меня есть одно неправильное слово: я называю ребенка «мелочным» (в добром смысле), не зная, как эта его особенность обозначается по-научному. Его спрашивают, кого видел в зоопарке (впервые побывал). Отвечает со счастливым лицом: «Ма-а-аленькую такую лягушечку...» Слон пока не умещается в его сознании, он как ожившая картинка из книжки, а лягушка — как раз по нему. Психолог скажет, ригидное мышление... иное структурирование мира... Наверное, это так. Но до чего мелкая ячя! Как нам-то ее разглядеть и взять на ум? Летом Тему часто увозят в Комарово, где прабабушка и прадед — Римма и Вася (так он их зовет, по-иному, говорит, не могу, «стесняюсь») купают его в любви. Но что он вспоминает об этих дивных днях? Посреди зимы вдруг вздохнет с тоской, глядя в окно: «А в Комарово... улитки». И он прав. И делать нечего, надо учиться мыслить в масштабе «В Комарово — улитки», чтобы говорить с человеком на одном языке.

Однажды на страницу книжки упала черная точка и поползла. «Что это?» — в страхе завопил Тема. Отвечаю, что это древоточец, мебельный жучок. Он запал в сознание Темы под именем «небельный» (упавший с неба). И то и дело Тема возвращался к нему: «У небельных глáзы есть? Они нас вижут? Он просто так ползет или... по делам? Он голый или на нем что-нибудь наденуто?» Однажды в кружке ИЗО им задали нарисовать зоопарк. Учительница с удивлением — мне: «У него всего три зверя в зоопарке: змея — понятно, лягушка — ну ладно, а третьего он назвал „небельный“... Что бы это значило?» Объясняю, что это первая «живность», увиденная ребенком в доме и запавшая ему в душу. Теперь Тема уже большой, пошел в школу, я думала, забыл своего любимца. И вдруг на

днях: «Когда жуки с самолета падают, они разбиваются?» — «Нет, они легкие», — отвечаю. «А что будет, если небельного специально сбросить с бомбардировщика?» Я молчу, не знаю, что ответить. «Блям!» — сам себе отвечает ребенок и уходит. «Блям» — это и было то слово, которое я должна была найти в своем словаре, но не нашла.

«Я все забываю, у кого я родился, у тебя или у мамы»

Тема увидел фиалки в стакане и сказал: «Да циты» (дай цветы). Ему было десять месяцев, и это были его первые слова. Родив их, он словно испугался и замолк на целый год. Вся семья его дрессировала, как попугая: «Скажи „мама“, скажи „деда“, — смотрит на нас ласково, как зритель в кукольном театре, и вежливо молчит. Зато начал петь. Без мотива подолгу поет со своими словами, среди которых особенно часто встречаются «мля» и «кика».

Год спустя к фразе «да циты» прибавилось лишь «димомо» (домино из картонных квадратиков). Мы сокрушались и даже заговорили о враче, с которым надо посоветоваться. Но однажды, увидев свою няню, ребенок вдруг сказал: «Тема гулям Катя», то есть собрался гулять с Катей. Мы были потрясены: он что, умеет говорить, но не хочет, что ли? А тут еще я увидела сына актера Миши Козакова, которому один год семь месяцев. На просьбу отца «почитать что-нибудь из Давида Самойлова» ребенок быстро заговорил: «Раз спросил макаку лось, как тебе покакалось, и ответила макака: посмотри, какая кака». А на просьбу изобразить маму ребенок затопал ножками и заорал: «Сичажжа спать!» Впору было рыдать от зависти... Вскоре, однако, наши тревоги утихли: ребенок заговорил.

...Ставлю точку, входит Тема (ему четыре года): «Что ты пишешь?» — «Пишу, как ты был маленький». Удивленно: «А кто тебе сказал? Я тебе сказал?» Этим вопросом он меня вывел из круга очевидцев его детства. «Сама видела...» — ворчу я. Он собирает с пола игрушки, выходит из комнаты и этак через плечо — вопрос: «Я все забываю, у кого я родился, у тебя или у мамы?» Он спрашивает об этом примерно раз в год, но мои насмешки и ответ забывает. Однажды гость спросил его, трехлетнего: «Тема, а кто твоя мама?» Он ответил так: «У меня две мамы. Одна — Лена. Она спит. Другая — Нея. Она на жизнь печатает». А недавно — уже восьмилетний — радостно сказал: «Ну я понял, Лена родила меня, а потом — тебя. Вот мы и вместе!» С последними словами протянул ко мне руки. Мы обнялись.

«Здравствуй, муха с золотыми волосами!»

Когда росла моя дочь, у нее были и собаки, и попугаи, и прочая живая мелочь. Одна зеленая с красной головой птица по имени Давид (в честь знакомого художника — Боровского) сидела у нее на плече или бродила по столу, клевала с тарелок, отпивала из чашек или каталась на ручке утюга, которым я гладила, висела вниз головой на длинном поясе моего халата или намертво вцеплялась в верхний конец кисточки, которой быстро-быстро рисовал глава семьи, отчего птица с упоением тряслась. Словом, дом пел, чирикал и тьякал, в нем что-то летало, скакало и ползало.

Мой внук Тема растет в доме, где живность — мухи и комары. Да еще знакомые (с именами) вороны за окном. Так уж вышло. Но ребенок не был бы человеком, если бы даже эту малость оставил без нежного внимания. Утром лежит и долго смотрит вверх: «Комары потолок едят? А куда они деваются, когда их нет? Они тают?» На другое утро: «А что думает комар...» «...глядя на восход солнца?» — продолжаю я за него. Тема обрадовался: «Да. Что он думает при этом?» «Ах, думает, жизнь коротка». Я пошутила, но теперь Тема бегает за

мной по всей квартире: «Ну почему, почему жизнь коротка?! Покажи руками, как она коротка. Вот так?»

Пишу на компьютере, ставлю точку и говорю вслух последнюю фразу: «И это есть наша мука и борьба». Тема, который безучастно вертел машинку в руках, встрепенулся: «Муха, Нея? Муха и борьба?» — «Нет, милый, мука и борьба». Захныкал: «Напиши лучше „муха и борьба“. Очень тебя прошу».

Сидя за столом, грозит пальцем: «Если вы, мухи, будете садиться на хлеб, мы спылесосим комаров, ваших мужОв!» Эта угроза реальная: перед сном я снимаю с потолка длинной трубкой пылесоса по десятку этих «мужов». Вот Тема врывается ко мне в комнату: «Я видел муху с сахарным песком на лице!» Ждет моей реакции (я должна быть счастлива). Реакции нет.

Учим ребенка читать. Поставили ему пятерку за урок. Эта непонятная награда его измучила: где она, как выглядит? И вот он говорит комару на потолке: «Читай со мной: „По про-во-ло-ке дама идет, как те-ле-грамма“. Молодец. Даю тебе пятерку». Комар не реагирует. Тема вздыхает: «Не взял». Час спустя размотал сантиметр и на глазок измерил муху, которая сидит на занавеске: «Знаешь, муха оказалась на той же пятерке, которую я дал комару...» Малыш запутался в нашем мире, то конкретном, то абстрактном: одна и та же пятерка написана на линейке, на часах, на углу здания, и вот почему-то за урок ему ставят ту же пятерку... Почему у нас при этом радостные лица? А тройку вчера поставили ему, нахмутив брови. Что значит вся эта абракадабра?!

Иногда дети нечаянно говорят поразительно красивые фразы, не сознавая того. Моя восьмилетняя дочь Лена сказала в Бакуриани, глядя в большое окно на белую ласочку (или горностая?), которая ныряла в невидимую норку и выныривала в метре от нее на ослепительно-белом снегу: «А что подумает ласка, если я руками в белых варежках закрою оба выхода?» Помню, я обомлела от музыки этих слов и молчала. И вот теперь ее четырехлетний сын Тема бежит за мной по Страстному бульвару: «Нея, остановись! Природа напрасно сделала мотыльков!» Я останавливаюсь: «Почему?» «Но ведь они живут один день! Зачем же их создавать?» Мой ответ напоминает унылое бляенье рядом с серенадой: «Увидеть мир... даже на один день...» — нельзя ответить без того чувства (в данном случае горечи, сострадания), которым наполнен вопрос.

Откуда взялся мотылек со своей бедой? Начали с Темой читать «Нравы насекомых» Фабра. Новый открывшийся мир потряс его. Бредит шмелями и всей этой братией: «А бабочка — женчина? А шмель — ее муж?» «Двойные» мухи, стрекозы его так же озадачивают, как в свое время — Лену. Показывает в книжке: «Вот кузнечик». Пауза. Базарным тоном: «А второй прицепился к нему и держится за шею». Ехидным тоном: «Сам не хочет скакать. Конечно, легче на своем товарище ехать!»

Сейчас он, восьмилетний, настоящий энтомолог в сравнении со мной: он десятки часов (если сложить) отсидел в траве у реки, у пруда, вглядываясь во все, что ползет, скачет и летает. Портрет осы крупным планом (в книгах, которых у него много, и на экране ТВ) — одно из сильнейших его впечатлений. Она даже приходит к нему в ночных кошмарах, когда он плачет во сне: «Прилетела ростом с меня, взяла меня за руку и не отпускает...» Вслед за насекомыми страстно любил земноводных и пресмыкающихся. «Куда черепаха кладет одежду, когда идет купаться?» — так спрашивал в четыре года. Или вот бесится под одеялом, а я его жду: «Ну что ты там делаешь?!» Отвечает: «Когда две черепахи дерутся, одна выходит из панциря и входит к другой, и они там сражаются, как я под одеялом».

Однажды в зоопарке мы стояли у стекла террариума, а Тема был с воздушным шаром в руке. И на этот шар вдруг бросился крокодил — толпа отпрянула, а крокодил так и остался стоять на ногах, прижавшись к стеклу белым брюхом.

Два года прошло, а Тема часто говорит: «Помнишь, как крокодилу мой шар понадобился?»

Думала, годам к шести он забудет своих мух. Но вот слышу его песню из ванной: «Здравствуй, муха с золотыми волоса-а-ами...» Спел эту строку на разные мотивы раз двадцать. Потом читали с ним стихи Олейникова. Из всего сборника запомнил и теперь декламирует, бегая по квартире, одно: «Я муху безумно любил. Давно это было, друзья. Когда еще молод я был. Когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп...» и т. д.

Господи, до чего им нужно что-то живое рядом, нашим деткам... Но и себя жалко, когда уже трех-четырех собак гулял-кормил-лечил-хоронил. Нет, не могу. «Бывают похороны для собак?» — спрашивает ребенок. «Да...» — неуверенно отвечаю я, имея в виду Запад. «А дра голубёв — следует быстрый вопрос (он до пяти лет говорил «дра» вместо «для»).

За окном февральская метель. Входит Тема с коробочкой в руке. Там у него спит бабочка. Наш диалог: «Ты сказала, она весной проснется?» «Да». «А весна скоро?» «Да». «Сейчас нельзя ее разбудить?» «Нет». «А может, ей пора начинать потягиваться?»

«Я хотел бы жить в сумке...»

«Опять фильм ужасов смотришь», — с упреком сказал шестилетний Тема. На экране между тем было лицо кинозвезды Натальи Андрейченко. Ее героиня выследила мужа с другой и теперь ждала, что он соврет. Было что-то «ужасающее» в ее лице, немедленно и точно прочитанное ребенком.

В другой раз, увидев злое лицо на экране, Тема содрогнулся и сказал: «Это какой-то господин... Шохин». И снова известный политик здесь ни при чем. Его фамилия оказалась на слуху у ребенка и чем-то страшила его. Чем — нам не понять. Повторяю без конца: у них другой мир.

Лишь особо принципиальные родители, со своей воспитательной программой, способны выбросить из дома телевизор ради детей: отвлекает, оглушает, облучает. Нам, обыкновенным, хочется вместе с детьми видеть хищников саванны и морских глубин (кого из нас и с какой стати вдруг занесет в этот рай собственной персоной?)... Но, увы, кроме еще фильмов Норштейна и Хржановского, назвать ничего достойного не могу. От остального ТВ детей приходится оберегать. Самому, однако, чем-то надо питаться: то «Оскара» покажут, то документальные фильмы, которые я тихо обожаю всю жизнь. Так что ребенок поневоле хватает фрагменты на лету.

Думаю, в целом на круг телевизор давит на психику ребенка, нивелирует его как личность. «Иди слушай свои новости,— говорит Тема.— Сто убито, пятьсот получили ожоги. Даже у меня ожог от этого». День спустя: «Мне хотелось бы не жить на этой земле. Преступников много». «А где тебе хотелось бы жить?» Ответ неожиданный: «В сумке». «У кенгуру?» — пытаюсь свести на юмор. «Нет. Чтобы ты ее носила. Обыкновенную сумку такую...» От тоски, охватившей меня, замяла беседу. Психологи могут взять образ из уст ребенка: уровень тревожности в стране пересек некую границу, и дитя просится обратно в утробу, в нору, в «сумку».

«Разве гвардия — не жена Наполеона?»

Четырехлетний Тема входит ко мне и говорит: «Берегись!» Стоит и чего-то ждет. Я читаю газету. Тема разочарованно: «Нея, когда я тебе говорю берегись, это значит, ты должна гнаться за мной по квартире».

Я записала фразу в дневник и забыла ее. Лишь много позже у меня прорезался слух. Как в сказках, герой что-нибудь съел и вдруг услышал язык птиц и зверей, так и мне открылась мольба ребенка об игре. Она — синоним жизни для него. Он устаёт без игры. Если молча сидит или лежит, он нездоров. Но так же он УСТАЕТ БЫТЬ ОДИН, не умеет. Вот Тема, двухлетний, стоит под моей дверью: «Нея, иди ко мне. У моей ешади хвост отваййся». Отвечаю, что занята. Думала, ушел. Но вот слышу голос деда: «Что ты здесь стоишь?» — «Жду Нею. Он занит». Господи, думаю, разве можно сравнить хвост лошади со всей мурой о смысле жизни, которую я тут сочиняю?

Однажды я поймала момент, когда моя дочь Лена принесла в подоле кучу игрушек и стала расставлять их на кухне. Каждой игрушке что-то говорит. Я чищу картошку. Она говорит. Иду в комнату. Оглянулась — она собирает всю кучу в подол. Я говорю по телефону, она расставляет игрушки возле меня. Иду в кухню, она собирает всю кучу в подол. Тогда мне показалось это забавным, и я специально фланировала по квартире, наблюдая, как трудится малыш в погоне за... (Кем я была для нее? собеседником? — нет, она ко мне не обращалась; защитой? — нет, ей нечего было бояться; она искала «семейного комфорта» — это когда, кроме тебя, на свете есть еще КТО-ТО.) Вот и Тема теребит меня постоянно: «Давай водить баба сеяла горох», «Пойдем вафрику играть» («вафрика» — это постелить желтую фланель — «пустыню» — и расставлять на ней крохотных тигров, слонов, жирафов и прочую живность в позах, кто за кем гонится). «Давай, ты как будто с Луны и ничего не знаешь», — просит Тема (горжусь этой игрой, сама приду-мала, оттачивает логику и речь ребенка). Лишь годам к шести Тема начал застревать в своей комнате на полчаса-час. А то все мотался за моей юбкой по квартире, перетаскивая вороха игрушек, точь-в-точь, как его мама в детстве. Ценим ли мы эту буквальную ПРИВЯЗАННОСТЬ малыша к нам, такую недолгую и такую дорогую? Не знаю, как другие, я долго не могла оценить. «Иди к себе», «не крутись под ногами» — кто из нас не говорит им эти убийственные слова? Быть рядом или просто ВИДЕТЬ нас — какая-то физическая потребность детей в нежном возрасте. (Вскоре она исчезнет, а лет в 14—15 вообще испарится, и тогда мы зато-скуем: где сын, дочь? почему не ищут встреч с нами? А ведь они всего-навсего отвечают нам тем же: «не мешай, не крутись под ногами».)

...Едва поставила точку, входит Тема с дивным вопросом: «Почему "гвардия" написана с маленькой буквы? Разве она — не жена Наполеона?» Спрашиваю, с чего он так решил. Читает мне «Воздушный корабль» Лермонтова:

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

Нежность пятилетнего мальчика поразительна (голос, мысли, манеры). Принесит мне небольшую коробку. Поднимает на меня глаза: «Из этой коробочки можно сделать остановочку, где вилипуты будут ждать автобуса, и дождь их не замочит». Откладываю работу, беру ножницы, будем делать «остановочку».

*«У детей те же чувства и мысли,
только в более мелком виде»*

Мы часто шепчемся перед сном. В эти полчаса ему удастся из потока событий выбрать главное и спросить о нем. Вот он, трехлетний, пробыл три дня в Филатовской больнице (съел неизвестную таблетку в гостях и не мог проснуться) и теперь часто вспоминает один эпизод: «А помнишь, как Тема сказал, что одеяло мокрое, а тетя ударила?» «У кого было мокрое одеяло, у тебя?» «Нет. У детеныша» (годовалая девочка лежала рядом с ним в палате). «А кого тетя ударила, тебя?» «Нет. Детеныша». Случай его озадачил. Малыш хотел сделать доброе дело,

показав тете мокрое одеяло у грудничка, а эта бешеная «тетя» (ясно представляю ее себе — наш любимый тип советского медперсонала) ударила человека с пухляшкой во рту. Уже который раз Тема требует у меня объяснения этого случая. «У нее горе было в тот день,— говорю,— щи прокисли». Но щей Тема не знает и потому, засыпая, снова вздыхает: «Я сказал, а она ударила».

Раз десять на ночь спели с ним «Катюшу». И вдруг вопрос: «Разве она может петь про степного орла? Она поет только мр-р, мр-р». «Почему это?» — не поняла я.— «Но ведь Котюша — это кошка! И от кого она может письма получать?» Какой, однако, странный у них мир, у детей! Ведь малыш не удивился, что кошка выходила на берег и заводила песню про того, которого любила. А письма его смутили. Вдруг осознаешь, что ребенок ничего не знает. И прямо с колобка, лисы и лубяной избушки начинает вникать. И сколько всего услышит до школы, с тем и войдет в нее.

Вот он, пятилетний, входит ко мне, обхватив голову руками: «Я уже понял, как корова дает молоко. Знаю, как овца дает шерсть. Понял, как куры несут яйца. Но как свинья мясо-то дает?!..» Нам смешно, а ребенок мучается.

Никто не снял документального фильма (скрытой камерой), как страстно малыш просит учебы и работы: «Учи меня делать зарядку», «Держи гвоздь, я буду прибивать», «Можно, я буду фарш жамкать?», «Хочу сырники катать», «Давай расставлять шахматки»... В шахматы он пока не играет, но выспрашивает, что едят кони и король с королевой и как они спят, стоя или на боку. Но кто из нас выдержит такую игру? Вот мы и смываемся под разными предлогами...

Кроме участия в его жизни, ребенок требует уважения к себе. Он уверен, что ничем от других не отличается, мы же (недоумки) лет до двадцати считаем его «несерьезным» членом семьи.

Вот Тема вылетает из комнаты своей мамы (там гости): «Ну ты подумай, опять меня выгнали! Форточка не открыта, не накурено, ну ни-че-го!!! А все равно выгнали...» (он назвал причины, по которым его обычно выдворяют). Утешаю его, зову играть, но полчаска спустя иду звонить по телефону (якобы), лишь бы перевести дух от слишком «мелочной» для меня игры (а что, кроме лени, мешает мне «укрупнить» ее?).

Мама выгнала Тему, а я помню, как она сама так же вылетала из комнаты брата, где сидели его одноклассники. «Меня зовут Лена, а они меня называют Кыш!» — удивленно сказала она и снова рвалась туда, а они ей снова: «Кыш!»

Однажды я высмеяла ее, пятилетнюю (не помню повода), она ушла в слезах. А вернувшись, строго сказала: «У детей те же чувства и мысли». Я обняла ее, и она добавила примирительно: «Только в более мелком виде».

Это верно и неверно. По душевной щедрости дети будут «покручнее» нас с вами. Они долго не верят в обиду, а поверив, тут же готовы простить.

Медики уже лет сто исследуют детские ночные кошмары, но их выводы пока не стали нашим с вами достоянием. Мы просто бежим на плач ребенка ночью, чтобы погладить его. Дочери я помогла тем, что усадила ее, четырехлетнюю, за пишущую машинку (кстати, хорошая учебная игрушка!): «Запиши свой сон, и он не вернется». Вот один из них, записанный пятилетней Леной: «Я памагала дедушки в саду паткапават яблонку. яблонка дала мне перчатки и лопатку. а ветки вдрук наклонилис и атнали у мина перчатки и лопатку. а я говарю а вы одайте вит ваша мама яблонка мне дала. а они не дают и машут и машут. и я стала рыт землю руками без этава...» Разве не страшно — живые ветки отняли у тебя перчатки и машут ими?

И вот Тема плачет по ночам, когда шмель, ростом с него, влетает и кружит над ним, хватая за руку... Ужас. «Я весь запутался в паутине и бился», — всхлипывает он другой ночью. Или так: «Апельсин ростом с эту комнату, я вошел в него, а там нитки... Я их обрывал, обрывал и заматался в них».

Детей мутит от одиночества. Причем родня, которая обожает ребенка, не в счет. У них особое, глубинное одиночество. Мама надолго уезжала, но скоро будет. Тема мается: «Сколько еще осталось? Три дня?» Ходит и — сам себе: «Куда бы мне эти три дня ДЕВАТЬ?» То есть ощущает себя Божеством, способным двигать Время, но почему-то любой гость главнее него, якобы любимого. Мы делаем большие глаза: «Не мешай!»

Сима Соловейчик говорил мне: «Если твой шеф придет к тебе в гости и прольет чай, ты скажешь, чтобы он не беспокоился, „такие пустяки!“, и быстро вытрешь лужу. А если это сделает ребенок, мы вспоминаем слона в посудной лавке». Дискриминация! Не замечаемая нами, подсознательная. То же и с игрой. Для ребенка она — жизнь, работа, деятельность, для нас — досадная помеха нашим так называемым «делам».

«Я буду летать вокруг твоей стекла»

Трехлетний Тема продолжает искать сравнения. Сидит в кухне, обводит ее глазами: «Нея, ты — чашка. Ты — блюдце. Ты (слушает шум за окном) — едущая машина. Ты — блестящая кастрюля». Смотрит на мусорное ведро. Я хочу его отвлечь, но не успеваю: «Ты — мусор, Нея».

Разные гости спрашивают одно и то же: кем будешь? Ребенок начисто не понимает, зачем ему быть «кем-то». ОН ЕСТЬ, но нам этого мало, и мы вечно толкуем о каком-то туманном будущем. Скоро дитя привыкает отвечать, как надо (по подсказкам): «Космонавтом», — гости сияют, «Пожарным», — гости хохочут. Игра такая у взрослых.

Но вот Тема входит ко мне утром, и лицо у него тревожное: «Ладно, я буду космонавтом. Но буду летать вокруг твоей стекла!» — показывает за окно. Я поняла его: он не хочет в космос, но раз взрослые требуют... «Ты откроешь мне окно, и я к тебе влечу», — продолжает он. «Тогда ты не космонавт, а шмель», — говорю я. Заглядывает мне в глаза: «Нея, ну можно, я буду шмель?» «Ладно, — обнимаю его. — Шмель в желтой куртке и бархатных штанах». Он облегченно вздыхает.

Откуда дети хватают слова, не всегда и поймешь. Вот идем мимо памятника Пушкину (нашего любимого; Тема с ним всегда здоровается; однажды спросил: «А шляпа у него настоящая? Или тоже каменная?»), а там анпиловцы бузят. Тема задумчиво смотрит на них, вдруг спрашивает: «Это повстанцы?» Откуда взял слово, ума не приложу. В другой раз перед нами шел хмельной мужчина, ноги заплетаются, вот-вот упадет. «Это повстанец?» — спросил Тема. Так и осталось загадкой для меня, по каким признакам он определяет этот тип людей.

Их утренние фразы — особая тема. Дети не замечают ночи, и, если, засыпая вчера, Тема спросил, что ест мышь, кроме сыра, то сегодня утром слышу: «А чего нельзя есть МЫшам?» Будто не прошло десяти часов между этими двумя вопросами...

«Люди раньше были обезьянами? А ты... была?»

Четырехлетний Тема бродит по комнате, что-то ищет: «Это дедушка Крылов?» — показывает на статуэтку Будды. Обсмеянный мною, продолжает поиски: «Ну уж это точно дедушка Крылов!» — показывает на фарфорового крас-

ноармейца в буденовке и с ружьем (на спине у него карандашница). Он думает, раз Пушкин везде в доме попадаетея и вон на площади стоит, то и Крылов где-то под рукой. Повела его на Патриаршие пруды к памятнику. Из басен он сразу полюбил ту, где Мартышка перед зеркалом спрашивает Медведя: «Что это там за рожа?» Слово «рожа» привело его в восторг: оно казалось ему не самым лучшим, а тут — нате вам, дедушка Крылов разрешает...

Предложила ему загадку: «Зимой и летом одним цветом». Глубоко задумался, ищет ответ «с нуля», так как раньше эту загадку не слышал. Отвечает твердо: «Муха». Мне нечего возразить. Пробую еще: «Не лает, не кусает, в дом не пускает». Серьезно думает и твердо отвечает: «Человек». И тут я отвлеклась и бросила игру. И забыла о ней. А теперь нашла в дневнике и жалею: какое словотворчество потеряно! Мало и скудно мы «раскручиваем» детей на то, чтобы думали глубоко, мысли выражали смело, не боялись, не стеснялись.

Кстати вспомнила, как мою шестилетнюю дочь на полчаса привели ко мне на работу. Она долго смотрела на карту мира. Потом что-то написала на листке. А когда ее увели, я прочла: «ПАЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА НЕ БЫВАЕТ ВНУЖДЕННОЙ». Дома спрашиваю дочь, что это значит. Говорит, что карта на стене «та же самая, что на глобусе, она не внужденая». Осторожно выясняю значение последнего слова. Дочь сердится: «Ну вы с папой внуждено отчисляете задумчивые факты, а карта везде — одна и та же». Я оторопела: «Что мы с папой делаем?» Повторила: «Отчисляете задумчивые факты». Лишь на другой день я догадалась попросить ее при мне «отчислить задумчивый факт». Дочь берет листок, пишет цифру «1», смотрит в потолок, потом быстро калякает что-то. Ставит цифру «2», смотрит в потолок... Я догадалась: «Это мы планы составляем? Чтобы не забыть?» «Ну да, — говорит, — папа отчисляет позвонить бабушке и в театр, а ты еду отчисляешь». Ах, умница, она же видит, что мы «задумчиво» пишем цифры («отчисляем»)... Но что значит «внуждено»? Делаю еще два-три захода, чтобы понять: мы пишем «что хотим», то есть «внуждено» (ее собственный термин). А карта не зависит от нашей прихоти, все страны на тех же местах, что на глобусе, что на стене. Ничего себе масштаб детской мысли!

Теперь вот ее сын Тема распутывает Время и себя в нем: «Люди раньше были обезьянами? А ты... была?»

Протягивает мне новую зубную щетку в прозрачной упаковке: «Покажи, где у нее юг и север!» Он замучился искать их в доме.

Зашли в музей восковых фигур. Думала, ребенок будет в восторге от «больших кукол». Но вышло что-то странное. Тема смотрел долго и молча, всех обошел, ничего не спросил, когда я объясняла, кто есть кто. Сам потянул меня за руку на выход. Дома — ни слова о них. Обычно его голосок звенит про всякую мелочь с прогулки: «Помнишь, я кинул хлеб голубю? А воробей украл, а голубь не рассердился. Почему голуби не сердятся, почему?!» А тут — какой воробей! Монстров видели! А он молчит... Долго думала об этой его реакции. Поняла вот что. Восковые копии, как мертвецы, противопоказаны детям. Они разрушают, гасят их фантазию. Если это не куклы и не люди, то кто, что? И ЗАЧЕМ? Просто рассказываешь про Петра — у Темы жадные глаза. Он знает Гагарина и Высоцкого, он многих знает из этого музея. Но «эти» не такие, как у него в памяти, в сознании. Об этих нечего «думать». Молчок. Душа затворена... Нечто похожее случилось, когда я впервые повела дочь в театр Образцова. Она расплакалась: «Я думала, здесь настоящие куклы играют, неживые, а эти ненастоящие, живые!» У меня, помню, ум за разум зашел: кто живой-неживой. Но больше мне не удалось затащить дочь в этот театр. И вот ее сына не решаюсь повести, боюсь чего-то...

**«Я бы хотел иметь шершавые руки:
можно брать мелкие вещи»**

У меня болит зуб. Четырехлетний Тема никогда не слышал стонов и потому с испугом смотрит на меня, гладит по руке. Приняв таблетку, засыпаю на полчаса. Открываю глаза — он так же стоит надо мной с тревогой на лице. «Все,— говорю,— таблетка помогла». Личико его озаряется счастьем: «Ты выпил таблетку? Чужую? От комаров?» Всю тираду произносит без пауз и очень радостно. Смысл такой: я часто пугаю его, что нельзя даже в руки брать чужие таблетки (у деда аптека в ящике стола, у родни снотворные открыто лежат), они могут быть «от комаров», то есть не для людей и т. д. И вот у него смешалось все это в кучу. Но такого сердечного участия, какое проявил ко мне крохотный мальчик, я не видела за всю жизнь. Час или больше простоял надо мной не шелохнувшись. В такие моменты тебе открывается, что дитя — не только радость твоя, но и опора, ближайший и дорогой друг.

Собираемся гулять (самый кошмар для меня; захламненные дворы и бульвары невыносимы; халтурщики дерут с ДЭЗов сотни миллионов за однообразный набор деревянных лис и медведей возле теремка; немедленно вечерние подростки крушат это все, а теремки загаживают; с завистью наблюдала из окна в Стокгольме, как дворник из шланга моет по вечерам автопокрышки, из которых сложены «стенки» и крепости для детской игры, и еще пять покрышек свисают на цепях с высоких столбов — упадет ребенок с таких качелей, не страшно, а главное, все дешево и чисто). Тема смотрит в окно, там сыплет и сыплет снег. Говорит грустно: «Так я и прожил...» Снег идет уже третий день, а он ни разу не гулял (температура) — вот что имеется в виду. Когда вышли из подъезда, вздохнул: «Ох, вот оно...» Выразил такое глубокое чувство, что я впервые осознала, ЧТО это слово — «улица» — значит для детей. Комната — клетка, улица — мир с небом над головой. Но надо же как-то очистить этот «детский мир»...

«Почему ты шоколад не любишь?» — спросил Тема. Отвечаю, что у меня от него руки становятся шершавыми. «Ну и что? — удивился Тема.— Я бы хотел иметь шершавые руки: можно брать разные мелкие вещи...» Сказал с мечтательным вздохом.

«А как природа сделала слесаря?»

У каждого ребенка своя врожденная манера строить фразу. Его так не учили, он сам так делает. Тема говорит, как новозеландский абориген из племени маори, повторяя в конце ключевое слово: «Дай мне воду, Нея. Воду»; «Смотри, улитка ползет. Улитка»; «Возьмем самолет гулять. Самолет». Если же просит предмет, то опишет его, как чукча: «Дай мне желтую рубашку, которую Света сшила, где Слава и Саша тоже были». То есть когда наша родственница шила, то ее муж и сын были в той же комнате. Способ строить фразу имеет какое-то значение, не расшифрованное пока психологами. В будущем они по этому признаку определяют тип развития человека.

Пришел ко мне в половине седьмого утра сонный, в длинной рубашке, очень живописный: «Пойдем ко мне спать. Я не могу один». Сказал с такой мукой в голосе, что беру подушку и иду за ним, но ворчу: «Разве можно будить людей? Если я не усну больше, то ты будешь виноват». Через час открываю глаза и встречаю блестящий взгляд и нежный вопрос: «Не мешав?» (Мальш лежал, вжавшись в стенку своей кровати, и следил за мной, как бы не потревожить, и теперь спрашивает, не мешал ли он мне.)

Влетает ко мне в комнату: «Знаешь, что такое человек?» Почему-то отвечаю: «Нет». «Это друг человека!» Сажу в замешательстве, не знаю, как распу-

тать клубок из слов. Поясняет: «Ну каждый человек — чей-нибудь друг. Поняла?» Говорю, что поняла, хотя и не очень.

Ни с того ни с сего вошел и обозвал меня: «Знаешь, ты кто? Ты — контрольщик!» И ушел. Он со страшной скоростью играет на компьютере, и там есть такая команда — «выход из игры». Мечтаю что-нибудь отвинтить в компьютере, чтобы ребенок очнулся и занялся своими игрушками. Поломка — веская причина, иначе за уши не оттащишь. Эта беда настигла многие семьи. С одной стороны, удобно: ребенок и здесь, и его нет, не мешает, не носится, ничем не гремит, сидит себе... И сами игры что-то в нем развивают. С другой стороны — облучение. И еще привычка к «дурной бесконечности» меня тревожит. Сотню препятствий преодолевает герой игры с помощью клавиш, которые сто раз нажимает Тема. И еще сотню. И еще многие-многие тысячи раз... герои разные... но похожие бездны... лабиринты... выбор оружия... закрытые двери... гильотины... космические чудовища... монстры. Нет, не хочу. Наверное, мои чувства похожи на ужас перед поездом в прошлом веке. И в будущем найдут защиту от радиации и вмонтируют компьютер уже в погремушку грудничкам — они будут лежать тихо и тарашить глаза на экран. Возможно, но я пока не хочу, мне нужно видеть глаза ребенка и слышать его дивные вопросы.

И все же год игры (с четырех до пяти лет) дал ему что-то. Вот сочиняет вслух сказку, где герои ведут воздушный бой. «И кто победит?» — спрашиваю. «Никто, — отвечает удивленно, — ведь можно переходить на другие уровни!» В другой раз хотела его наказать и уйду в магазин одна. Он грустно смотрит, как я одеваюсь, и говорит: «А запасная жизнь?» Обнимаю его и беру с собой. (Кто не понял, объясняю: когда герой игры уже четыре — шесть — двенадцать раз погиб, то в уголке экрана загорается огонек «запасной жизни» и, значит, можно еще набрать очки и победить...)

Поем с ним песенку с припевом по-французски: «Ке сера, сера...» («Кто знает, что будет? Будущее нельзя увидеть...») Вдруг обрывает песню: «А я знаю свое будущее. В этом доме, в этой квартире буду жить. И жена найдется. Таню возьму из нижней квартиры...» Возражаю, что Таня диплом защитила в институте и вряд ли дождется его. Ушел грустный. Девочки стали волновать его лет с пяти. Но не ровесницы, а этак лет с тринадцати до чуть за двадцать.

Вывзвали слесаря. Притащился дядя во хмелю (хотя было раннее утро). Долго возился с краном, материл его вслух, но починить не сумел. Ушел. Молча подтираем с Темой следы от его сапог. Вдруг тихий вопрос: «А как природа сделала слесаря?» Отвечаю: «В понедельник. После вчерашнего». Теперь придется долго, но уклончиво толковать Теме эту формулу.

«Давай ты будешь змея, а я буду твоими друзьями»

Лет до четырех он не ловил юмора, кроме явного. Хотя метафору услышал рано. Но и здесь были ошибки. Прошу его «потрудиться» над рисунком — вдруг решительно: «Нет, не хочу! Боюсь превратиться... в бабочку». Распутываю его испуг и узнаю, что на экране она с трудом выпрастывала свои крылышки из кокона, и голос за кадром сказал: «Надо немало потрудиться, чтобы стать бабочкой». Малыш понял буквально. Осторожно спрашиваю: «Ты не помнишь, КОМУ надо было потрудиться?» Думает, лицо озаряется: «Гусенице?» «Ну да! А мальчику надо потрудиться, чтобы стать мужчиной». Вздыхает с облегчением: «Ладно, буду мушкетер. Давай рисовать».

Но до чего добр, сколько в нем сострадания! Ухватил с экрана, что змею никто не любит, бежит ко мне: «Давай ты будешь змея, а я буду твоими друзьями». Раньше уже предлагал мне дружбу навеки, как мухе, как божьей коровке

(по Фабру, она оказалась хищником, убивающим все живое на пути), — если кого не любят, вот он, Тема, он пожалеет.

В пять лет пришел ко мне с длинным монологом: «Я принял решение. Я не буду диспетчером самолетов — они же падают. И моряком не буду — корабли тонут. И дрессировщиком не буду — змея может укусить, она ведь не знает, что я дрессировщик. Я вообще НИКЕМ не буду. Буду чай пить. И гулять. С лопаткой и ведерком». «А директором зоопарка?» — подкидываю идею. Думает: «Директором? Да, буду. Только в клетки заходить не буду». «А врачом?» «Нет. Можно нечаянно уколотся». Вдруг его осеняет: «Могу детям кассеты "Денди" продавать! На Петровке. И ты тоже будешь продавать. Да, за руку будем ходить на работу. Почему? Потому что я ВСЕГДА ХОЧУ БЫТЬ С ТОБОЙ. Я ОДИН НЕ МОГУ. Нет, ты можешь выйти в другую комнату, но СРАЗУ ВЕРНИСЬ». Что ж, нашего мальчика не назовешь бесшабашным, он от рождения осторожен (мягко говоря). Вот оно, ключевое слово — «от рождения»...

Было время, я вела дискуссию в газете: можно ли воспитать в ребенке нужный набор качеств («нужный» ему, мне и обществу). Получила и прочла тысячи писем (изумительных!) на эту тему. Итог дискуссии (она шла полтора года): СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА. То есть, конечно, «укрепить», «развить» врожденные достоинства можно, как и «подавить» пороки. Но, во-первых, диким трудом! Вот этого люди не осознают, каким бешеным усилием можно исправить природу. Думают: так, слегка, тычком и нотацией... Во-вторых, мало кто задается вопросом: ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК родился? Кто он по типу — твой ребенок? Говорят: в беспутного деда, в жадную тетку... И бьют-ломают, чтоб был «в отца». А «тетка», хоть на голову встань, не способна переделаться «в отца». Только и запомнит из детства, что бранили ежечасно. Приведу три любимые фразы из мешка писем. «Нас одиннадцать детей было, все хорошие, и только Сенька — седьмой по счету — вор и задира, и если слышим шум за окном, значит, Сеньку за ухо ведут». Из этой семьи все в люди вышли, а Сенька — в тюрьму. Хотя «учили» его всем миром. Другой о себе пишет так: «Дочь принесла мне внука и внучку, и нежность застилает мне глаза; говорят, я их балую, но что я могу поделать с этим божеством?» Это — голос от нашего имени, от большинства: любим — и все. А третьей фразой я подвела итог дискуссии: «Хорошо, что наше влияние на детей ограничено; было бы несчастье, если бы ребенок становился тем, кем мы его задумали: осторожным, благополучным,.. скучным; в обществе исчезли бы дрожжи».

Мы учимся друг от друга. Помню, этот финальный вздох надоумил меня присматриваться к ребенку: кто он, какой... Да еще где-то прочла: ДЕТИ — ЛЮДИ ИЗ БУДУЩЕГО, а нам лишь повезло побыть возле них в начале их жизни. Не более того.

Играли втроем в настольную игру «Шанс» (путешествие по карте). С нами был Резо, семи лет. Резо спросил, можно ли купить турчанку в парандже. Я сказала, да, но ей нужен билет на самолет за три тысячи гульденов. Резо тут же выбросил ее в море (как Стенька Разин). Он вообще точно рассчитывал самый дешевый путь к цели и на верблюде обгонял пятилетнего Тему, который летел самолетом. На другой день Тема пришел ко мне в обнимку с этой игрой: «Давай играть. Я хочу купить ту тетю, которую Резо выбросил...» Негордый такой малыш. «Купив» тетю, он щедро возил ее по всему миру теплоходом и самолетом, не обращая внимания, что я обыгрываю его. «Компания» была ему дороже. Что это, как не характер?

Научился врать, но дважды подряд еще не может. Разрешила ему съесть три лимонные дольки. Вздыхает: «Съел». «Сколько?» «Три». Смотрит в пол. Я задаю подлый вопрос: «Ровно три?» Ответ без паузы: «Неровно». «А ровно сколько?» Поднимает на меня честные глаза: «Ровно пять».

«Я — счастливый»

Лет в пять у моей дочери начались заскоки в филологию: «Вот ты сказала, что "сто раз" меня просила, а сама просила только два раза. Это синекдоха?» — «Нет,— говорю,— гипербола, а синекдоха — когда я тебя зову "моя кудрявая головка"». Я не начинала эту игру (мне бы в голову не пришло), а ребенок сам начал: «Почему так говорят... А почему так написано?»

И вот теперь ее пятилетний сын — по второму кругу — влетает ко мне: «Смотри! Я тебе "мешаю". И вот я "мешаю" ложкой в стакане. Почему так?» Отвечаю покорно: «Это омонимы: слово одно, а смысл разный». Уходит счастливый. Вскоре бежит: «Лиса говорит вороне, какой у нее носок, и вот у меня на ноге носок». Поздравила его с новым омонимом. Перед сном спросил, что такое «планировать». Напомнила, что мы с ним план составляем на день. «И какой же у него план?» — показывает на потолок. Я не понимаю. «Ну ты сказала, что комара надо спылесосить, а то он на меня "спланирует"». Молодец, говорю, поймай омоним.

И пошло-поехало! «Смотри: "Я лучше тебя играю на компьютере" и "Я лучше тебя" — это ведь не одно и то же?» Я изумилась: отделил наречие от глагольной формы. Но самый чудный подарок он сделал мне в следующем диалоге. Из соседней комнаты спрашивает, что я делаю. «Смотрю по телевизору...» — не договариваю. «Чего-о-о?» — кричит Тема. Я молчу. Снова: «Чего-о-о?» Вдруг вбегает ко мне, сияя лицом: «Омоним! Вот кто-то зовет: "Петька-а!" Он отвечает: "Чего-о?" И вот ты не сказала, что смотришь, а я спрашиваю: "Чего-о?"» Господи, уловил еле заметную разницу между вопросительным словом и местоимением в винительном падеже...

И тут же говорит, как малыш: «Почему у принцессы такое имя — Сякая?» — «Откуда ты взял?» — «Из кассеты про бременских музыкантов. Король поет: "Такая Сякая сбежала из дворца, такая Сякая покинула отца..."»

Однажды в пятилетнем ребенке просыпается артист. Тема вдруг заговорил странным голосом: «Не смей меня спрашивать по технике! Я не знаю, как эти ко-ле-са кре-пить к твоей ма-ши-не. Я кто, по-твоему? Я — жен-щи-на! И унеси с моего стола танки! Повернись ко мне, когда я к тебе обращаюсь». С последней фразой кладет мне руку на плечо. Боже, это он меня копирует! «А ну, покажи маму», — прошу его. Вышло еще точнее: «Чего тебе, мое солнце? Мой дорогой. Моя радость. Ладно, все. Я занята. У-у-уйди отсюда».

Но надо как-то живопись давать. Решила так: рисунки и эскизы его деда — на стены, чтобы он их рассмотрел в подробностях, впитал. Но, кроме того (сама придумала — какой толк, не знаю), низко над кроватью прикрепляю одну репродукцию, фрагмент из классики, чтобы, проснувшись, ребенок прямо в композицию и упирался взглядом. Через месяц меняю картинку, молча, ничего не объясняя. В итоге к пяти-шести годам ребенок «насмотрелся» много чего хорошего: Леонардо был, Микеланджело, Рембрандт, Тициан, русская икона и многое другое.

Научился подолгу смотреть, что там и как изображено. Думаю про себя, кого же он попросит вернуть. Долго никого не просил, будто забывая вчерашнюю картинку и начиная жить с новой перед глазами. Вдруг однажды: «А где та?» Это был Питер Брейгель. Почему именно он, не знаю. Множество народа во дворе, на катке, на траве заморозили ребенка, что-то адекватное детскому сознанию здесь было. Принесла ему много Брейгеля, говорили о нем.

Однажды предложила шестилетнему Теме и его восьмилетнему приятелю Сереже выбрать одну из двух красавиц на репродукциях. Тема тотчас выбрал Тропинина, Сережа — Матисса (и очень удивился выбору Темы). На другой день

даю Теме россыпь разных красавиц. Отверг Тропинина в пользу Брюллова (княгиня Голицына). Прошу объяснить. Оказалось, что лицо дамы его не интересует, но в богатое белое платье он просто впился глазами. Вторым номером выбрал Модильяни — портрет Ахматовой. Увидев Матисса, сказал небрежно: «А это отдай Сереже». А я-то заподозрила, что примкнет к другу. Ничего здесь не могу объяснить. Заметила лишь, что так называемые «вкусы» в живописи у детей безоговорочные: «Вот это — мое! А то мне не надо!»

Кладу перед Темой десять великолепных по качеству репродукций картин Дмитрия Краснопевцева. Прошу выбрать лучшую. Выбрал «Натюрморт с картиной фламандского мастера», где пять шестых полотна занимает копия именно «фламандского мастера» (битая дичь, левретка, фрукты), а к ней автор приставил серебряную посуду и разрезанный гранат, то есть дополнил натюрморт. Собственные авторские композиции (коровьи черепа, мятая бумага, сухие букеты, раковины — формы, из которых утекла жизнь) Тема оставил без внимания. Они его пока страшат.

Он родился оптимистом и — мне странно это — вполне осознает себя в этом качестве. В семь лет он будет сидеть перед психологом и искать в таблице «Кто я?» свою характеристику. Там будет много разных вариантов: умный, красивый, смелый, добрый... — но Тема будет искать что-то другое. «Тебе помочь?» — спросит эксперт. «Меня здесь нет», — грустно скажет Тема. Они станут искать вместе. «Вот он я!» — вдруг обрадуется Тема и укажет на слово «счастливый». Психолог удивится: «Ни разу за всю мою практику дети не искали именно это слово...»

«Пожалуй, я не всегда бываю неправ»

У Темы была уникальная няня: звали Катя, высокая (180 см), с косой, знает компьютер и английский. Почему пошла в няни? У нее два мелких недостатка: не выговаривает половину алфавита и часов не наблюдает. Ждешь ее утром, является в обед, зато потом не выгонишь до ночи. А так — милейшая особа. Свозив Тему в Юрмалу, она так отозвалась о ребенке: «Я пьзнатейна Теме за то, что он веикоепный спутник. Спит на юках (руках), на явке (лавке) — и никаких капризов». На долю Кати и выпало учить Тему говорить — как в фильме, где Ролан Быков играет логопеда. В итоге Тема до шести лет звал няню «Нея», прабабушку Римму — «Йима», маму — «Ена», хотя в других словах прекрасно выговаривал «ле» и «ля»; он как бы нутром запомнил, что «можно» говорить, как Катя. Зато она читала ему много стихов. Ему не было трех лет, когда однажды он покачнулся в ванне на доске и сказал с испугу: «Дузья мои, пьекьясен наш союз».

Этот случай напомнил мне мое собственное открытие в воспитании дочери (слово «открытие» пишу вольно; наверное, оно есть в педагогических трудах; но я не читала самих трудов). Вспомнила известный совет, что надо младенцам давать слушать классическую музыку — просто так, без близко лежащей цели, не ожидая побед. Соображаю: а почему не стихи (просто так, без цели и ожиданий)? Разве стихи — не музыка? Вхожу утром в детскую и вместо приветов говорю как бы сама себе: «Когда б не смутное влеченье чего-то жаждущей души, я здесь остался б — наслажденье вкушать в неведомой тиши...» И лишь после этого — привет, потягушечки и прочее. Трудов было немного: всего-то четыре—восемь строк посмотреть у классиков перед тем, как войти к ребенку.

Неделю дитя встречало мою увертюру с удивлением. На восьмое утро вхожу и вижу блестящие от любопытства глаза. Это и была моя цель: услышала. И по сей день помню свою радость, когда пятилетняя дочь прибежала с книжкой: «Смотри, как...» Что именно «как», она не могла выразить, а начала читать: «Ужель к цветам на небеса я буду вознесен, когда по морю крови плыть мой ближний обречен?» Я вздохнула с облегчением: отныне мы могли объясняться,

как заговорщики, ушибленные хорошими стихами. Впоследствии дочь читала поэмы наизусть, но это уже другая история.

А тут, спасибо Кате, я вспомнила забытое. И еще раз проверила на Теме свой «приемчик». «Крылышка у золотописьмом тончайших жил,— говорю, входя к нему утром,— кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер...» Но Тема — другой человек и не стал гадать неделю (как его мама), что бы это значило: «Нея, Нея, кого уложил кузнечик? Еще говори эту песенку!» Час спустя он знал наизусть своего первого Хлебникова. Потом было много Пушкина (полюбил «Когда владыка ассирийский...»), потом Заболоцкий (очень хорошо идет!), Мандельштам (быстро стал любимым). Пробовали Есенина, не пошел, пятилетнему ребенку надо знать, «про что» стихи, а у Есенина — одно «чувство» (вернулись к нему в семь лет, набрали кое-что, особенно из «Пугачева»), Блок и Пастернак тоже слишком чувственны и абстрактны для детского слуха (вернемся позже), Лермонтов — как раз впору, Некрасов пока скучноват. Но я ведь не о поэтах говорю, а о ФРАГМЕНТАХ поэзии (не более двух строк в день, иногда — в неделю), которыми есть смысл «кормить и поить» ребенка, как витаминами. Это просто показ ему другого способа изъясняться.

Результаты (не знаю, глобальные или поверхностные; думаю, никто этого не знает) сказались быстро: речь ребенка обогатилась и зазвучала для меня музыкой. Сперва это были простые обороты для связи: «Я имел в виду другое...», «Что бы ты ни говорила...», «И все же я думаю, что...». К четырем годам мальчик легко усвоил устойчивые сочетания слов. Смотрим в окно — там дождь. Тема с завистью: «Мне нельзя гулять, а машинам, естественно, можно». На один мой жест рассердился: «Что за манеру ты себе взяла?!» Или так: «Пожалуй, я не всегда бываю неправ».

Не выдаю это за победу, но просто речь ребенка обретает иное качество, выходит на новые уровни, общаться с ним становится интереснее. Особенно когда он без усилий вплетает в свою речь слово поэта. Увидел на бульваре щенка пуделя, говорит мне: «С большими усами. Кусава...» (это из «Бабочки» Мандельштама). Надел куртку себе на голову, смотрится в зеркало: «Ушла с головою в бурнус...» (оттуда же). Быстро перешел арку, откуда могла выехать машина, кричит мне (из той же книжки): «Фиалковый пролет газель перебежала!» Ворона зависла на секунду перед нашим окном, проверяет, не готова ли я выложить ей на карниз корку сыра, и пошла кружить. Тема приник к стеклу, бубнит: «Вращая круглым глазом из-под век, летит внизу большая птица, в ее движениях чувствуется человек...» (это из «Осени» Заболоцкого. Кстати, не понимаю, почему такую роскошь не включают в самые младшие хрестоматии. Уже XXI век на носу, иные скорости, а дети, как и сто лет назад, все учат Никитина и Кольцова).

Иногда меня с пафосом спрашивают, зачем забивать голову ребенку, есть же «детские стихи»! Есть, но это голодный паек. Маршака (переводы с английского) хватает на месяц. Барто и Михалкова не надо. Чуковский выучен до трех лет. А дальше-то что?

«Сто и сто будет двести. Это хорошо или плохо?»

Мы окунулись с ним в математику. У него оказалось конкретное мышление. Читаю задачу: «В комнату внесли три стула, потом еще пять...» «Кто? Кто внес?» — Тема спрашивает это, снисходительно смеясь, как бы уличая меня в том, что не сказала главного: КТО и ЗА ЧЕМ это сделал.

Никак не поймет, что математика — холодный, строгий мир, который от нас не зависит. Даю задачу: «У Кати была корзина яблок...» Изумляется: «Корзина? Откуда? У ее бабушки, что ли, сад?» Прошу не обращать внимания на Ка-

тью и ее семью, а только считать. Не понимает! Девочка — это так важно, а сколько яблок у нее выпало из корзины — такие пустяки!

Посчитал, хочет меня обрадовать: «Двадцать и двадцать — сорок». Я киваю: «Молодец». Глубоко задумался. «У нас с тобой — сорок, а у Лены — тоже сорок? А у Гали?» Господи, кому, кроме малыша, придет в голову, что числа ведут себя по-разному в зависимости от хозяина? Впрочем, идея мне понравилась: жулик сложил миллион с миллионом, а у него в кармане — ноль. Но это фантазии, а ребенок столкнулся с непостижимым: что-то есть в мире «чужое», независимое...

Тема размотал рулетку до конца, увидел последнюю цифру: «Знаешь, сколько У ТЕБЯ на рулетке? Двести!» Смотрит на меня, чего-то ждет. Я никак не реагирую. Удивленный вопрос: «ТЫ РАДА?...» Не знаю, как ответить: «Я счастлива» или «Мне безразлично»? Но в своей маленькой жизни он еще не слышал от меня этого слова! Мир кругом ОКРАШЕН, вещи, слова и поступки — «хорошие» или «плохие», это вызывает чувства, и вдруг — «безразлично». Ребенку страшно, он ищет мой взгляд. А я отвожу глаза...

Тема умоляет взять его хотя бы в магазин, раз нельзя гулять (простужен). «Это преступление вести тебя, больного, на улицу в такую погоду», — говорю я. Вопрос с интересом: «А что если вести на улицу больного и безглазого мальчика?» — «Это двойное преступление». — «Нет, тройное! Я же сказал, у него нет двух глаз и он еще больной».

Входит с большой коробкой фломастеров. Берет по одному: «Это красный цвет?» — «Нет, малиновый». — «А это красный?» — «Розовый». — «А это красный?» — «Темно-розовый». — «Это синий?» — «Нет, сиреневый». — «А это синий?» — «Фиолетовый». У Темы опускаются руки. Перебирает фломастеры. Серdito: «Что, цвет никогда... не кончается? Как и числа?»

Последнюю попытку «окрасить» числа сделал рано утром. Вошел ко мне и сурово спросил: «Сто и сто будет двести. Скажи наконец, ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?» Отвечаю бездушной фразой: «Это ни хорошо, ни плохо, это — ТАК. Это — как небо наверху, как мороз на улице...» Ушел грустный.

«Бог понимает по-английски?»

Маленькая дочь спросила меня, зачем нужен дождь. Отвечаю первое, что пришло в голову: поливать пшеницу. Следующий вопрос, растет ли в Москве пшеница. Нет? «Зачем же у нас-то дождь идет? Зачем он нам-то нужен? Пусть он там идет, где пшеница!» Она говорит это, стоя на стуле у окна и глядя на дождь. Начинаю с нуля: листва, воздух, озон... Заодно читаю ей Пушкина: «Зачем крутится ветр в овраге, Подъемлет лист и пыль несет, Когда корабль в недвижной влаге Его дыханья жадно ждет...» Не поняла. Рисую кораблик с обвисшими парусами и «ветр», который крутится не там, где надо. Поняла. Запомнила. Читала, смешно подняв руки и глядя вверх: «Подъемлет пыль».

И вот теперь ее пятилетний сын приступает ко мне: кто небо «поставил», дождь — «тот же самый», что вчера был, или «новый»? Господи, думаю, что они одно и то же спрашивают? Хоть бы запоминали еще в утробе все, что знает мама. Но вот, вижу, Тема — более «основательный», чем его мама. Роем глубже: «Когда женщина на Земле была одна-одна, то из кого она родилась?» Смеется: «Из песка, что ли?»

Осторожно начинаю с ним тему Создателя. Но его мыслишки пока не идут «вверх», а больше «вглубь». Такое впечатление, что, играя в свое «Лего», он по-

стоянно думает о вечном (как мальчик Кай в «Снежной королеве»). Приходит ко мне со швейной иглой в руке: «Что такое иголка для квАсков?» Не сразу догадалась: «Для кварков?» (Как-то сказала ему, что есть частицы, которых никто не видел, но они точно есть. Он был поражен. Пришел через час: «И ты не видела?» С тех пор часто спрашивает о них.) Отвечает: «Иголка для них — целый космос». Смотрит в окно: «Если иголка для них — космос, что же такое для них наш космос?» После паузы: «Это тридцать семь космосов». Уходит.

Молча ест свою кашу, вздыхает: «А вдруг ты и я, и эта посуда, и весь мир за окном — это пылинка на рукаве у великана? Или... у Бога?»

Влетает ко мне пулей: «Бог понимает по-английски?» Самое забавное в малыше — нестыковка формы и содержания. Ну почему, например, надо давать философские вопросы, влетая в комнату запыхавшись (а не сидя в кресле, глядя в потолок)? «Да,— отвечаю,— Бог понимает все языки. Ты же знаешь историю с Вавилонской башней...» Тема машет рукой, чтобы прервать меня: «Я не про это. Если я спрошу Его по-английски, Он мне как ответит? По-русски или тоже по-английски?» Молчу, не знаю, как начать. «А почему ты думаешь, что Он тебе вообще ответит?» Тема озадачен: «Но ведь у Бога все спрашивают...» Кое-как выкручиваюсь: «Бог отвечает поступками, а не словами...» Уходит, глядя в пол. Я не догадалась выяснить, что он хотел спросить-то у Самого.

Его любимая Коробочка

В своей книжке «Детская тайна» я приводила примеры, до чего нелогична классическая сказка. Но в этом ее прелесть, этим она и завораживает. Как может боярский сын догадаться, что на месте жены сидит ее сводная сестра, если злодейка надела платье его жены? Для нас — чушь, а ребенку понятно. А когда Братец Кролик оседлал Братца Лиса и помчался на нем в гости к Матушке Мидоус с дочками и мальчик спросил, кто такая эта Матушка Мидоус, помните, как ответил старый негр дядюшка Римус? «Ну просто так говорится "Матушка Мидоус с дочками", а если ты будешь меня перебивать...» Ответ изумительный. В нем — тайна, притягательная для ребенка. Матушка Мидоус — никто, но это не помешало ей хохотать, глядя на оседланного Братца Лиса. (С этой сказкой мы пережили маленькую трагедию. Купили кассету «Сказки дядюшки Римуса», и дочь прибежала в слезах: «Там дядя сказал, что Матушка Мидоус — ежиха». Исполнители сказки решили улучшить автора, заполнили «пробел» и... убили тайну.)

Год назад Тема вынудил меня читать вслух «мою» книжку. Это были «Мертвые души». Начала с опаской, но скоро успокоилась: мальчик был в восторге от мух, что ходят по сахарной куче, «как полные хозяева», и что Чичиков вытер лицо, «начав из-за ушей», и что слуга Петрушка носит с собой «особенный воздух», и что козел гулял под брюхами у лошадей, «как у себя дома». Тем летом мы стояли с Темой на дачном балконе, и он сказал: «Видишь, лес синее? Это граница. Все, что до него, мое, и что за ним, тоже мое». Это он Ноздрева перервал.

Ему нравится и куча в комнате Плюшкина, и как природа сотворила лицо Собакевича. Но чаще других с нежностью вспоминает вопрос Коробочки, не пригодятся ли Чичикову мертвецы «в хозяйстве». И ее часы на стене. Объяснить это пристрастие не могу: или скупость одного и беспутство другого меньше занимают семилетнего, чем честная глупость Настасьи Петровны? Или она вызывает особую жалость? Не знаю.

Минувшим летом восьмилетний Тема «купался» в сказаниях и легендах народов мира (спасибо, напечатали вороха книг). Легенда о Совитри задела его

особенно. Красный человек — бог смерти Яма — уносит душу принца. За богом по лесу бежит царевна Совитри и просит вернуть мужа. Говорит, что не может жить без него. Бог предлагает исполнить любое ее желание, кроме этого, он возвращает зрение ее отцу, возвращает украденное у него царство и еще три желания исполняет, а она все бежит за ним и просит вернуть мужа. Ее уверенность в том, что смысл жизни в любви, сперва смешит Яму, затем обезоруживает. Упорная Совитри уводит ожившего мужа из леса.

Игра богов

Как прочитать семилетнему ребенку «Одиссею»? Сперва осилить ее самому. Потом рассказать как сказку. Но своих слов не хватит, и отрывки надо читать. Изумлению ребенка не будет предела, и он станет таскать за вами книжку: «Читай еще».

«У древних греков были веселые боги,— говорю Теме.— Знаешь, чем они занимались на горе Олимп?» Я беру поэму Гомера и читаю: «Там для богов в нескáзанных утехах все дни пробегают». «Утехи (потехи) — это игра, понимаешь?» Это он понимает, как и любой ребенок. «ИГРА БОГОВ — красиво звучит, правда? А знаешь, во что они играют? В нашу жизнь. Вот пример...»

И потекла сказка...

...С трудом расстаюсь с греками, чтобы успеть сказать об индейцах. Этим летом я рискнула прочитать Теме следующее: «Вдоль потоков, по равнинам, шли вожди от всех народов, шли Чоктосы и Команчи, шли Шошоны и Омоги, шли Гуроны и Мэндэны, Оджибвеи и Дакоты...» Тема не слышал такого языка и был заворожен.

Читает сам: «В летний вечер, в полнолуние, в незапамятные годы, прямо с месяца упала к нам прекрасная Нокомис... Там, на мягких мхах и травах стала матерью Нокомис...» Ее дочь Венона, в свою очередь, «меж цветов одна лежала», там нашел ее могучий Ветер Западный... Так родился «сын печали, нежной страсти, дивной тайны — Гайавата».

Спасибо Ивану Бунину, который такими стихами переложил для нас «Песнь о Гайавате» американца Генри Лонгфелло, который, в свою очередь, стихами изложил индейские легенды и сказания о своем Пророке и Спасителе. Гайавата у них — нежный, могучий, мудрый. Он научил людей сеять маис, чем спас их от голода. Он сразился с Духом богатства по имени Жемчужное перо и победил его (дятел Мэма помог). Он дал совет людям рисовать на могиле предка свой тотем — Журавля, Орла, Медведя, научил «искусству и письма, и рисованья на берёсте гляцевитой, на оленьей белой коже».

Еще в юности я вздыхала над строфой из этой дивной книжки: «Муж с женой подобен луку, луку с крепкой тетивой; хоть она его сгибает, но ему сама послушна, хоть она его и тянет, но сама с ним неразлучна; порознь оба бесполезны!»

А мой восьмилетний Тема записал словарь индейцев: Бэм-вава (звук грома), Кагаги (ворон), Омими (голубь), Ша-ша (прошлое), Шух-шух-га (цапля). Он показывал мне с балкона, как речка исчезла в молоке тумана, и кричал по-индейски: «Нэшка!» («Смотри!»)...

Один читатель упрекнул меня, что вместо рассказа о детской комнате я вдавилась в лекции по детской литературе. Приняла упрек, но сказала, что, кроме игрушек, в комнате лежат книжки, которые мало назвать, надо же поагитировать немножко.

Птицы любят фиолетовое

Я хотела закончить эти заметки, когда Теме было шесть с половиной лет. И даже обдумывала заголовок, когда Тема вошел, наматывая на палец блестя-

щую ленту от букета роз. «Птицы любят фиолетовое?» — спрашивает. «Да», — говорю неуверенно. «И если им кинуть эту ленту, они станут драться за нее?» «Возможно», — отвечаю не особенно правдиво. «И кто победит, тот понесет же-не?» — не отстает Тема. «А кому же?» — говорю уж совсем фальшиво. Он бежит в комнату деда и истошно-счастливо вопит: «Птицы любят фиолетовое!!!» Эти слова слышатся мне как подходящий заголовок для наших бесед. В них есть все: и детский образ, и музыка, и сказка, и неуместное чувство, и милая чушь. Я с удовольствием вписываю их в начало этой главы и ставлю точку.

Но уже час спустя я наблюдаю, как Тема одевает и раздевает картонную куклу (вырезала ему из обложки детского журнала вместе с набором платьев, а Лена нарисовала еще кучу модной одежды: мини-макси, шорты, шляпы), с упованием меняет ей один туалет на другой; я даже забеспокоилась — уж слишком девчачья игра. Но вдруг вижу, как он раздевает куклу: просто встряхивает ее, и платье падает само, а если не упало, он щелчком его сбивает. Девочка никогда так не поступит. Нет, думаю, мои заметки не окончены, ребенок еще подкинет тему для размышлений.

Тема просит меня назвать любимое слово у Пушкина. Не стихотворение, а именно слово. «"Притёк" (пришел), — говорю я, — "препоясáлась" (надела пояс)... Ну что еще?» — «А "зрит"»? — спрашивает Тема так строго, будто уличил меня в чем-то неприглядном. Мне интересно, как он подбирается к разгадке, почему от одних слов я захожусь от радости, а к другим равнодушна. Принес, например, из Некрасова: «Мороз-воевода дозором... Что это — "дозором"»? Я приставляю ладонь ко лбу, оглядываю комнату. Тема ждет чего-то. Не дождавшись, уходит. Вдруг поняла, что он приходил меня обрадовать, а я ответила, как справочник.

«Как-то я живу мимо Лены», — вздохнул он однажды. После паузы: «А есть такая школа, где учатся ночью?» — «А зачем тебе?» — «Представляешь, сижу, делаю уроки, входит мама...» Сказал это с таким мечтательным выражением на лице, что у меня защемило сердце: действительно, Лена повадилась приходить, когда Тема уже спит. А что делать, я сама в молодости норовила сплавить детей маме на вечер, на неделю, на лето. Только теперь вижу, как ребенок устает душой, если долго не получает дозы какого-то особого материнского своеобразного сплава из слов и жестов («Иди сюда, мой золотой, что с тобой, кто тебя так постриг, я же сказала, чтобы без меня не стригли, ты мой хороший, опять в мою комнату входил, я же сказала, чтобы не входил...»).

Слово «совесть» давно озадачивает Тему: мы часто его говорим, но что оно значит? Приходим с улицы, он сразу бросается к листу ватмана с очередной своей пиратской картой (пещеры, гроты, бухты, где спрятаны парусные корабли, клады, и стрелки к ним), отходит грустный: «Ничего не прибавилось». Лена обещала утром дорисовать в его карту что-нибудь свое загадочное. «Сейчас я позвоню Лене на пейджер...» — бормочет Тема, набирая номер. Советую ему закончить упрек словами «Я возмущен». Тема сомневается, не резко ли это. «Но ты же хочешь, чтобы у нее пробудилась совесть?» — говорю я. Два часа спустя — вопрос: «Какое слово ты сказала, что я должен пробудить у мамы?» — «Совесть». — «А знаешь, у нее ЭТОГО не было...» — «Как это понять?» — «Ну мама позвонила мне, спросила, чего я сержусь, а ЭТОГО у нее не было...» Хочет понять, как ОНА, совесть, выглядит, как ее узнать. Уже не первый раз задает наводящие вопросы. Мне это нравится.

Снова взрыв тоски: «Хоть бы придумали такой аппарат, чтобы я смотрел через него на тебя, а видел... маму».

Тревога в обществе передается детям. Тема вдруг задает тихий деловитый вопрос: «Перед выборами надо все вещи собирать или только необходимые?» Не понимаю, какие вещи, что за выборы. Объясняет, что давно-давно слышал

по ТВ: если выберут «не того», придется уезжать. Уточняет: «Лужков — "тот" или нет?» «Господи, — обнимаю его, — при чем тут Лужков? Это когда говорили? Когда президента выбирали».

Наглядевшись хроники, вздохнул: «Я бы хотел быть боснийским сербом». Пока я обдумывала, что сказать, он решил уточнить: «А это вообще кто? Народ или...» Спрашиваю, какие варианты. «... или мафия?» — говорит он. Черные шапочки и всегдашние автоматы в их руках дезориентировали ребенка.

...Вожу его в школу от двери до двери. Но однажды на полдороге прошу: «Дойдешь сам? Вот она — школа. У меня дела». Он: «Да, да, конечно». Ухожу и шагов через десять оглядываюсь: стоит и смотрит мне вслед. «До свиданья!» — кричит так, будто я ухожу к самолету и улетаю на год. Иду, оглянулась: стоит спиной к школьной двери и машет мне пушистой веткой, которую подобрал на бульваре. В этом его жесте была какая-то горечь, словно он прощался со мной. И я побежала к нему. Толпа детей с родителями входила в двери, и Тема вставал на цыпочки, чтобы они не загораживали, чтобы он ВИДЕЛ меня. Завела его в вестибюль, раздела, проводила. Иду обратно, а сердце щемит: это последние невидимые связи ребенка со мной. Скоро он сможет «без меня». А пока еще не может. Мне смешно и больно: скоро дитя оторвется.

Школа для Гриши и Фируши

Не могу понять, как я умудрилась воспитать ребенка, не готового к школе. Чего не дала ему, какие качества не привила? Не научила слушать? Но он слушал меня, открыв рот, все семь лет своей жизни. И половину этого срока говорил сам, а я убирала «мусор» из его речи. Мы прочли все, что надо, и сверх того. Ребенок написал десяток писем родне, еще не учась в школе. Какого рожна (простите за досаду) еще от меня требовалось? Не знаю.

Но факт: уже в сентябре Тема был осыпан упреками: «смотрит в окно», «отсутствует», «знаете, у вас будут проблемы!». И вскоре ребенок радостно объявил мне, что он «пятый от конца».

К весне двое обошли его. Но этот рейтинг меня не волновал: школа недавно получила звание «гимназии» и набирала первоклашек с «прослушиванием», то есть по конкурсу, а значит, вполне могли найтись 25 детей (из 28) умнее, грамотнее, прилежнее Темы.

Другое озадачивало: к декабрю он стал МЕДЛЕННЕЕ читать и ХУЖЕ писать, чем до школы. Его круглый почерк (по линии деда у него все — архитекторы, и я радовалась: надо же, прямо родился каллиграфом) превратился в угловатый и рваный. «Каракули!», «Грязно!» — красными чернилами негодовала учительница в его тетрадах.

К апрелю Тема стал читать по слогам, как в пять лет, буквы и даже цифры у него потеряли форму. Дисграфия! Рука напряжена постоянно (от страха? от чего же еще?). Пришлось уже не идти, а бежать к авторитетному эксперту-психологу. Она тестировала Тему около трех часов по таблицам и альбомам. Нашла его развитым не по годам: «Но, знаете, у него такие способности, которые еще долго не будут востребованы в той школе, куда вы попали. Так что шапку в руки — и бегите!» Еще так сказала: «Бунт в его возрасте невозможен, а протест выражается в одном: он отключается, уходит в себя, смотрит в окно, чтобы выжить». Долго толковала мне, что педагогика бывает разной и что ребенок не вписался в СИСТЕМУ обучения ЭТОЙ школы.

...Когда-то я тщательно выбирала школу для дочери. Способ простой: попроситься на урок в третий класс, к той учительнице, которая осенью придет в первый. Мне нужна была не «школа», а педагог, которому я вручу ребенка на три года. На этих контрольных уроках я видела разные типы женщин.

Грубых, нервных, визгливых (тембр голоса может нанести физический

ущерб ребенку), малограмотных (и такие бывают) отметала сразу.

Одна красавица в сапогах до середины бедра запомнилась мне по такой интересной причине: она «видела» детей только на первых двух партах трех рядов. Работая с малышами очень трудна, дети постоянно шевелятся, что-то делают ручками, ножками, оглядываются, роняют предметы и ищут их, ползая по полу. Красавица (бессознательно) просто отключалась от «лишних» детей. Я сидела на последней парте и с интересом смотрела, как малыши моей половины класса возят машинки и одевают кукол, смотрят комиксы, а двое просто вели нанайскую борьбу на полу между партами. Учительница их не видела и не слышала. Она не виновата, просто выбрала не свое дело.

Педагога для дочери я вскоре нашла — это была невозмутимая милая женщина средних лет, у которой в классе стояла добрая деловая тишина; ее характер был адекватен интересам детей. «Как вы думаете, что ищет под партией Юра Затевахин?» — спрашивала она спокойно и с явным интересом. Дети смотрели на Юру, строили версии: ластик... жвачку... Минуту спустя из-под парты вылезал взъерошенный Юра, и урок катился дальше.

Три года дочь училась ровно, спокойно, без эксцессов. Она как бы не заметила перехода из дома в госучреждение: и там, и там с ней тихо и серьезно «разговаривали», играли. Это и было целью моих поисков: уберечь нервную систему ребенка.

С внуком так не вышло. Я была не очень здорова той зимой, когда пришла пора искать школу. И отвела его в ближайшую. На первом сборе класса мы с Темой спели дуэтом «Гаудеамус игитур», приветствуя «школьные чертоги», которые нам довелось переступить. И теперь надо спасаться бегством?

На лето мы уехали и... пропустили момент перехода, устройства в другую школу. Тема явился в свой родной второй класс. «Ладно,— лениво подумала я,— может, ВПИШЕТСЯ?»

Не тут-то было. Начался английский по учебнику Верещагиной, составленному (по-моему) где-то в конце 50-х годов. Я сужу по той фальшивой совковой интонации в диалогах и скудной «фестивальной» лексике, которой учит книга: «Мой друг из Африки! Его имя Том!», «А мой друг из Америки! Он шофер!», «Брат моей мамы хочет быть космонавтом!» — и прочая чепуха. Предмет был НЕИНТЕРЕСЕН. Зато на каждом уроке — диктант. Как может восьмилетний ребенок запомнить иероглифы, где звуки не отвечают буквам: почему звук «а» в слове «отец» дает буква «а», а в слове «мать» — буква «о», а в слове «дазнт» — «ое»? Логика нет. Расчет — на зрительную память. За две-три ошибки — двойка.

К зиме Тема утешал меня: «Я перестал мучиться от двоек. И ты не переживай». Учительница объявила мне, что надо нанять ее коллегу за 15 баксов в час. Мы бы осилили всей родней в складчину эти 135 долларов в месяц. Но я обнаружила, что у Темы пропал сон. «Всю ночь я мотаюсь по квартире и рыдаю», — узнался он мне. Это была точка.

Я позвонила знакомому директору школы (в часе езды от нашего дома): «Что делать?» «Лечить у нас», — вздохнул он.

Боюсь назвать имя знаменитого ученого педагога и директора этой славной школы, чтобы не устроить ему очередь у дверей из таких же, как мы, обожженных жесткой и грубой «системой» устаревшего обучения методом двоек и окрика.

Но скажу, что мы летим в этот «дом детей» с радостью. У дверей этой школы не стоят по утрам иномарки, не дежурят в коридорах телохранители (как в нашей бывшей), в классах — ветхая мебель (та школа обновляет ее из нашего кармана), зато нет в вестибюле объявления «Вход только детям» (как там), и «англичанка» не орет истошным голосом на деда с детскими сапожками в руках: «Родителям нельзя сюда!»

Здесь родителям можно все, так как они уравниены в правах с детьми.

Здесь главный принцип — НЕНАСИЛИЕ. У ребенка РАВНЫЕ ПРАВА с учителем. В Совете школы — сбор по четвергам — на одного ученика больше, чем взрослых, потому что это ИХ дом. (Я была на одном «четверге», и у взрослых оказался лишний голос; тогда встал ученик и попросил кого-нибудь откзаться от голоса; одна из учительниц тотчас подала знак.)

Но еще главнее, нежнее и бережнее — здесь сравнивают ребенка не с соседом по парте, а С САМИМ собой «вчерашним». Это называется «образовательная траектория ученика».

Учителей подбирают тщательно и «воспитывают» (иногда приходится «реанимировать» после работы в грубой школе).

Сию на уроке, и голоса учителей — музыка для меня: «Гриша и Фируша не сделали урока. Надеюсь, завтра сделают оба задания? Правда, Гриша? Фируша?» Это англичанка грустит. Гриша и Фирудин утешают ее. Она же: «Если Рома будет мешать другим, ЗАВТРА рассержусь». (Наша бывшая пообещала бы: «Пулей вылетишь из гимназии!») Это были единственные ее слова по-русски. Весь урок шел по-английски в диалогах, стихах и песенках. Тема со своими «космонавтами», «шоферами» и «братьями матери» не понимал ни слова. Спрашиваю, не взять ли нам репетитора. Ответ: «Зачем? Пусть Тема будет иностранцем в классе. Постепенно он начнет нас понимать». Здесь никуда не торопят. Ребенок начинает со «своей» точки и движется по своей траектории.

Оценок нет, потому что малыши не делятся на хороших и плохих. Они делятся на иные группы, которые составляются психологами. Мечтательный не хуже бойкого, деловой не лучше лукавого. Они — разные, и путь в школе им предстоит неодинаковый. Чего орать-то?

Здесь нет тоскливых учебников. В «Русском языке» полно ошибок, которые надо отыскать и смеяться. В «Математике» — сплошные ловушки, в которые не надо попадаться. Геометрия и алгебра спокойно влетаются в арифметику, и восьмилетки не замечают этого в игре урока.

Здесь учат наизусть не стишок, а поэму, затем пишут ее по памяти — это и есть урок русского с разбором ошибок. Здесь пишут письма учителю обо всем на свете — и это тоже урок языка.

Здесь тепло и весело.

А в коридоре — турники и канаты, кольца и лесенки.

А вестибюль увешан рисунками маленьких к годовщине великого писателя: «Гоголь на рассвете», «Гоголь на закате», «Гоголь на кухне». И восхитивший меня: «Гоголь прячется в траве».

Вхожу к директору (ладно уж, назову это светлое имя — Александр Тубельский): «"Школа для Гриши и Фируши" — так вам надо называться». Он не возражал бы. Департамент не поймет.

Как и в былые времена, «показатели» фальшивых гимназий нравятся департаменту больше. А что они детский хребет ломают, этого по бумагам не видно.



Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН

Жизнь Клима Самгина

ТОМ ПЕРВЫЙ. КРАСНОПІЛЛЯ+КИЕВ. ИЮЛЬ-98

Собрались мы с женой на пару недель к друзьям в деревню. Хорошо бы, думаю, прочесть, лежа на сеновале, какой-нибудь толстый русский роман. Скажем, четыре тома «Жизни Клима Самгина».

Дата отъезда прояснилась дня за три до гудка; за это время мне предстояло написать пять статей, сходить на заседание ассоциации массовой литературы, забрать на складе 48 экземпляров своей брошюры, перевезти с «Октябрьского поля» на «Динамо» пятьдесят коробок с книгами, вычитать в двух местах верстки, отдать в ремонт модем и т. д. и т. п. Мой друг Олег целыми днями тоже прыгал по Москве, а ночами сидел в своей квартире в огромном аквариуме, который был устроен прямо под потолком, а его жена Люда фотографировала Олега снизу в порядке искусства. В день старта (он же день финала чемпионата мира!) утром я понял, что не успеваю. То есть большинство дел было сделано, но зато наступил жестокий паралич воли. В результате за 15 минут до того, как на зеленый газон Парк-де-Прэнс вышли сборные Франции и Бразилии, Олег и Люда (и Куилги, о котором ниже) отчалили с Киевского вокзала в поезде «Москва—Кишинев», а мы еще поднимали на пятый этаж последние коробки с собраниями сочинений Тургенева и Честертона.

Французы выиграли, дела рассосались, «Самгина» я благоразумно взял один том (именно его я лет 13 назад читал в университете, но помнил разве что фразу про бывшего-небывшего мальчика), и через три дня мы сели в тот же поезд.

Через десять часов мы прибыли на станцию Алтыновка, что на границе Сумской и Черниговской областей независимой Украины. Путь наш лежал до села Краснопілля, куда нужно было добираться на дизельном поезде, который местные звали «кукушка» (она же «зозуля»). Ждать ее не пришлось: мужичонка на «Москвиче» тут же предложил довезти нас до места за сто русских рублей, но потом поехал за 15 гривен (это семь с половиной долларов). Мы быстро нашли нужную нам хату бабы Саши Павлючки. Чтение «Самгина» началось.

Уже седьмая страница окатила кошмаром: «Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры». Я приуныл. Дискурс — дело сугубое, вплинешь — тащи, аки крест. Вот я, сроду не бывавший на/в Украине, не считая нескольких часов в зимнем Харькове в конце восьмидесятых, через полчаса пребывания на краснопілльській землі стал говорить «шо» вместо «что», «подывьсь» вместо «посмотри», «це» вместо «это» и «мавпа» вместо «обезьяна». Я забеспокоился: ужели Горький будет пятьсот страниц пичкать меня «свободой творчества культуры»?

На счастье, монструозная фраза осталась в единственном числе. Лежа на кушетке за печкой или на простынке на берегу Церковного озера, расслабляя нервные московские мышцы, я медленно погружался в жизнь одиозного Клима. Прельщался тихим омутом шестидесятитысячного городка с неизвестным именем, где жили люди, обросшие черной плесенью, словно бы долго лежали в погребе. Равовался грубой сермяжной образности (ступни у Варавки «овальные, как блюда для рыбы»), похожей на водку с салом, которые мы уверенно потребляли каждый день на свежем жовто-блакитном воздухе без малейших неудовольствий со стороны организма.

Удивлялся мрачной энергии, с которой Горький взялся за дело: за первую главу он укокошил штук десять героев. Решительный человек — стоило вводить в повествование такую уйму народу, чтобы тут же начать безжалостно его умерщвлять.

Так же решительно мы взялись за отдых. Обливались водой из колодца и купались в озере, собирали ягоды и грибы, катались на велосипедах и гуляли пешком, много кушали и много спали. Путешествовали по окрестностям: восхищались аутентичностью воскресного рынка в районном Коропе (знаменитейший из его уроженцев, Кибальчич, удостоен большого музея) и плавали на лодочке по старому руслу речки Десны в местечке Райгородок. Все это с той славной неторопливостью, которая единственно и составляет цель и смысл жизни всякого порядочного русского писателя.

По последнему поводу, впрочем, у многих были и есть совсем иные мнения. Поскольку «Жизнь Климса Самгина» посвящена интеллигентной, постольку с самого начала остро вскакивает проблема народа и соответствующей ответственности гуманитария. «Большинство интеллигентов обязано приносить силы свои в жертвы народу», — говорил отец Климса, и у меня отлегалось от сердца: да, большинство, но, слава Господу милосердному, не все. Может быть, я-то как раз и не обязан.

Денег в Красновилле у людей нет. Три кг рыбы и пять кг колбасы, полученные магазином, не распроданы за неделю, триста батончиков хлеба завозят на два дня (в селе девятьсот человек), но весь не уходит. Когда-то здесь было полторы тысячи дворов и четыре (!) колхоза, и футбольная команда «Спартак» играла на первенство района, а теперь один совхоз, в котором то ли три, то ли шесть лет не платят зарплату (вполне крошечную: тридцать долларов, пятьдесят). С голода, конечно, никто не пухнет, у самых бедных всегда есть минимум бульба и цибуля, да и живности всякой, от коров до утят, по улицам разгуливает полно. Нам рассказывали о местных страстях — о висельниках да гранате под креслом председательской «Нивы», — но происходили они, как ни странно, не от голода, а от любви. И все же — люди, получающие московскую зарплату, чувствуют себя здесь немножко на Марсе, и, когда мы покупали на Людин день рождения шампанское (6 гр.), было как-то неловко.

Острому чувству социального расслоения мы обильно учились в последние годы и дома, где далеко не у всякого крестьянина есть чернозем, чтобы годами кормиться от него без зарплат, где, гуляя по богатым улицам столицы, есть все основания ловить себя на мысли, что во Владивостоке сейчас пропадают без отопления и воды.

У горьковско-самгинской интеллигенции подобные знания провоцировали легендарные неисчислимы страдания. Тогда вообще было принято страдать по любому подходящему и не очень подходящему поводу. Ничто не мило порядочному человеку. Лидия у моря: «Там плохо спится, мешает прибой. Камни скрипят, точно зубы. Море чавкает, как миллион свиной». Дронов, рассуждая, как образовался глаз, делает вывод, что от боли. Дескать, слепое существо «тыкалось передним концом, башкой, в разные препятствия, испытывало боль ударов, и на месте их образовалось зрительное чувствилище» (чувствилище — наряду с вместилищем — фирменные слова Горького).

Макаров с праведной яростью критикует испытываемое им же самим половое влечение: «Я не желаю чувствовать себя кобелем, у меня от этого тоска и мысли о самоубийстве».

Бледная Нехаева недовольна существованием исчислений: «Как противны цифры, числа!»

В первом томе это тотальное катастрофическое сознание еще не слилось с мистической струей пролетарской революционной борьбы: подстрекатели от новейшего времени пока еще ходят-бродят вокруг героев, принохиваются, о марксизме пока талдычат теоретически...

Сто лет спустя я, признаться, не страдаю оттого, что имею возможность провести отпуск где хочу и когда хочу, а мой соотечественник шахтер режет вены, не имея возможности купить детям хлеба. Во-первых, это в лучшем случае бесполезно. Во-вторых, наблюдая за тем, как двадцать процентов населения страны — слабые, больные, старые и просто несчастные — жестоко выдавливаются из жизни в завшивленный подвал и неглубокую могилу, учишься быть честнее: значит, эта лодка не вынесла сейчас больше народу, и следует заботиться не о чужих далеких, а о своих — о тех, кто вокруг. В-третьих, есть хорошая прививка от социальных страданий: представить на секунду, что тебя не стало.

Ежедневно, хотя бы в телевизионном режиме, мы наблюдаем сотни смертей, видим, что, выкроив несколько часов на похороны и одну минуту на молчание, люди продолжают бежать дальше (в самом начале чемпионата мира умер один из двух сопределителей оргкомитета, человек, который сделал чемпионат: о нем забыли к четвертьфиналам), и понимаем, что если мы сами умрем, то о нас забудут через полчаса и по-другому не бывает. Вот умерла у Климса бабушка. «Иван Акимович Самгин сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая ближним своим». И ушлый Климс «видел, что смерть бабушки никого не огорчила, а

для него даже оказалась полезной: мать отдала ему уютную бабушкину комнату с окном в сад и молочно-белой кафельной печкой в углу».

Нужно только адекватнее относиться к тем буйнослонным публицистам, что, отстаивая на журнальной полосе интересы униженного мужика, науськивая шахтеров на товарняки и поливая с экрана Чубайса, после этого спокойно получают свой гонорар и отнюдь не берут в дом бомжа из метро. Чубайсом мы прозвали в деревне восьмилетнего рыжего Алешку, племянника Олега, и он был доволен, решив, очевидно, каким-то задним умом, что Чубайс — наш человек.

Тема социальной стратификации была явлена нам в Краснопілле совсем другим образом. Пора сказать о Куилти: это купленный Олегом и Людой с год назад английский бульдог, тридцатикилограммовое приземистое существо без носа, похожее больше на медведя или свынью, нежели на собаку. У Куилти огромная пасть, мертвая хватка, устрашающий вид и недожинный ум и выдержка, как и полагается аристократу. Олег делал с бедной собачкой цикл фотографий «Аристократ в деревне», провоцируя общение зверя — далеко не всегда мирное — с коровами, козами и поросятами. Поросятка, купленного на рынке в Коропе за 35 гривен, Куилти куснул за бок и тут же стал зализывать ранку, а когда перепуганный поросенок драпанул, псина вновь превратилась в охотника и в прыжке остановила несчастного пятачка. Когда мне надоедали эти манифестации фаунократического мачизма, я уходил с Самгиным в дальний угол двора (двор был огромный, вернее, это даже три двора, соединенные в один) — и неожиданно вляпывался в противоположную идеологию.

Макаров, тот самый, который ненавидел свой половой инстинкт, на протяжении всего тома не мог расстаться с женским вопросом. «Мозг, вместилище исследующего, творческого духа, черт бы его взял, уже начинает понимать любовь как предрассудок, а? И, может быть, онанизм, мужеложство — по сути их есть стремление к свободе от женщины?» — решительно вопрошал он на 121-й странице. «Оседлую и тем самым культурную жизнь начала женщина...» — бубнил он на 354-й.

Вздыхая, я переворачивался на другой бок и обнаруживал неподалеку кого-нибудь из женщин — Иру, Люду или Олегову маму Надю, — загорающих, страшно сказать, с книгой Симоны де Бовуар «Второй пол», библией мирового феминизма. Стоило одной отлучиться от тома в кустики или на кухню, как он мгновенно оказывался в следующих руках. Цитаты неслись одна другой хлеще. То выяснялось, почему Христос был не женщиной: потому что смирил гордыню, то есть изменил природе, а женщина природе фиг когда изменит. То сообщалось, что в возрасте, когда женский организм прекращает вырабатывать женские же гормоны, носитель организма становится существом третьего пола, а мужские гормоны вырабатываются всегда, поэтому нам третьим полом стать не светит.

Горький меж тем заходил в тексте, как латиноамериканские музыканты из «Необыкновенного концерта» — в песне. На одной странице он, грохнувшись в раж, может раз пять помянуть, например, глаза. «В его глазах орехового цвета горел свирепый восторг». «Поблескивая желтоватыми белками, в которых неподвижно застыли темные зрачки». «Не шло к его звонкому голосу и твердому взгляду бархатных глаз». «Смотрел в упор на Прейса разноцветными глазами». Алексей Максимович вообще был человеком увлекающимся: например, луна на страницах «Жизни Клима» восходит при малейшей okazji (даже у матери Клима лунные волосы, даже в гадании ему выпало «Луна, сок, лук»: решили, что он будет плакать во сне).

Мне же каждую ночь снились какие-то катастрофически длинные сюжеты с продолжениями после пробуждений, с очень старыми знакомыми, будто бы свежий воздух вскрыл консервированную память... Приснился, скажем, черный Джон, работавший в Москве водителем трамвая и ругавшийся коротким русским словом.

Устав от этого карнавала, я уехал на велосипеде в лес, расположился на уютной полянке и как следует вдумался в противоречивую фигуру заглавного героя горьковской эпопеи. С подачи самого автора Клим вошел в историю как символ межуточного интеллигента: комментаторы и литературоведы в глазах своих вырастают аж на 14 см, презирая бестолково рефлектирующего олуха. У меня же отношение к межуточности куда более приветливое, я сам человек весьма межуточный, поэтому я давно чувствовал с Климом некое таинственное родство.

Итак, в чем суть сомнительного отношения Клима ко всем без исключения родственникам и знакомцам? Всякий подозреваем в том, что скрывает свой истинный внутренний мир, или, как это, свою духовную пустоту, «за системой фраз». Придумает теориейку или веру — и носится с ней, как Иван Никифорович все с той же порошей. Эта тактика одномерная (любимая отрада Клима — расшифровать у каждого моноидею: Макаров на втором-третьем поле помешан, Нехаева прикидывалась, что на смерти, а оказалось — ласки алкала), но удобная. Шмыгнул за теорийку и сиди за ней, аки мавпа за баобабом. А вот Климу никакой такой теорийкой-верой обзавестись не удается. Он может только повторять — когда кстати, а когда и не очень —

понравившиеся ему чужие фразы. Он не способен составить себе из них (или из каких-то своих фраз) целостный взгляд на мир (а конец прошлого века на этом и чокнулся: мир распался, все искали целостных взглядов, в результате чего и наизобретали большевизма, либидо и прочего глобализма). Иногда он думает, что его час не пришел: вера или идея еще осенит однозначным крылом. Иногда он просто желчно мается...

«В него извне механически вторгается множество острых, равноценных мыслей... Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий, но этот вихрь только расслабляет его, ничего не давая, не всасываясь в душу, в разум. Иногда его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли — кипят, но не согревают». Строго говоря, эти слова Горького о Климе я с известными поправками мог бы сказать о себе. Я тоже ощущаю себя полостью (вместилищем!), через которую шастают туда-сюда разнородные дискурсы, как-то внутри меня совокупляясь и преломляясь. Весь фокус — как к этому относиться. Клим — в соответствии с духом эпохи — маялся без общего знаменателя («стержневой идеи», «целостного мировоззрения»). Ему не приходило в голову, что вторжением и переплетением мыслей можно просто любоваться.

Вообще Клим все время наблюдает за средой и людьми, делая — впрочем, стараниями Горького — очень яркие, талантливые портреты мгновений и ситуаций. Или просто зависает над самым мелким движением мира. «Клим промолчал, присматриваясь, как в красноватом луче солнца мелькают странно обесцвеченные мухи; некоторые из них, как будто видя в воздухе неподвижную точку, долго дрожали над нею, не решаясь сесть, затем падали почти до пола и снова взлетали к этой неведомой точке». Мое преимущество перед Климом состоит в том, что к мыслям я умею относиться вот как к этим мухам. Но это рецепт, выписанный концом двадцатого века.

Со страницы эдак 390-й в «Самгина» — с дядей Хрисанфом и Диомидовым — активно вторглась тема театра. В тот же самый день Олег и его отец Борис Павлович завершили во дворе строительство страннейшего инженерного сооружения. Шестиметровый помост, похожий на плаху или алтарь, долго волновал умы краснопільцев (они даже заключали пари на бутылку, что именно растет во дворе) и наконец обрел не менее странный апофеоз — огромный ярко-синий полог. Странное сооружение было студией, в которой Олег собирался фотографировать при естественном освещении овец и коров, но смотрелось оно совершеннейше сказочной машинерией. Во дворе все сразу заговорили о пьесе «Чайка»: действительно, сейчас выйдет кто-то к загадочному алтарю и запоем про орлов и куропаток.

Долго ли, коротко ли, пришла нам с Иррой пора уезжать в Киев. Мне оставалось страниц сто. В электричке я читал фрагмент про коронацию Николая. Тут интересно не то, что в первый день нашего пребывания в деревне его как раз хоронили в Питере. Занятнее другое: подробно прочитав, как Москва готовилась к торжествам на Ходынке (избыточно, расточительно, купчески), я услышал вечером от Олега (он уехал в Киев на день раньше и встречал нас на станции «Левый берег»), как в Киеве готовятся к Параду Незалежности. «Это Буркина-Фасо! Они хотят пустить по Крещатику танки! Он не выдержит, они Крещатик весь сняли и сейчас кладут другой, и стоит это тридцать миллионов долларов...»

Но Буркина-Фасо для туриста хороша ценами. Три дня и три ночи мы, словно бы восполняя краснопільскую расслабленность, носились по городу, любуясь графикой Тараса Шевченко в музеях и кухней разных народов в прикольном общепите, танцую техно в клубе «Фактория» и купаясь под луной в озере в середине острова на середине Днепра, изучая ногами крутой ландшафт, хохоча над местным аудиохитом «Гамлет як феномен данського капапізму» (украински-матерный римейк, виртуозное авторское чтение), обнимаясь с памятником Паниковскому на Прорезной и блуждая по паркам чуть не самого зеленого из городов Европы. Так же стремительно неслась и книжка. Передохнув после первой кровавой главы, в последней Горький отыгрался на жертвах Ходынки. Клим, четыреста страниц ходивший вокруг да около Лидии с постной рожей, в последней закатил с ней стремительный страстный роман. Потекла во всей своей шебутной красе Нижегородская ярмарка...

Лично я жадное дыхание России и работы уловил страниц за пятьдесят до конца, когда Варавак представил Климу нового героя: «Это наш редактор!» Да, подумал я, надо же, а в Москве-то сколько редакторов... Только явишься — они тебя р-раз...

Последние страницы я дочитал в фирменном поезде «Украина». В следующую поездку возьму второй том.

Без крови

В прошлом году в издательстве «Ad marginem» вышла любопытная книжка — переписка известного критика и журналиста Вячеслава Курицына, проживающего в Москве, и не менее известного поэта-метафориста Алексея Парщикова, ныне живущего в Кельне. Несколько запоздалый мой отклик на это издание объясняется просто: сначала книга долго не попадала в руки (распространялась она на тех «тусовках», на которых я редко бываю), потом долго не мог подобрать жанр отклика (рецензия? на переписку двоих? Вроде как «третий лишний»). Повод, а заодно и желание написать возникло, когда (простите за невольную саморекламу!) я готовил для издательства «Academia» свою с Сергеем Федякиным «книгу для учителя» о Серебряном веке и первой волне русской эмиграции. Между прочим, в главе о Николае Клюеве в ней в популярной форме рассказывается об известной переписке Клюева и Блока, ставшей своеобразным романом в судьбе прежде всего Блока.

Вот краткая фабула «романа».

Николай Клюев родился 10 (22) октября 1884 г., вероятнее всего, в деревне Коштуги Олонецкой губернии. Отец, Алексей Тимофеевич, сперва был урядником (в прошлом служил в военном жандармском корпусе), а с 1890 г. сидел в казенной винной лавке. Следовательно, будущий поэт был родом вовсе не из земледельческой семьи, о чем он в своей автобиографии старался не вспоминать. Сохранилась фотография 16-летнего Клюева рядом с отцом — кряжистым, уверенным в себе человеком. В руках юноши трость. Он держит ее изящными длинными пальцами, словно рисуя на земле какие-то значки. Юноша совсем не похож на «мужичка». Зато в нем очень легко угадать начинающего стихотворца.

В своих рассказах Клюев называл себя духовным наследником Аввакума и даже намекал на кровное с ним родство. И опять же непонятно: что здесь правда и что вымысел? Но очевидно одно: старообрядческая линия в клюевской биографии в точности отвечала интеллигентским представлениям о загадочной русской душе. «А в Соловках я жил по два раза. В самой обители жил больше года без паспорта, только по имени — это в первый раз; а во второй раз жил на Секирной горе... Долго жил в избушке у озера, питался, чем Бог послал: черникой, рыжиками... лебеди дикие под самое оконце подплывали, из рук хлебные корочки брали...

Вериги я на себе тогда носил, девятифунтовые, по числу 9 небес... Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской... Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен черный, и каждому давал по сосновой шишке на память о лебединой Соловецкой земле».

Каким образом сын явно не бедного продавца винной лавки оказался без паспорта в монастыре, а затем в избушке на берегу озера — не совсем понятно! Так или иначе от этого рассказа веет «сочиненностью» в традициях агиографической прозы. Как и от другого, где молодого Клюева посещает святой старец с Афона, наставляя идти по пути Христа (канонический вариант «явления» святого старца, например, отроку Варфоломею, будущему преподобному Сергию Радонежскому): «Раз под листопад пришел ко мне старец с Афона в седилах и ризах преподобнических, стал укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть».

Александр Блок получал немало писем от начинающих стихотворцев. Но первые же письма молодого Клюева буквально потрясли его. Настолько созвучны они оказались терзавшей его в то время проблеме «народ и интеллигенция». Клюев чутко уловил сокровенные настроения поэта и сыграл с их помощью свою «мелодию» — да так, что Блок не сразу заметил, что стал инструментом в руках опытного музыканта.

Уже во втором письме Клюев выступал не только от своего имени, но как бы от имени всего народа, по сути, обвинив Блока в принадлежности к дворянской культуре, которая веками угнетала и подавляла культуру мужицкую: «Простите мне мою дерзость, но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы Вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!» Другими словами, он сразу же поместил Блока в ситуацию «господина», ответственного за несчастное положение «рабов». В этих словах было и много горькой правды, и тонкий психологический расчет: нелегко было сильнее уязвить Блока, чем напомнив ему о пропасти, что разделяет его, интеллигента, и Клюева, мужичка! Настроения Блока были отражены в его статьях («Народ и интеллигенция», «Стихия и культура»), где отчетливо звучал мотив «конца» дворянской культуры, обреченной погибнуть под натиском свежей, варварской народной стихии.

«Я люблю эстетику, индивидуализм и отчаяние... — признается он в статье «Народ и интеллигенция», — я сам — *интеллигент*». Одновременно в письмах к Клюеву (они не сохранились, но о содержании можно судить по ответам Клюева) он кается и всячески осуждает свои прежние жизнь и творчество. Незаметно из начинающего поэта, обратившегося с первым письмом к известнейшему поэту тех лет, Клюев превратился едва ли не в тайного наставника и «духовника» Блока.

«Не вскрывайте себе внутренностей, не кайтесь... — лукаво просил он в одном из писем. — Желание же Ваше «выругать» не могу исполнить...» Все же он продолжал провоцировать его на разрыв с «культурой», отказ от поэтического творчества и «уход» в религиозное служение. Некоторые стихи Блока Клюев не стесняясь называл «порнографией».

Культурная натура Блока оказалась все же сильнее клюевского «влияния». В письме 1908 г. к матери он говорил: «Клюев мне совсем не только про последнюю «Вольную мысль» пишет, а про *все*... И не то, что о «порнографии» именно, а о более сложном чем-то, что я, в конце концов, в себе еще люблю... Веря ему, я верю и себе».

Возможно, чувствуя несговорчивость Блока, Клюев в ноябре 1911 г. решает на последний отчаянный шаг: «благословляет» его на отречение от своей поэтической личности ради приобщения к «Миру — народу». Он призывает принять «подвиг последования Христу»: «В настоящий вечерний час я тихо молюсь, да не коснется Смерть Вас, и да откроется Вам тайна поклонения не одной Красоте, которая с сердцем изо льда, но и Страданию... и как только первая слеза скатится из глаз Ваших, красный звон сосен возвестит Миру — народу о новом, так мучительно жданном брате, об обручении раба Божьего Александра — рабе Божьей России».

Несколько дней Блок не расставался с этим письмом, постоянно перечитывал. Можно предположить, что только непонятность, расплывчатость нового жизненного «маршрута», предложенного Клюевым, спасли Блока от решительного шага, о котором он написал матери: «*Знаю все, что надо делать*: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги», то есть, иными словами, порвать с прошлым и уйти в «народ». Блок, слава Богу, не сделал этого.

Это была кульминация загадочной «игры», которую затеял Клюев с Блоком и которая была спровоцирована самим Блоком. Парадоксальность этой «игры» заключалась в том, что Клюев не меньше (если не больше!) нуждался в этой «игре». Если для Блока переписка с Клюевым означала приобщение к народной стихии, без которой он «задыхался» в цивилизованном мире, то для Клюева она была необычным способом самоутверждения именно в городской цивилизации, к покорению которой он, конечно же, стремился всеми силами.

История эта хорошо известна. Пересказал я ее потому, что она имеет к теме нашего разговора самое непосредственное отношение. Когда в конце 80-х — начале 90-х годов затевалась, условно говоря, «другая литература», одними из активных творцов которой были Парщиков и Курицын, едва ли не главным ее коньком было понятие «игры». Каноническая русская литература (включая советскую) представлялась слишком «серьезной», слишком «ответственной». По совести говоря, и мне, поклоннику скорее старой, а не новой литературы, это соображение не казалось вовсе пустым. Игра освежает кровь культуры и добавляет наивности.

Так и было вначале. Когда Константин Кедров, разбирая в «Литучебе» поэму А. Парщикова «Новогодние игрушки», ляпнул про метафору, «которая имеет такое же отношение к просто метафоре, как метagalaktika к просто галактике», все в общем-то понимали, что это не более чем красивая глупость, а вовсе не реальное критическое открытие. Но было интересно. Когда В. Курицын дразнил своих чита-

телей, заявляя в газете, что Чернышевского действительно казнили в Санкт-Петербурге, многих это шокировало. Но было интересно. Ситуация накалилась настолько, что Солженицын счел важным ответить нашим постмодернистам, задетый их главной категорией «мир как текст». И опять-таки: было интересно!

Но вот я читаю переписку былых бойцов. Они не вспоминают «минувшие дни». Они, оказывается, не имеют сейчас врагов. О да! Я наслышан, что постмодернизм — «культура нежная, неагрессивная» и проч. Она все приемлет, все в себя вбирает, на все согласна и со всем легко уживается... как и некоторые виды особо опасных бактерий. Я этого (полемики, мордобития) и не искал в данной переписке. Я искал только одного: интереса, равнодушия. Наконец главного, чем славится постмодернизм: *организации контекста*. Его нет.

Я недаром начал эти заметки с переписки Блока и Клюева: вот где гениальная организация «мира как текста»! Ведь, в сущности, эти письма — ничто, пустота. Реальной мужицкой культуре до них не было никакого дела. Но какова структура, организация! Какой — нешуточный — «роман»! Наконец, сколько «знаков», намеков, далеко, в никуда уходящих перспектив! Залюбуешься, честное слово!

Переписка Курицына и Парщикова — всего лишь более или менее добросовестно реализованная *идея*. Идея весьма скучная, потому что: а) несвежая и б) непродуманная. Предполагается, что Курицын и Парщиков ведут переписку как бы из параллельных миров: из метрополии и эмиграции. На самом деле Курицын не хуже ориентируется в тамошнем, чем Парщиков в здешнем. Но главное — Курицын совсем не интересуется рефлексия Парщикова на тамошнее, а Парщиков рефлектирует на здешнее почти как Курицын. То есть оттенки, разумеется, есть, но они не создают никакого культурного контекста. Точно так же они могли бы поболтать в московской квартире Парщикова или в какой-нибудь немецкой пивной. И даже не поболтать, а просто обменяться последними публикациями. Например, Курицын подарил бы напечатанные в «НЛО» фрагменты своих воспоминаний-впечатлений, а Парщиков порадовал бы его своими эссе о русском и немецком ландшафте (языке, архитектуре). Собственно, этот обмен в письмах и происходит, а начальные слова типа «Привет, Слава!» или «Здравствуй, Алеша!» — грубая аранжировка и только. Скучно...

Но мысли-то интересные, серьезные? — спросите вы. А как же! Корреспонденты тонкие, талантливые. Каждый копает свою культурную норку. Курицын — в актуальной журналистике, Парщиков — в актуальной культурологии. Оба, в общем, состоявшиеся и более или менее обеспеченные люди. Без явного надлома. Без претензий на будущее. Они как бы *культурно пребывают* в настоящем. Им тихо и спокойно.

Но вот в конце чтения этой переписки, убаюканный слегка ленивым, запанибратским тоном Курицына и в меру снобистскими, «для посвященных», речами Парщикова, я вдруг обнаружил, что оба против своей воли все-таки организовали контекст. Однако и он оказался вторичным. В связи с перепиской вспомнились слова Блока из рецензии на Георгия Иванова, которые я бы поставил эпиграфом к книге:

«Слушая такие стихи... можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя. Книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной эпохи, притом — один из самых ярких, потому что автор — один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. *Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века...*»



Луи АРАГОН. ГИБЕЛЬ ВСЕРЬЕЗ. М., «Вагриус», 1998. Тир. 7000 экз.

Время от времени автору мучительно приходилось подтверждать собственную утонченность и авангардизм. Звание тонкого гомозротома было безнадежно потеряно после женитьбы на Триоле (хотя даже закоренелый гомофоб согласится, что в случае с Эльзой влюбленный сюрреалист потерял куда больше, чем получил). Оставалась литература. И хотя авангардный роман создается по правилам немудреным, не вышел и он. Вдруг выяснилось, что у Арагона отсутствует вкус. Личные имена, исторические реалии, а равно иноязычные слова столь обильны, что лучше уж читать не роман, а энциклопедический словарь, где сведения приведены не хаотически, выстроены по алфавиту. Притом авангардность — вещь самовоспроизводящаяся. Заявленная, она более не зависит от авторских намерений, и не странно, что из-под пера переводчика то и дело является небезызвестный К. Л. Доджсон, которого следовало бы именовать Чарлз Лютвидж. Короче, не помогло ничего; даже название, подаренное дорогом другу вечной вдовой Вс. Иванова Тамарой Владимировной, не сделало роман интеллектуальнее, а придало написанному плоскую аллегоричность. Это гибель не только всерьез, но и надолго, может быть, навсегда.

В. Я. ПРОПП. ПОЭТИКА ФОЛЬКЛОРА. М., «Лабиринт», 1998. Тир. 3000 экз.

Пролистанные книга за книгой (а это первый том в Полном собрании трудов фольклориста), сочинения Владимира Яковлевича Проппа открывают еще один художественный мир, построенный по чудесным законам. Более того, вряд ли речь будет идти о мире русского фольклора, скорее о мире самого ученого, ведь даже «магический реализм» порожден не причудливостью материала, а особым пониманием его, необыкновенной точкой зрения.

Новелла МАТВЕЕВА, Иван КИУРУ. МЕЛОДИЯ ДЛЯ ГИТАРЫ. М., «Аргус», 1998. Тир. 5000 экз.

Тут можно разглядеть определенный закон: то к ней приходит музыка без слов, то музыка остается, а тексты к этой музыке меняются и меняются. В первую очередь это значит, что стихи Новеллы Матвеевой без музыки не живут, полные замечательных наблюдений и образов, они мертвы в книгах, длинны, искусственны. И существуют у нее другие стихотворения, иногда выросшие (уменьшенные, высеченные) из больших. Слившись с мелодиями, подобранными друг к другу, стихотворения эти и становятся песнями. Здесь к месту наблюдательность, точность деталей, масштабы. Вот строки о детстве, времени, когда деревья были большими, и о пожарном, исчезнувшем с каланчи вместе с целой эпохой:

Из-за ветвей следить любила в детстве я,
Как человек шагал на каланче.

Другие материалы (например, стихи И. Киуру, помещенные в сборнике) обсуждать не буду. Лучше не бросаться туда-сюда, а смотреть пристально:

Спала в пыли дороженька широкая,
Набат на башне каменно молчал,
А между тем горело очень многое,
Но этого никто не замечал.

Сэмюэль БЕККЕТ. В ОЖИДАНИИ ГОДО. С приложением текста Жюль Делеза «Опустошенный». М., «ГИТИС», 1998. Тир. 5000 экз.

В отличие от других пьес для радио и телевидения, собранных под общей обложкой, «В ожидании Годо» надо бы хоть изредка перечитывать. И потому, что при театральном разыгрывании она теряет (а кажется, приобретает) смысл, разменивается динамикой; и потому, что следует иногда откладывать книгу и думать: а кто же этот Годо, которого так ждут? Будто и такой и сякой — многогранный, а вдруг будто лишенный свойств. И ждут его то обреченно, то с надеждой, то одержимые долгом. А затем, прочитав или бросив на любой странице, только сравнить даты. Пьеса впервые поставлена во Франции 5 января 1953 года. 5 марта того же года умер Сталин. Ведь у нас был собственный персонаж, которого всегда ждали, на которого надеялись и который был значим, отличен именно постоянной возможностью явиться. Если не Годо, так Сосо. И были свой театр абсурда и вечные аншлаги.

Ганс Эгон ХОЛЬТХУЗЕН. РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). [Б. М.], «Урал LTD», 1998. Тир. 10 000 экз.

Трагедия Рильке, как, впрочем, и почти всякого высокоразвитого существа, заключалась в мучительном нежелании быть самим собой. Равно — в боязни и лени. Рильке искал выхода, примеривал личины, отказываясь от образа австрийского поэта, он даже пытался писать стихи по-русски. Выходило то же:

Родился бы я простым мужиком,
то жил бы с большим просторным лицом:
в моих чертах не доносил бы я,
что думать трудно и чего нельзя
сказать...

Интеллектуал, мечтающий вжиться в чужую культуру так, чтобы стать там своим. Да ведь это всемирная отзвучивость, о которой рассуждал Достоевский. И к боязни и лени ощущения себя самого примешивается ужас стать другим (то есть по крайней мере нырнуть в пустоту, где следует начинать все с нуля).

Редьярд КИПЛИНГ. СТИХОТВОРЕНИЯ. РОМАН. РАССКАЗЫ. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1998. Тир. 20 000 экз.

Составитель хотел представить публике Киплинга, которого на русском языке еще не было (или почти не было, а если был, то рассеянный по старым сборникам, разным антологиям и отчасти рукописям). И потому раздел киплинговских стихов получился необычным — некоторые переводы слабы, — но, главное, большим. С прозой сложнее: тут хороши переводы, да вот роман «Свет погас» — худший киплинговский роман. И, разумеется, огромный том требовал мало-мальских комментариев. Но стоит помнить, что все доселе вышедшие в России книги Киплинга — лишь подготовительные материалы для академического собрания сочинений.

Жак БРОСС. ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ. СПб., «Академический проект», 1998. Тир. 5000 экз.

Карл Густав Юнг, следующий непосредственно за Эпикуром, — тут есть о чем задуматься. Принцип энциклопедии рушит законы и выстраивает иные. Понимаешь: коли и существует преемственность в духовной традиции, то преемственность не прямая (и сразу вспоминается опоязовская формула развития литературы: «От дяди к племяннику»).

Уистен Хью ОДЕН. ЧТЕНИЕ. ПИСЬМО. ЭССЕ О ЛИТЕРАТУРЕ. М., «Издательство Независимая Газета», 1998. Тир. 3000 экз.

Западные поэты пишут эссе и статьи не из желания высказаться и не из желания что-то сказать (кстати, подлинному поэту обычно хватает стихов). Эссе и статьи пишут, соблюдая положенные правила. Это даже не правила «хорошего тона», когда рыбу едят вилкой с определенным количеством зубцов, а для фруктов берут особый нож. Это правила, вошедшие в обиход и выполняемые автоматически. Вряд ли многие моют руки для того, чтобы они были чистыми (их моют, ибо так повелось). Что до Одена-критика, он знаком русским читателям: статья об Алисе, напечатанная давным-давно журналом «Знание — сила», ничего не сообщала о героине Кэрролла, но — что страшнее — ты вдруг начинал сомневаться в существовании кэрролловской «Страны чудес».

Гермес ТРИСМЕГИСТ и герметическая традиция Востока и Запада. Киев, «Ирис», М., «Алетейя», 1998. Тир. 5000 экз.

Единственный в мире столь подробный и тщательный свод текстов, относящихся к герметической традиции, и их толкований, принадлежащих различным авторам. Недоумение вызывает лишь абзац из обращения к читателям К. Богуцкого, составителя, комментатора и переводчика представленных здесь текстов с древнегреческого, латыни, французского, немецкого, английского и польского: «Мы приносим свои извинения за несовершенство перевода, объясняемое как объективными (например, испорченность и противоречивость большинства манускриптов), так и субъективными (например, стремлением избегать в «Герметическом Своде» иноязычных слов) причинами». Вторая часть фразы загадочна. Или переводчик выглаживал текст, словно Изумрудные Скрижали, дабы не осталось ни шероховатости?

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Читайте в №№ 11, 12

роман БАХЫТА КЕНЖЕЕВА
«ЗОЛОТО ГОБЛИНОВ»

«Если суеверное человечество затевало крестные ходы, фейерверки и балы даже по поводу конца века, то каких торжеств ожидать при агонии тысячелетия, тем более в эру дальней связи, превратившей планету в мировую деревню! Какая толпа соберется в новогоднюю ночь на Таймс-сквер в Нью-Йорке, на Красной площади, на Пикадилли! Как будет веселиться она, радуясь, что избежала конца света! Предвкушаю и в то же время поневоле испытываю соблазн, созерцая троекратный символ nirваны в порядковом номере близящегося года, оглянуться если не на мировую историю, то на тот ее кусок, который пришелся на мою собственную долю в уходящем веке.

Время, время, соблазнитель и убийца! Недаром после Страшного суда, когда агнец со львом возлягут у берегов Стикса, одной из ипостасей воцарившейся справедливости станет грозное «времени больше не будет». Но пока оно еще движется, раскачивает нас, уносит, преследует».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 1999 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга третья.

Павел БАСИНСКИЙ. Гражданин мира. Повесть.

Юрий БУЙДА. Сумма одиночества.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. Купол. Роман.

Игорь ВОЛГИН. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Золото гоблинов. Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы.

Юнна МОРИЦ. Книга прозы «Рассказы о чудесном».

Анатолий НАЙМАН. Любовный интерес. Роман, фрагмент романа.

Стихи.

Владислав ОТРОШЕНКО. Приложение к фотоальбому. Роман.

Олег ПАВЛОВ. В безбожных переулках. Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы и сказки.

Евгений ПОПОВ. Повесть.

Михаил РОЩИН. Рассказы.

Павел САНАЕВ. Детский мир. Роман.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.